

Н. А. НЕКРАСОВ

СОЧИНЕНИЯ



Ник. Некрасов

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Н. А. НЕКРАСОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

*

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМА 1—10



ЛЕНИНГРАД «НАУКА» — ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1985

Н. А. НЕКРАСОВ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

КНИГА ВТОРАЯ

МЕРТВОЕ ОЗЕРО



ЛЕНИНГРАД «НАУКА» — ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1985

Н $\frac{4702010100-645}{042(02)-85}$ Подписное

МЕРТВОЕ ОЗЕРО

ТОМ ТРЕТИЙ

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Глава LI

ТАБАЧНАЯ И СИГАРОЧНАЯ ФАБРИКА АВГУСТА ШТУКЕНБЕРГА

В Петербурге, в тех кружках, где особенно любят потолковать о том, кто как живет, наживает и проживает, некоторое время предметом толков был один разбогатевший табачный и сигарочный фабрикант, выстроивший дом в лучшей части города, каменный, трехэтажный, облепленный до второго этажа вывесками, посреди которых бросалась в глаза большая вывеска: «Табачная и сигарочная фабрика Августа Штукенберга». В эту самую эпоху и в этот именно дом нам приходится перенести действие нашего романа.

Дом Штукенберга снаружи ничем особенно не отличался; но при входе в ворота нельзя было не заметить во всем строгого порядка и необыкновенной опрятности. Под воротами, направо, вошедший читал вывеску: «Домовая контора» — и возле нее находил отставного солдата, который давал на вопросы ответы — тут же — или приглашал в контору. На дворе, направо, были нумерованные квартиры, налево — кладовые, конюшни и сараи. Между кладовыми была одна с надписью: «Пожарная», в которой хранились пожарные трубы для принятия скорейших мер в первые минуты пожара; впрочем, дом был застрахован. Двор оканчивался воротами, сквозь которые виднелась длинная перспектива другого двора, также чисто выметенного, и в конце его деревянный флигель с часами вверху.

На первом дворе жили сам хозяин и жильцы, помещалось несколько магазинов; на втором все помещения заняты были фабрикой и мастеровыми.

Фабрика собственно помещалась в особом здании и была разделена на четыре отделения. Из них в первом до пятидесяти женщин сидели рядом за грудами листового табаку и приготовляли его для сигар, обрывая листья от стебля; во втором — табак крошился и набивался в картузы; в третьем и четвертом, которые находились во втором этаже, над первыми двумя, производилось изготовление сигар. Каждое из последних двух отделений занимало по большой светлой комнате в десять окон и было устроено и обстановлено одинаково: посреди комнаты, во всю длину ее, стоял стол, за которым с обеих сторон сидело человек более ста мастеровых, в красных и голубых шапках с кистями, предохранявших волоса от едкой табачной пыли и придававших вообще очень красивый и веселый вид мастерской, особенно когда в ней раздадутся песни. Между мастеровыми, живущими на жалованье, рассажены были мальчики, отданные в ученье по контракту; они обвертывали в табачные листы стебли и мелкие обрывки по ровным количествам и свертки передавали мастеровым, которые окончательно превращали их в сигары.

У стены, противоположной окнам, на лавках, стояли корзины с табаком, приготовленным женщинами внизу, и весы, к которым мальчики по временам подходили, подставляли фартук и получали от приказчика, весом, новую порцию табаку,— мера, показывавшая экономическую предусмотрительность хозяина: она не позволяла мальчикам портить или терять материал. На стене, прямо против входа в комнату, висел образ; поодаль от него, в рамках,— постановления, относящиеся до мастерового класса.

Кроме здания фабрики, на дворе было еще два строения: одно — в котором помещались баня и прачечная; другое — в котором жили мастеровые. Последнее заключало в себе столовую, спальню, кухню и лазаретную комнату.

Всё это настроил и устроил фабрикант без копейки долгу, на чистые деньги, нажитые своим счастливым ремеслом. Сигарную фабрику свою Август Иваныч завел лет двадцать тому назад, когда их в Петербурге было немного. Сам он был деятельнейшим работником и возбуждал собственным примером деятельность мастеровых, которых сначала было у него не больше пятнадцати. Ровно в пять

часов вставал он с постели, и за ним все поднимались на ноги и принимались за работу. Требования на его сигары всегда почти превышали производительность; но Август Иваныч не спешил и не увеличивал число часов, однажды назначенных для работы, и ни в чем не изменял раз заведенного порядка. Немедленно по открытии своего заведения Август Иваныч женился на Шарлотте Христофоровне,— нельзя сказать, чтобы по любви, нельзя сказать, чтобы и по расчету, а вернее: любви тут было ровно настолько, насколько было расчета. В таком счастливом супружестве Шарлотта Христофоровна ежегодно дарила Августа Иваныча ребенком, так что через десять лет фамилия сигарочника состояла из одиннадцати человек; было бы двенадцать, но один из детей умер, к прискорбию родителей. Содержание такого семейства, казалось, требовало больших расходов на стол, одежду, прислугу; но Шарлотта Христофоровна в деятельности и аккуратности по своей хозяйственной части нисколько не уступала своему супругу, а в отношении экономии даже превосходила его. Она вставала также в пять часов, брала с собой работницу или одного из фабричных мальчиков и сама отправлялась на рынок закупать всё нужное для семейства и для фабрики. Кушанье готовила тоже сама, с помощью только одной русской работницы, отличавшейся необыкновенным терпением, крепостию мышц и проворством, которое подстрекалось больше ласкою Шарлотты Христофоровны, чем жалованьем, далеко не достигавшим до желаемой цифры; впрочем, желания работницы, может быть, были неограниченны, как и вообще желания человеческие. В детской, во время стряпни, надзор предоставлялся няньке и девице, знающей шить и кроить по мерке; но хозяйка не раз успевала-таки заглянуть и туда, пользуясь некоторыми антрактами из своих кухонных занятий. Одежда детей почти ничего не стоила, кроме собственных трудов Шарлотты Христофоровны и трудов девицы, знающей шить и кроить по мерке; весь материал брался из годового гардероба поношенных платьев родителей, и прикупать ничего не приходилось, потому что если число детей и увеличивалось с каждым годом, то, с другой стороны, родители их с каждым годом значительно толстели и объем их костюмов увеличивался через год как раз настолько, чтобы сшить одну лишнюю пару лишнему ребенку; так что из серого сюртука Августа Иваныча, ежегодно возобновляемого, через десять лет

супружества выходило ровно четыре куцых курточки для четырех сыновей, а из платья Шарлотты Христофоровны — пять коротеньких платьиц для дочерей. Возобновление поношенных материалов производилось в мастерской родителя Шарлотты Христофоровны — скорняка, красильщика и пятновыводчика, который получал плату за это сигарами для собственного употребления. Жил Август Иваныч вообще скуповато; впрочем, по воскресеньям у него нередко бывали гости; некоторые приходили к обеду, и из приготовленных блюд ни одно не пряталось от гостей. Только сигары предлагались гостям не из лучших, но лучших Август Иваныч и сам не курил, по крайней мере при гостях. В большие праздники бралась ложа в немецком театре и нанимался поместительный экипаж... Короче: образ жизни Августа Иваныча действительно способен был возбудить зависть в некоторых кружках, но не представлял, к сожалению, удобства для подражания. Нет никакого сомнения, что процветание домашней, хозяйственной части фабриканта и его фабричных дел было плодом бережливости, аккуратности и деятельности — качеств, давно уже всеми утвержденных за немцами; но из описанного видно также, что всему этому немало способствовало и счастливое сочетание посторонних обстоятельств. Только правильное устройство фабрики в новом доме, наружность которой мы описали выше, должно отнести единственно к уменью Августа Иваныча распорядиться нажитыми средствами.

Внутренний порядок фабрики соответствовал наружному ее виду. В определенный час и минуту мастеровые вставали, садились за работу, шли завтракать, обедать, ужинать, ложились спать. На дворе, в свободные часы, играли в бабки, чехарду и другие русские игры, которые если иногда переходили в драку, то зло прекращалось в самом начале дядькой из отставных унтер-офицеров, который наблюдал за порядком на дворе и в доме мастеровых: он вместе с ними жил и знал ближайшим образом характер каждого из них. Со двора отпускались как мальчики, так и наемные мастеровые в будни только в случае действительной надобности, а в праздники — до известного часу, и за промедление делались денежные штрафы. За пьянство и буйство немедленно отказывалось от места, а с мальчиков строго взыскивалось. Женщины, работавшие внизу, на ночь расходились по своим квартирам, и на фабрике оставался только мужской пол. Вообще хозяин строго наблюдал за нравственностью мастеровых и рас-

считывал на этом свою и их собственную пользу. Один здоровый и благообразный вид мастеровых свидетельствовал уже о пользе строгих мер хозяина. Лицо с заспанными или подбитыми глазами редко встречалось в мастерских Августа Штукенберга, даже после больших праздников, когда половина мастеровых других фабрик вовсе не являлась на свою фабрику, ни с целыми, ни с подбитыми глазами. Условия, с которыми мастеровые Штукенберга отпускались со двора, заставляли их иной раз отказаться от публичных гульбищ и проводить праздники дома в полезных занятиях или в удовольствиях дешевых и безвредных. Таким образом, мастеровые Штукенберга легко уплачивали свой оброк и имели деньги на черный день. Сверх того, удаление от публичных гульбищ и развлечений вне дома поселило в них охоту к грамоте, которой они незаметно выучивались один от другого, и редкий мастеровой на фабрике Штукенберга был неграмотный. Август Иваныч и тут наблюдал, чтоб книги, которые они читали, были священные или нравственные, но одобрял, впрочем, также и песни и сказки.

Собственные дела Августа Иваныча шли как нельзя лучше. Сигар на его фабрике вырабатывалось до пятидесяти тысяч штук в день и в сбыте никогда не было остановки. В некоторых местах России образовались для его сигар складочные места,— образовались сами собой, временем и известностию, без хлопот со стороны хозяина, который отпускал товар не иначе как на чистые деньги. Потерь у Августа Иваныча никогда не было, а прибыль росла с каждым годом, и, несмотря на то что на фабрике было около трехсот работников, кроме приходящих женщин, хозяин продолжал принимать мальчиков в ученье когда угодно и сколько угодно. Увеличивая более и более действия своей фабрики, Август Иваныч знал наперед, что число курителей его сигар непременно увеличится настолько, насколько он усилит производство. «Прежде редкий курил, а теперь редкий не курит!» — говорил в подобных случаях счастливый фабрикант и прибавлял, что недалеко то время, когда на человека некурящего будут указывать пальцем.

Дело было летом. Август Иваныч сидел утром в своем кабинете и читал письмо, пуская дым сигары через нос. Указательный палец его правой руки был украшен бриллиантовым перстнем, а манишка запонками; всё это означало субботу и предстоявший семейный вечер в клубе,

куда он выезжал единственно для старшей дочери, которая готовилась быть невестой. Фабрикант был видный и красивый мужчина лет пятидесяти, высокого роста и солидной полноты. Несмотря на свои лета, свежестию румяного лица и густотою темно-русых волос он недалеко отстал от висевшего тут портрета, снятого с него в молодости; особенно глаза с серыми зрачками посреди чистых белков сохранили вполне свою ясность. Вообще физиономия его не носила ни малейших следов забот и волнений жизни, а скорее свидетельствовала, что счастливец постоянно хорошо кушал, еще лучше спал и всегда находился в спокойном расположении духа. В эту минуту, однако ж, лицо его выражало некоторое напряжение. Причиною было содержание письма, которое он читал, или, вернее, перечитывал, потому что прочитано оно было еще вчера утром, тотчас по получении, но ответ отложен до следующего дня; он, может быть, был бы отложен и далее, по важности его, но аккуратный Август Иваныч не откладывал никаких ответов далее первой субботы. В письме фабриканту, после предварительной переписки, уступался наконец за сорок тысяч дом в городе ВВ со всем обзаведением табачной фабрики и товаром. Что покупка была очень выгодна и необходима, это Август Иваныч давно уже решил: в этом доме он предположил основать отделение своей фирмы и предоставить его в независимое распоряжение будущему зятю; лучшего приданого для милой Амалии нельзя было придумать. Но осторожный Август Иваныч задумался над вопросом: как устроить всё это, то есть отдать деньги и принять дом со всеми принадлежностями и товаром? Наконец, однако ж, он написал ответ и решительно обратился к сидевшему в углу кабинета за работой молодому человеку лет двадцати пяти, который, впрочем, с виду казался пятнадцатилетним мальчиком по своей тоненькой фигурке и нежному лицу, немного бледноватому.

— Генрих! — сказал ему Август Иваныч, подавая написанное письмо.— Прочитай это!

Генрих поспешно подошел и, взяв письмо, стал читать по-немецки: «На предложение ваше, г. Каратулин, я согласен. Деньги сорок тысяч рублей посылаю с моим конторщиком и воспитанником Генрихом Кнаббе...»

— Это со мной? — спросил Генрих и, казалось, несколько струсил.

— О да, конечно! Ты это сделаешь хорошо! — с уве-

ренностью сказал Август Иваныч, опустив руку на плечо Генриха, который принялся благодарить за доверие и обещал постараться исполнить всё как нельзя лучше.

— О да, конечно! ты это сделаешь!— снова сказал хозяин и начал делать подробное наставление насчет осмотрительности при приеме дома и товара, пересчитал весь ассортимент разных табаков и исчислил все их хорошие и дурные свойства.— Но, мой Генрих! — заключил он.— О, конечно!.. ты сам всё знаешь.

Генрих отвечал утвердительно, и тотчас же была написана и послана публикация, в которой приглашался попутчик до ВВ, на половинных издержках.

— Ну, теперь оставляй работу и пошли завтракать,— сказал наконец Август Иваныч, взглянув на часы.— А потом иди купить себе чемодан.

Август Иваныч хорошо говорил по-русски, только правильное употребление некоторых глаголов ему не удавалось. Генрих же, выросший в Петербурге больше между русскими, напротив, по-немецки говорил плохо.

В небольшой зеленой комнате за столом, накрытым белой скатертью, сидело семейство фабриканта: с краю — Шарлотта Христофоровна, в чепчике, туго накрахмаленном и свежем, как ее полное лицо, покрытое легким румянцем; за нею — мамзель Штукенберг-старшая, Амалия,— живая копия с портрета матери, который находился в кабинете, рядом с портретом Августа Иваныча; далее — половинный комплект детей, обвязанных салфетками, и, наконец, мамзель Саша: так звали девицу, знающую кроить и шить по мерке.

— Генрих должен поезжать! — сказал решительно Август Иваныч, входя в столовую в сопровождении Генриха.

— Но он прежде возьмет свой завтрак,— возразила Шарлотта Христофоровна.

— О нет! поезжать совсем из Петербурга! — пояснил Август Иваныч.

Лицо Саши побледнело. Лицо Шарлотты Христофоровны выразило удивление; она вопросительно смотрела на супруга.

— О да, конечно! — снова произнес Август Иваныч, разрешая недоумение Шарлотты Христофоровны.— Он исполнит это! Так ли, Генрих?

— Будьте спокойны, Август Иваныч! — отвечал с уверенностью Генрих, между тем как Шарлотта Христофоровна восклицанием «ах да!» показала, что она поняла

наконец, о какой поездке говорится.— Так это будет Генрих? — прибавила она с улыбкой, подавая Генриху бутерброд и кофе.

— О да, конечно! — отвечал Август Иваныч.— Наш Генрих, Генрих Кнаббе!.. не кнабе (не мальчик)... хе-хе... а молодой человек... умный молодой человек Генрих Кнаббе!.. Не так ли, милая Мальхен?

Мамзель Амалия отвечала утвердительно.

— О да, конечно! — заключил Август Иваныч и потянулся за третьим бутербродом к Шарлотте Христофоровне.

Генрих благодарил всех за доброе мнение о нем и взглянул на Сашу, которая с самого начала разговора стояла как окаменелая, держа в руках бутерброд и кофе, и смотрела на Генриха с недоумением и беспокойством.

— Я возвращусь...— поспешно сказал Генрих, весело глядя на Сашу,— возвращусь как можно скорее...— И, обратясь к Августу Иванычу и Шарлотте Христофоровне, с большим чувством он кончил свою фразу так: — Возвращусь с тем, чтобы услышать снова от вас всё, что теперь слышу лестное и приятное для меня.

На это Август Иваныч отвечал своим многозначительным:

— О да, конечно!

И Саша с повеселевшим лицом ушла в детскую.

Через несколько минут Генрих с озабоченным видом шел к своему другу Гарелину поговорить и посоветоваться о важном поручении Августа Иваныча.

Глава LII

ГЕНРИХ КНАББЕ И ДЕВИЦА, ЗНАЮЩАЯ ШИТЬ И КРОИТЬ ПО МЕРКЕ

Генрих в самом деле рад был случаю показать на чем-нибудь свою преданность к Августу Иванычу, зная и глубоко чувствуя, что он воспитал его, совершенно безродного, хотя и до этих пор Август Иваныч не мог сомневаться в усердии и добрых качествах своего воспитанника. Генриху не было еще и семи лет, как он посажен был в мастерскую и начал делать сигары. Потом, едва он успел показать в этом свое проворство и старательность, Август Иваныч взял его к себе в кабинет в конторщики, потому

что письма, счеты и другие конторские занятия день ото дня увеличивались вместе с ходом его торговли, и Генрих был ему самым усердным помощником. До шестнадцатилетнего возраста Генрих ходил в серой куртке, носил детские манжеты и совершал свои прогулки по праздникам не далее Адмиралтейского бульвара и Летнего сада, и то в сопровождении одного приказчика, к которому Август Иваныч имел большое доверие за его скромный образ жизни и особенно за бережливость, доходившую до скупости. В самом деле, Гарелин (так звали приказчика, о котором мы говорим и к которому спешил теперь Генрих за советами) вел, в бытность свою на фабрике у Августа Иваныча, почти затворническую жизнь, вовсе ненатуральную в его лета; никому не случалось видеть, чтоб он когда-нибудь от души повеселился, сшил себе лишнюю обновку или чем-нибудь потешил себя. Кончив занятия на фабрике, он шел в свою комнату и там занимался чтением и рисованием. Постоянно угрюмый вид его и уединение заставляли предполагать в нем или злого человека, или человека, снедаемого каким-то тайным горем. Но симпатичная натура Генриха инстинктивно угадывала последнее, и, может быть, поэтому Генрих крепко подружился с Гарелиным и проводил с ним всё свободное время у него в комнате, за чтением и растиранием красок, или в прогулках. Во время прогулок с бульвара Гарелин часто проходил на Английскую набережную, останавливался против здания Академии художеств и долго стоял, задумавшись, потом молча и еще угрюмее возвращался домой. Генриху он тоже ничего не говорил о своей печали,— может быть, потому, что считал его, заодно с Августом Иванычем, ребенком. Через два года, в продолжение которых всё жалованье его копилось у Августа Иваныча почти нетронутым, Гарелин, взяв деньги, оставил свое место, также не объявляя никому о причине, но пригласил, однако, Генриха не забывать его.

Неизвестно, долго ли еще Генриху пришлось бы одеваться и жить дитятей, если б одно обстоятельство не изменило взгляда Августа Иваныча на своего воспитанника. Генрих, с тех пор как лишился общества Гарелина, начал сильно скучать, но не решался отпрашиваться у Августа Иваныча со двора, боясь, что это ему не понравится. Немного мечтательный, он развил в себе эту наклонность чтением некоторых романов, стал особенно тосковать по природе, завидовать свободной жизни

приказчиков в праздники, и вот наконец всё это выразилось у него чистосердечно и довольно оригинальным образом. В жаркий летний вечер Генрих сидел в кабинете с Августом Иванычем и оканчивал счеты; но мысли его были давно уже заняты не тем, и мечтатель на начатом счете вдруг бойко начал писать смету расходов на разные принадлежности костюма... Надо заметить, что за несколько месяцев перед этим Август Иваныч обещал положить ему жалованье... Цены по смете полагались, впрочем, слишком скромные, за которые можно было получить предполагаемые вещи разве только в толкучем рынке. За сметою явилась довольно хорошо удавшаяся нога на высоком каблуке, обтянутая в приходившуюся на ее долю часть панталон, и под ногою надпись: «Показать Магелойму»,— имя портного, которому приказчики фабрики заказывали свои обновки. Потом воображение Генриха представляло ему светлое голубое небо, Неву, над Невою нырявших в воздухе чаек, за Невою — старые домики, стоявшие на берегу Петербургской стороны, в домиках — мирную и приятную жизнь беспечно-счастливых обитателей; перевозчики, снующие по Неве, превращались в идиллических рыбаков. Далее воображение рисовало уже картины американской природы, вычитанные им из романов Купера. Рука Генриха между тем продолжала чертить бессознательно, и за сметою и ногою на высоком каблуке явилась лодка, похожая на гичку Гарелина; потом берег с толстыми деревьями. Август Иваныч остановил его на каком-то, должно быть американском, растении невероятной формы,— остановил и, взяв счет из-под его руки, с удивлением и страхом пристально посмотрел на своего конторщика, который с смущением и не меньшим страхом бормотал свои извинения. Убедившись, однако, что конторщик не сошел с ума, Август Иваныч успокоился и только пожурил его слегка за рассеянность, небывалую в жизни аккуратного и деятельного Генриха. На другой день Август Иваныч сказал ему:

— Генрих! ты имеешь жалованье!.. о да, конечно!.. Пятьсот рублей. Шей свое платье и иди гулять.

Когда наконец предметы мечтаний принес портной Магелойм и мало-помалу собрались в комнате Генриха все нужные вещи, ценою, впрочем, далеко превосходившие предварительное исчисление,— дождавшись первого воскресенья, Генрих вышел за ворота первый раз в жизни один и решительным франтом. Но с первых же шагов Ген-

рих показал, что ему не бывать гордым магазинным львом, проникнутым сознанием красот своего костюма. Дойдя до соседнего дома, у которого строился забор, он поравнялся с девочкой лет пятнадцати, очень бедно одетой. Девочка стояла на панели и, придерживая одной рукой поставленную на тумбу огромную корзину с набранными у забора щепками, другой рукой сделала какой-то нерешительный жест проходившему мимо служивому; но служивый ничего не заметил.

— Поднять, что ли, вам? — сказал Генрих и взялся за корзинку, совершенно забыв о своем щегольском костюме.

— Да-с! — отвечала девочка, вспыхнув от этой неожиданности.

И они принялись поднимать корзину, между тем как вблизи от них двое молодых магазинщиков, зевавших в дверях магазина, потешались от души над этой сценой.

— Смотри, смотри! — говорил один.— Подымает!

— Подымает и есть! — заметил другой.— Вот умора!

— И в перчатках!

— В новых перчатках! Гляди: снова поставили на тумбу!

Корзина в самом деле была опять опущена на тумбу, потому что между Генрихом и девочкой завязался разговор, когда глаза их встретились.

— Ах, это, кажется, вы, Александра...

Уменьшительным «Сашенька» Генрих не решился ее назвать, а отчество он забыл.

Девочка с минуту всматривалась в Генриха и вдруг радостно произнесла:

— Генрих!

— Узнали, узнали! — заговорил весело Генрих.— Где вы живете? Ну а жив ли ваш папенька?

— Не знаю,— отвечала девочка печально,— я живу с тетенькой; она говорит, что, может, жив, а может, и нет,— и всё сердится, что денег не присылает; даром, говорит, хлеб ешь...

Девочка заплакала. Генрих взял ее за руку и, задумавшись, смотрел то на корзину, то на одежду и загоревшее худое лицо девочки; потом он спросил:

— А шить вы умеете?

— Умею,— отвечала девочка, отирая слезы передником и снова улыбаясь,— да не умею кроить, а то бы...

— Ничего,— перебил Генрих,— по мерке можно. Я достал бы вам. И место приискал бы... Хотите? — спросил он решительно, желая успокоить девочку, а впрочем, у него вовсе не было в виду ни мерок, ни места.

Девочка благодарила и согласилась с радостью.

Затем Генрих, расспросив, где она живет, помог поднять ей корзину на голову, и они простились. Девочка пошла, едва переступая под тяжестью, а Генрих смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом; он припоминал ее грустное детство, ее безродность, подобную его собственной, только более беззащитную,— и жаль ему было бедной девочки.

Знакомство его с нею началось, когда Генриху было лет десять, а Саше лет пять. В доме, где прежде помещалась фабрика Августа Иваныча, жила одна старушка, бабушка Саши. Генрих начал ходить к ней, познакомившись и подружившись прежде с Сашей в детском садике, устроенном посреди двора. Старушка квартирничала, то есть снимала квартиру и отдавала в ней комнаты внаем. Комнаты были небогатые, жильцы тоже. Но добрая старушка не для одной своей внучки была бабушка, но также и для жильцов, о которых не менее заботилась: тепло ли им, не угарно ли,— и хоть страх как стара была, а всё хлопотала, не нужно ли прибрать что-нибудь в комнате, приготовить чай или постель кому-нибудь. Сходит ли со двора, никак не может, возвратясь, не принести своей внучке пряников, ягод или других лакомств и не попотчевать кстати и жильцов, а в воскресенье непременно принесет просвиру и, разделив всем по кусочку, скажет: бог милости прислал! Когда же кто-нибудь из жильцов делался болен, она не отходила от его кровати и бог знает откуда брала силы просиживать возле иногда целую ночь. Поэтому, когда старушки не стало, каждый из жильцов вспоминал о ней с умилением, встречая на пути своей жизни чаще жестокосердие и холодный эгоизм людей; от этого же, начиная короткую историю детства Саши, мы не могли не остановиться на минутку перед этой старушкой... Саша была девочка нежная, чувствительная, со всеми лепетала и всем улыбалась, премило суживая свои голубые глазки и показывая ряд красивых зубков. Лепетала она смешно, а смеялась так, что пролила бы веселость и в самую мрачную душу своим мягким голосом, который беззаботно звенел и разливался трелью. Резвушка знала, что ее нельзя не любить, нельзя слушать ее лепетанье и не смеяться

вместе с нею, и беспокойно приставала ко всякому серьезному гостю, пока тот не развеселится и не покажет, что он смеется, следовательно, ее любит. Успокоенная с этой стороны, Саша принималась за кошку, если она тут случалась, или за куклу, и выпытывала, любит ли она ее и крепко ли, усаживала за жестяной чайный прибор, расставив его на подножной скамейке, допрашивала, как она поживает, отвечала за нее понемножку, потчевала чаем, просила быть как дома. Потом Саша начинала прыгать так весело, что с нею никак не могли не прыгать и посуда в шкапу и самовар на покачнувшейся этажерке. «Да перестанешь ли ты, вертушка!» — раздается голос бабушки; но вертушка смотрит на бабушку — бабушка улыбается, хоть и грозит ей вязальной спицей,— оглядывает гостей — и гости улыбаются, смотрит на шкап с посудой, на сияющий самовар — все и всё ей улыбается, следовательно, все ее любят, и весело доброму ребенку!..

Отца и матери она не видала никогда, но узнала от бабушки, что они есть у нее,— узнала в то время, когда едва только запала в беззаботную головку неясная мысль о том, что они должны быть, а набрела она на эту мысль однажды утром, читая за бабушкой свою обыкновенную молитву. Прочитав «Богородицу», бабушка продолжает:

— Помилуй, господи, папеньку!

Девочка повторяет.

— А где же, бабушка, папенька? — спрашивает она вдруг, к удивлению старушки.

— Он далеко,— отвечает бабушка,— он приедет, гостинцев привезет. Молись же, душенька,— прибавляет она, вздохнув,— помяни, господи, маменьку!

Ребенок опять повторяет и опять спрашивает:

— А маменька где?

— Она высоко, душенька; там, на небе... Молись же, молись,— снова уговаривала бабушка, между тем как внучка пристально всматривалась в небо.— Ее нельзя видеть, не увидит никто... Помяни, господи, маменьку!

Но девочка рассеянно повторяла молитву и продолжала смотреть на небо.

— Отчего же нельзя видеть? — беспокойно приставала она к бабушке в этот день.

За вечерней молитвой — те же вопросы, те же ответы. Чтобы утешить ребенка, бабушка описала наружность матери. С мыслию о матери девочка заснула и видела ее во сне: она ей улыбалась.

— У меня есть папаша и мамаша! — рассказывала на другой день Саша.— Папаша приедет, гостинцев привезет!

Саша крепко любила бабушку; и старушка только пообещает уйти тоже высоко, оставить ее, девочка в ту же минуту переставала досаждать ей шалостями, подбегала к ней, обнимала крепко, путая при этом случае вязальные спицы, называла ее красавицей, голубчиком; и старушка мирилась, усаживала ее возле себя и обещала не уходить высоко. Наконец, однако ж, бабушка обманула свою внучку: отправившись к св. Сергию, по обещанию, старушка не возвращалась. А Саша ждет. Проходит день, два, неделя.

— Где же бабушка? — спрашивает она тоскливо у тетеньки.

— Придет завтра,— отвечает тетенька.

И девочка опять ждет.

Проходит еще несколько дней.

— Помилуй, господи, бабушку! — говорит Саша уж одна, без подсказыванья старушки.— Что же бабушка? — прибавляет она грустно, но, не получив ответа, продолжает: — Помилуй, господи, бабушку...

— *Помяни,* господи,— поправляет ее тетенька.

Но девочка возразила, что бабушка учила: помилуй, господи, бабушку, а помяни, господи, маменьку,— маменька высоко.

— Бабушка тоже высоко, там! — отвечает тетенька, указывая на небо.

— Ушла?

— Ушла... Молись же, молись,— ничего: у тебя есть папаша; приедет, гостинцев привезет,— утешала ее тетенька.

Но девочка горько плакала: рассердилась на нее бабушка и ушла... эх, бабушка!

Однако ж Саше удалось наконец увидеть и бабушку во сне; бабушка ей улыбалась, она не сердится на нее. «Голубчик бабушка!» — воскликнула Саша и в радости посылала поцелуи в небо.

После бабушки тетенька сделалась полной хозяйкой и наследницей. При тетеньке Саша меньше болтала и смеялась, еще меньше прыгала; улыбка не вызывала улыбки на холодном и суровом лице тетеньки, которая не понимала, что значат эти заглядыванья девочки ей в глаза то с той, то с другой стороны; тетенька не целовала ее, как

бабушка, и уже не тем тоном кричала ей: «Да перестанешь ли ты, вертушка!», когда она резвилась. «Но вот приедет папенька: папенька лучше»,— думает про себя Саша.

Проходит около года. Папенька приезжает.

— Кто это, тетенька? — спрашивает Саша, проснувшись утром и увидев какого-то незнакомого мужчину, который спал на диване лицом к стене.

— Одевайся скорее,— говорит тетенька,— это брат приехал, твой папаша.

— Ах, папаша, папаша!

И девочка весело засуетилась на постели.

— Гостинцы? — спросила потом она, указывая на корзинку, которая лежала на чемодане, у дивана.

— Тс! будь умница, оденься, умойся, потом и разбудишь его.

В минуту Саша была готова.

— Папаша! — начинает она робко будить своего отца.

Папаша не шевелился.

— Папенька! — сказала она погромче, стараясь заглянуть ему в лицо.

Но папенька продолжал спать.

— Дяденька! — снова кричит дитя, усомнившись, вероятно, в действительной принадлежности ему имени отца.

Но и «дяденька» не пошевельнулся. Саша что-то думала.

— Братец моей тетеньки! — крикнула она наконец и робко отскочила от дивана.

Спящий зашевелился и, промычав что-то, повернулся на другой бок. Потом он открыл глаза и, оглядывая комнату, остановил их на дочери, тревожно ожидавшей, что скажет ей братец тетеньки.

— А, это ты... шалунья?..— заговорил он охриплым голосом.— Ишь какая!.. Ну, поди, поди сюда.

Саша подбежала и, припав к нему, положила свои руки на его плечи. Родитель, лежа, чмокнул ее в лоб, и девочка слабо вскрикнула, почувствовав, может быть, нежность первого поцелуя отца, а может быть, и щетины его небритой бороды.

— Здравствуй, здравствуй! — продолжал отец, привстав и отводя ее рукой от себя.— Так вот ты какая... ну хорошо. Ступай же к тете, а мне дай одеться.

Девочка вышла, потирая себе лоб, а приезжий начал раскладывать свою поклажу. Саша между тем наблюдала

за ним из-за двери, посматривая на соблазнительную корзинку с мнимыми гостинцами. Бедняжка обманулась. В корзинке была фляжка с ромом, из которой приезжий тотчас же и употребил несколько глотков, потом были остатки поросенка, кусок сайки; но гостинцев не было. В чемодане оказались одна перемена платья и белья, несколько колод карт, трое карманных часов, четыре серебряные ложки; были и другие вещи, более или менее нужные и ценные, но не имевшие в глазах ребенка никакой цены. А гостинцев не было.

Небрежность отца к своей дочери происходила, впрочем, не от недостатка любви к ней, но от излишней заботливости упрочить свое и ее благосостояние; в постоянном стремлении к этой цели ему было не до гостинцев. За чаем он с участием спрашивал свою сестру о последних минутах жены, умершей шесть лет тому назад, что не мешало ему, однако ж, беспрестанно подливать себе рому в чай из дорожной фляжки. Делая вопросы, он в то же время вовсе не расположен был слушать ответы. Только что сестра, рассказывая о покойнице, коснулась какого-то проигрыша и продажи всего имущества покойницы, он тотчас остановил ее.

— Ну, полно же! — возразил он, бросив в досаде чайную ложку в стакан.— Сказал: отыграюсь — и отыграюсь! — и назвал сестру глупой женщиной, отчего та замолчала, приняв раболепный вид.— Ишь, дался вам мой проигрыш! — продолжал он, глотнув из стакана и откашливаясь.— А дело просто: умерла, как умирают, вот и всё! А то, вишь, проигрыш убил! Отчего ж он меня не убил? а я, ты думаешь, так и забыл всё. Нет, не было еще такого дня!

И, выпив залпом из стакана всё, что заключалось в нем, приезжий встал из-за стола и заходил по тесной комнате, задевая ногами за стулья.

— Поглядим, чем это кончится! — бормотал он про себя, сверкая красными, злыми глазами.

Наконец приезжий, успокоившись понемногу, выразил свою заботливость о дочери и бросил сестре на стол несколько ассигнаций. Заходила даже речь о будущей судьбе дочери, о ее воспитании, и хоть в эту минуту он не мог дать для этого денег, но изъявил надежду на будущее, сказал, что он в Петербург попал мимоходом, что он теперь на пути к одному выгодному месту на золотых приисках. Не прошло недели, как заботливый отец снова во-

зился около чемодана, укладываясь в дальнюю дорогу, причем обнаружил к этой возке большой навык.

С тех пор Саша не видала своего отца, а тетеньке ее он писал сначала раз или два в год и высылал деньги на содержание дочери, не упоминая, впрочем, ни слова о роде своих занятий, а потом вовсе прекратил и переписку и высылку денег. Тетенька терялась в догадках и то мечтала, что братец ее страшно разбогател на своем выгодном месте и по возвращении немедленно выстроит ей *свой уголок,* то вдруг ей представлялось, что он давно уже не существует на свете,— и тогда она принималась жалобно выть о своей судьбе и грызть свою племянницу, попрекая ее хлебом. Наконец она стала постоянно держаться той мысли, что братец ее или спился, или умер, и озлобленность ее распространялась даже на жильцов, которым она старалась наворчать при всякой услуге, следовавшей от нее по условию. Это было именно около того времени, когда произошла описанная нами встреча Генриха с Сашей у забора.

Генрих во весь тот день придумывал, как бы пособить скорее горю девочки. У Августа Иваныча, правда, число членов семейства доходило в то время до десяти, и швея была бы не лишняя в его доме, но скуповатость Августа Иваныча не давала надежды на успех. Притом же Генрих не был спокоен насчет обещанных мерок или выкроек. Но судьба помогла Генриху. Дня через два в газетах явилась публикация, в которой предлагалась девица, знающая шить и кроить по мерке, без всяких условий насчет платы. Август Иваныч, читая эту публикацию в кабинете, повторил вслух: *без всяких условий насчет платы* — и, обратясь к Генриху, продиктовал ему адрес этой девицы и велел послать за нею. Обрадованный Генрих признался, что публикация была сделана им самим, и рассказал историю Саши и свою встречу с нею. Август Иваныч остался очень доволен своим добрым воспитанником, и через несколько дней Саша явилась в доме богатого фабриканта в новеньком ситцевом платьице и, как записная швея, с маленькою шкатулкою в руках, хорошо известною Генриху, который накануне подарил ее Саше, предсказав при этом случае, что будущая швея вместо игольников, наперстков и ножниц в самом непродолжительном времени наполнит ее деньгами. Впрочем, Генрих и сам плохо верил своему предсказанию, а говорил это только для того, чтобы скорее заставить тетеньку согласиться

отпустить на место Сашу, которая заменяла ей во многих случаях работницу. С этой же целью Генрих, угадав слабую сторону тетеньки, *проговорился* даже, что Саша поступит в богатое и очень, очень щедрое семейство,— ложь, которую да простит ему читатель, уважив ее благонамеренность.

Прошло два года, но в шкатулке швеи не прибавилось ничего, а пустое место занималось, как и в день поступления Саши к Августу Иванычу, маленьким кипарисовым образом — благословением матери, клочком серебряных волос бабушки, завернутых в черный флер, и поминаньем в бархатном переплете. В поминанье прибавилось одно имя — имя тетеньки, которой не суждено было дождаться от братца своего уголка. В поминальные дни Саша, встав утром и помолясь богу в своей крошечной треугольной комнатке, садилась к шкатулке, целовала образок матери, прикладывала к губам седой локон бабушки, потом брала поминанье и, отпросившись у Шарлотты Христофоровны, шла в ближайшую церковь служить панихиду. Только в день именин отца она всегда затруднялась и не знала, что служить по нем: панихиду или молебен,— однако ж, служила молебен.

Что касается до Генриха, денежные обстоятельства его, с того дня, в который Август Иваныч сказал ему, что он «имеет жалованье», сделались едва ли не хуже. Жалованье только открыло ему кое-где кредит, которым он и пользовался, рассчитывая уже не на жалованье, а на вероятную прибавку. Короче, если при любви должен быть расчет, и расчет с обеих сторон, то Генрих и Саша, обладавшие равными средствами, казалось, были вполне достойны друг друга. Наружность и характеры их были в таком же равновесии. Лицо Саши, правда, не было особенно привлекательно и выразительно, посторонний нашел бы даже, что оно выражало доброе здоровье и больше ничего; зато лицо худощавого и бледноватого Генриха выражало всё, кроме доброго здоровья; и наружности их, таким образом, квитались недостатками и уравнивались достоинствами. Характером Саша в доброте и признательности тоже не уступала Генриху, к которому всегда была внимательна и ласкова. В туалетной шкатулке Генриха хранилось немало вещиц, подаренных Сашей в его именины...

Между тем Генрих приближался к узкому и кривому переулку, в котором жил приятель его Гарелин, бывший

приказчик, а ныне живописец, как говорила и вывеска его, мелькавшая издали над воротами дома. Генрих сильно размахивал руками и широко шагал на своих жиденьких ногах, сгибая коленки, из чего ясно видно было, что воображение его работало не меньше рук и ног. Поручение Августа Иваныча возбудило в нем много надежд, которые волновали его более и более, по мере того как он живее и живее представлял себе все обольстительные подробности своего возвращения из деловой поездки, совершенное удовольствие Августа Иваныча, Шарлотты Христофоровны и всего дома фабриканта; за удовольствием Августа Иваныча следовало хорошее жалованье, за жалованьем... Но вот он наконец приблизился к дому с вывеской: «Живописец».

Глава LIII

ЗАГОРОДНАЯ ПРОГУЛКА

Весело вошел Генрих в комнату живописца. Здесь кроме Гарелина находилось еще трое молодых людей, отчасти знакомых и Генриху, а именно: ученик Гарелина, «вывескной живописец», обещавший сделаться со временем портретным живописцем, гравер и не избравший еще рода занятий сын ложного мастера (мастера, который делает и приделывает ложи к ружьям. Читатель найдет, может быть, не совсем правильным прилагательное *ложный* от ложи, но мы берем его прямо с вывески, изготовленной упомянутым вывескным живописцем). Компания стояла посреди комнаты с надетыми фуражками, а вывескной живописец в шинели, несмотря на жаркий день; сын ложного мастера держал на плече ружье.

— Вот кстати! — сказал Гарелин вошедшему Генриху.— Мы собрались на Расплёс (так называется место, где начинается взморье). Едем вместе!

Генрих рассказал о предстоявшей ему поездке из Петербурга по делу Августа Иваныча, прибавив, что пришел посоветоваться.

— Ну что ж! всё это не уйдет, а сегодня проведешь время с нами на воздухе. Дорогой поговорим и о деле. Едем!

— Я отправляюсь, господа, вперед по-прежнему,— сказал вывескной живописец и вышел.

Не нужно было много уговаривать Генриха, которому всегда нравились поездки с Гарелиным па острова. Он согласился, и компания вышла из комнаты.

— Браво, Генрих! — говорил Гарелин.— Смотри-ка, вернешься с хорошим жалованьем. Поручение важное!

— Важное поручение! — повторил гравер.

— На сорок тысяч — не шутка! — заметил сын ложного мастера.

Продолжая, таким образом, разговор, приятели дошли до моста и сошли по спуску па плот, где вывескной живописец укладывал уже в гичке закупленную дорогой провизию. Плотовщик, под надзором которого хранилась гичка, принес весла; приятели уселись по местам, и легкая гичка понеслась по направлению к Неве.

Через полчаса они подъезжали к Круглому острову, густо покрытому высоким кустарником. На острове этом собиралось, особенно в субботу на воскресенье, много бедняков, которые имели тут даровую дачу, а иные проводили в шалашах по нескольку дней сряду,— ловили рыбу, варили уху и привозили домой рыбы на целую семью, а на возвратном пути ловили щепки, дрова и всё, что плыло им навстречу из пригодного в хозяйстве. Остров с одной стороны огибала Бабья речка, куда съезжались женщины с окрестных дач купаться, отчего она и получила свое название; с другой — широко расстилалось взморье. В воздухе было тепло и тихо, издали доносился вечерний звон. По берегу мелькали местами огни; по временам кое-где слышалась песня или раздавался выстрел в кустах. На Бабьей речке раздавались крики нескольких женских голосов, вероятно встревоженных открытием нескромного наблюдателя из-за кустов.

Приятели наши, вытащив гичку на берег, расположились на небольшой площадке, окруженной кустарником. Сын ложного мастера, едва дошел до *привала,* немедленно растянулся навзничь и запел какую-то песню из всех сил, так что вывескной живописец, человек серьезный и спокойного характера, заметил:

— Эк его!

Генрих с вывескным живописцем стали раскладывать огонь; гравер вынимал из корзинки посуду и расстанавливал ее на доске, которая в гичке служила скамейкой, а теперь заменила стол. Гарелин между тем взял ружье сына ложного мастера и скрылся в кустах, где тотчас же раздался выстрел.

— Ишь, обрадовался! — заметил гравер, кивая на сына ложного мастера, который продолжал голосить.— Что выбрался из города, так и кричать надо!

— А может быть, и надо,— отвечал вывескной живописец.— Знавал я в детстве одного медведя; медведь был вскормлен в городе и смирный как теленок, а как пришлось вожатому вести его лесом, так заревел благим матом и стал порываться в лес: натура-то медвежья заговорила!

Но шутка не достигла до слуха ложного мастера, который не унимался и кричал, наконец, уже каким-то нечеловеческим голосом.

В кустах между тем раздавался выстрел за выстрелом, хотя стрелять было решительно не в кого, особенно в эту пору дня. Но Гарелину, очевидно, нравились одни выстрелы, без всякой определенной цели. Неизвестно после которого выстрела перед ним вдруг показалась из-за кустов сгорбленная фигурка с красным носом и красными глазами, в черном замасленном сюртуке и клеенчатой фуражке с трещинами.

— Милостивый государь! — заговорил незнакомец охриплым голосом и показывая пальцем на свой нос.— Вы попали мне в лицо!

Опухшее лицо незнакомца, и особенно нос, в самом деле были усеяны черными точками; но неизвестно, что они означали: угри или порошины, попавшие от выстрела, а потому Гарелин молча всматривался в лицо незнакомца, который повторил, горячась:

— Вы попали мне в лицо, говорю я! — И, сделав шаг вперед, он прибавил решительно: — Пожалуйте ваше ружье!

Гарелин прицелился ему в лоб. Ружье, впрочем, было не заряжено.

— Как! — возопил незнакомец, уклоняясь от дула.— Вы стрелять в меня! Покушение на жизнь! Хорошо, вы ответите, милостивый государь, прошу следовать за мной или отдайте ваше ружье!

— Прошу оставить меня и убираться прочь! — сказал Гарелин, опуская ружье.

— Нет, не пойду!

— А вот посмотрим! — возразил решительно Гарелин и снова прицелился в незнакомца.

— Караул! — крикнул тот и юркнул в кусты, за которыми раздался хохот приятелей Гарелина, сидевших в

кружок около шипевшей яичницы.— А вы что, господа! — обратился к ним незнакомец.— Человека убить хотят, а вы ни с места, да еще хохочете; он, видно, вашей шайки, а?

— Ваше здоровье! — отвечал ему гравер, который держал в эту минуту рюмку водки и выпил.

— Покорно благодарю! — вдруг сказал незнакомец, внезапно переменив обиженный тон на дружественный.

Хохот повторился.

— Вот это по-нашему,— продолжал он, потирая руки и посматривая умильно на штоф с водкой,— это по-братски! Вижу, что славные ребята. С места не встать, если я знал, что он из ваших! ей-ей не знал! А теперь вот выпью за его здоровье, право, выпью!

И фигурка засуетилась около штофа, повторяя:

— Налейте-ка, братцы, налейте!

— А ружье-то славное! — заметил сын ложного мастера.— Лепажевское!

— Опалил, злодей, ей-богу, пыжом опалил! Ну да — мир! кто старое помянет...

И, не договорив фразы, он с жадностью выпил залпом рюмку водки, которую подал ему гравер.

— Кто старое помянет, тому глаз вон! — прохрипел потом незнакомец, откашливаясь и махая дружески рукой Гарелину, который в то время присоединился к компании.

— Да уж если не удалось, так что ж делать: надо помириться! — сказал сын ложного мастера.— А ружье-то славное!

— Не за каждым кустом попадется такое! — прибавил гравер.

— Не смейтесь, дети, над стариком! — жалобно произнес незнакомец и попросил налить ему еще рюмочку, сняв фуражку, причем голова его представила несколько лысин, как будто они образовались вследствие потасовки, а не от влияния времени; в одной из лысин, повыше лба, виден был шрам.

Гарелин пристально начал всматриваться в незнакомца и, казалось, что-то припоминал, между тем как тот упрашивал:

— Еще рюмочку, братцы!

— Нет, ты скажи прежде, случалось ли тебе нападать здесь на такие ружья? — сказал сын ложного мастера, взяв ружье, из которого стрелял Гарелин.

— Да где же нападать, братцы, я ведь совсем не того... И в Петербурге-то недавно, да и опять уеду скоро, в ВВ уеду, откуда и приехал... Только поджидаю вот одного человека...

— Не его ли? — перебил сын ложного мастера, указывая на Генриха.— Он тоже едет в ВВ, да еще сорок тысяч везет... Вот тебе и попутчик! — прибавил он, обратясь к Генриху.

При словах «сорок тысяч» глаза незнакомца быстро окинули Генриха.

— Именно! — заметил гравер.— Чем ждать, пока явится попутчик по газетам.

— Не смейтесь, дети! — снова проговорил жалобно незнакомец.— Езжал и я с добрыми людьми!

— Видим, видим, что человек бывалый,— отвечал сын ложного мастера,— рассказывай же, где бывал.

— Да где я не бывал!

— И в Сибири небось был.

— Был, ей-богу, и в Сибири был, дети! То есть не думайте, *как* был: на золотых приисках, и место было хорошее... да вот года два как воротился...

— Для того чтоб подсовываться здесь под выстрелы и обирать ружья! — перебил сын ложного мастера.

— Да перестань ты попрекать его ружьем! — вступился вывескной живописец.— Ружье да ружье! а старик, может, и не думал промышлять ружьями... ведь не думал? — спросил он у него.

— Истинно и не думал! — отвечал тот, приложив руку к груди.

— А! ну так ты думал, что по тебе здесь соскучились,— заметил иронически сын ложного мастера.

— Что ж, может быть, и было кому соскучиться,— произнес незнакомец, качая головой в раздумье.— Эх, братцы, горько вспоминать! — вдруг заговорил он с чувством, ударив себя в грудь.— Ведь у меня дочь здесь была... ехал я к ней с деньгами, да не довез... и ее не отыскал; да и ладно, что не отыскал (он махнул рукой)... а всё-таки взглянул бы теперь на нее хоть издали!.. Налейте, родные, еще рюмочку.

— Ты бы поискал ее хорошенько,— сказал сын ложного мастера,— да не здесь, не в кустах, а в городе.

Но ответа на это не последовало от незнакомца, который, проглотив еще рюмку, с наслаждением обсасывал губы и, казалось, не чувствовал уже ничего, кроме

приятного ощущения, произведенного действием третьей рюмки, выпитой натощак.

Генрих хотел было спросить незнакомца, как звали его дочь, вспомнив историю детства Саши, но удержался, как бы боясь открыть в нем ее отца.

Затем налили себе по рюмке вывеской живописец и сын ложного мастера, который воскликнул:

— Да здравствует фабрикант Штукенберг и его сигары! Генрих! желаю всяких благ от его щедрот!

— Желаю успеха в поездке! — прибавил вывескной живописец.

И, осушив рюмки, приятели принялись за яичницу, забыв о незнакомце, который, сверкая красными глазами, старался не проронить ни одного слова из разговора приятелей.

Гарелин продолжал всматриваться в лицо незнакомца и наконец спросил его:

— А сколько лет тому как ты ехал на прииски?

— Десять, ровно десять, благодетель мой! — отвечал он скороговоркой, видимо обрадовавшись возможности продолжать разговор.— Много воды утекло! — прибавил он, настроиваясь на печальный тон.

— И много водки выпито! — перебил сын ложного мастера.— Оставь его, Гарелин: яичница простынет!

Но Гарелин продолжал:

— А этот шрам, что у тебя на голове,— ушибся, что ли?

— Нет, родной, не ушибся...

И незнакомец начал рассказывать о жестоком поступке с ним какого-то буйного молодого человека, с которым он встретился в трактире, на пути к золотым приискам, между тем как сын ложного мастера поминутно прерывал рассказчика обращениями к Гарелину:

— Охота же тебе слушать! наскажет он, пожалуй, с три короба! Ему, вишь, еще рюмочку хочется!

Несмотря на это, эффект трогательного рассказа, казалось, был несомненный: внимание Гарелина увеличивалось с каждым словом; голос рассказчика, размоченный водкой, уже не хрипел, а только дрожал приличным рассказу образом, как у опытного актера в роли благородного отца. Но вдруг, в самую чувствительную минуту, когда рассказчик указал пальцем на свой шрам, Гарелин яростно вскрикнул, стиснув зубы:

— Прочь! пошел прочь!

И он искал глазами, чем бы швырнуть в рассказчика, который что-то бормотал, озадаченный таким странным действием своей истории на слушателя. Наконец Гарелин схватил стакан, и незнакомец скрылся в кустах.

Приятели не узнали своего всегда спокойного товарища, который в эту минуту был страшно зол и бледен.

— Что с тобой, Гарелин? — спросили они в один голос.

— Что он тебе сделал? — с упреком сказал Генрих, которому стало жаль старика.

— Ничего не сделал! Он надоел мне — вот и всё.

— Ты бы хоть попробовал яичницы-то! — приглашал его сын ложного мастера.

Но Гарелин просил оставить его и пролежал всё время, не трогаясь с места.

На возвратном пути, однако ж, он первый заговорил о незнакомце.

— Тебе странно,— сказал он Генриху,— что я обошелся так с человеком, без того убитым, как видно по всему. Знаю, что глупо; но ты, может быть, сделал бы то же на моем месте. Слушай, что было со мной лет десять тому назад. Я ехал в Петербург, чтобы учиться здесь живописи. Нужно заметить, что страсть к рисованию была у меня, еще когда я начал ходить в школу; часто во время классов я уходил на гору, за мельницу, и оттуда снимал виды; но почти всякий раз отец, рано или поздно, узнавал о каждом таком случае, и никогда это мне не проходило даром: отец готовил меня в сидельцы для своей лавки (он торговал красным товаром), а не в живописцы. Потом, сделавшись сидельцем, я продолжал чертить на каждом клочке бумаги, в каждую свободную минуту, и слушал беспрестанные упреки отца за мое бездельничество: так называл он мою наклонность к рисованию. Положение мое было тяжкое, и когда отец умер, мне хоть и жаль было его,— я его любил,— однако в то же время я рад был, что сделался свободен... может быть, за эту радость бог и наказал меня. Мне было тогда двадцать три года; но я надеялся наквитать упущенное время. Похоронив отца, я тотчас же продал всё, что осталось после него, с тем чтобы на вырученные деньги закабалить себя в мастерской одного из лучших художников до тех пор, пока сам не сделаюсь художником. С этой надеждой я ехал в Петербург. На половине пути я остановился в трактире, прозябнув под дождем, который лил целый день. В трактире этом была не занята всего одна комната, похожая на

каморку, и в той продувал сквозной ветер невесть откуда. Только что я снял шинель и велел затопить печку, дверь соседней комнаты отворилась и красивый господин с усами, немногим постарее меня, очень любезно предложил мне поместиться вместе с ним. Я принял предложение с благодарностью. В комнате у него было тепло, чисто и просторно. На одном столе стоял погребец и была собрана закуска, на другом шипел самовар, стояла бутылка с ромом и два недопитые стакана,— словом, картина была самая приятная после дня, проведенного в дороге под дождем. Господин с усами отрекомендовался мне Винтушевичем, золотопромышленником, едущим в Сибирь. После я узнал, что это был просто плут. «А вот мой товарищ!» — сказал он и указал в угол, позади меня, где сидел на диване сегодняшний бродяга; он называл его по фамилии, да я забыл... кажется, Отрывкин, что ли...

— Отрыгин, может быть? — перебил Генрих.

— Может быть. А что? — спросил его Гарелин.

— Нет, я так!...— смешавшись, отвечал Генрих, который убедился окончательно, что бродяга был отец Саши, но не желал открывать этого никому.

Гарелин продолжал:

— Мы стали закусывать и пить чай. За закуской товарищ Винтушевича упрашивал меня выпить вина, а за чаем — подлить рому, но я отговаривался, что ничего не пью. Наконец Винтушевич велел подать бутылку шампанского, от которого отказываться мне было совестно, хотя до тех пор, при строгости покойного отца, я вовсе не имел понятия ни о каком вине. После двух-трех бокалов я сделался весел до того, что не знал ничего в мире добрее и любезнее моих милых собеседников. Они рассказывали мне о Петербурге; я с жадностью расспрашивал о художниках и рассказал всё, зачем и с чем еду в Петербург. Потом мы стали играть в карты для препровождения времени, которого было еще много до ночи. Не стану рассказывать весь ход игры; всё это до сих пор мне самому непонятно, и я приписываю именно наказанию божию. Не более как в час я проиграл почти половину тех денег, которые вез с собой. Досада, раскаяние меня мучили страшно. Я отказался продолжать игру.

— Жаль! — сказал Винтушевич.— Мне вовсе не хотелось бы быть в выигрыше. Право, совестно, что завлек вас.

Я сказал, что никто в этом не виноват, кроме меня.

— Сыграйте еще! — заметил его товарищ.— Нельзя же быть постоянному несчастию: отыграетесь!

«В самом деле!» — подумал я, поставил еще какой-то порядочный куш и еще раз проиграл. Я весь дрожал от злости и досады. Почему-то мне даже представилось, что успехи мои в живописи будут также несчастливы. К этому проклятый бродяга назвал еще меня пачкуном, когда я решительно отказался играть и отошел от стола. В бешенстве я схватил стакан и пустил в него. Он застонал и повалился со стула; кровь лила из его головы. Меня связали, как исступленного. Явился доктор и нашел, что рана опасна. Кончилось тем, что я тут же расплатился за рану и остался с деньгами, которых едва хватило доехать до Петербурга. Далее нечего рассказывать. Я поступил в приказчики к Штукенбергу, и ты видел, Генрих, как я скряжничал, чтоб скопить что-нибудь и успокоить свою совесть.

— Ну что ж, зато ведь всё же ты живописец теперь! — сказал в утешение Генрих, который о Гарелине как о живописце был самого высокого мнения.

— Да, то есть маляр! или пачкун, как назвал меня сегодняшний бродяга лет десять тому назад,— отвечал Гарелин грустно, но спокойно, как человек, давно уже привыкший к этой мысли.

Приятели молча доехали до плота у моста и разошлись всякий своей дорогой.

На другой день, рано утром, знакомая фигура в черном засаленном сюртуке и в клеенчатой фуражке с трещинами вертелась у ворот гостиницы для приезжающих, посматривая в нетерпении на тарантас, стоявший на дворе. Увидев мальчишку, который бежал с сухарями к парадной лестнице, старик спросил:

— Кто приехал в тарантасе?

— А кто его знает! — отвечал мальчишка.— Вчера приехал. Кажись, Виту... Винту...

— Винтушевич, Винтушевич! — радостно прохрипел спрашивавший.— Встал он?

— А тебе на что? — спросил мальчик, оглядывая подозрительную фигуру.

— Дело есть! самонужнейшее дело!..

— Ну так подождешь! еще не вставал! — отвечал мальчик и скрылся в дверях.

Глава LIV

ПОПУТЧИК

Винтушевич, однако, давно уже не спал,— может быть, потому, что накануне выспался в тарантасе, где его насилу растолкали, когда тарантас остановился на дворе гостиницы. Мальчик, принесший сухари, застал его перед зеркалом, за бритьем, между тем как человек его — средних лет, немного повыше карлика, с рыжими волосами и лицом, густо усеянным веснушками,— суетился около самовара, беспрестанно повторяя: «Слушаю-с!» — в ответ на приказания Винтушевича готовиться снова в путь к вечеру. Винтушевич очень спешил и вследствие этого, подозвав вошедшего мальчика, совершенно неожиданно дал ему пальцем щелчка в лоб.

— Пошел —и пропал! — проговорил он сквозь зубы, продолжая бриться и делать неизбежные гримасы.

Мальчик отскочил назад и, тряхнув головой, сказал:

— Там спрашивает кто-то-с...

— Меня? — перебил его Винтушевич, отняв бритву от подбородка и уставив глаза в зеркало.

— Точно так-с!.. никак...

— Кто такой? — снова перебил Вингушевич, и лицо его выразило беспокойство.

— Не могу знать!

Винтушевич в нетерпении повернулся со стулом к мальчику лицом.

— Да как то есть спрашивал? по фамилии, что ли? говори! — сказал он, озлившись.

— Да-с, спрашивал и по фамилии...— бормотал тот, оробев.

— А ты как ему отвечал, а? — продолжал допрашивать его Винтушевич, нетерпение которого возрастало с каждым словом,— и, не дав ему приготовиться для ответа, он вскочил со стула и в два шага очутился перед испуганным мальчиком.— Ну что ж ты молчишь! — закричал он, потрясая бритвой над его головой.

— Да я ничего не отвечал! — проговорил поспешно мальчик, попятившись назад от Винтушевича, который снова закричал:

— Пошел вон! Прохор,— сказал он своему камердинеру, когда мальчик вышел,— поди узнай, кто там спра-

шивает! Да осторожней... понимаешь? — прибавил он.— Посторонним образом...

— Слушаю-с! — отвечал плутоватый камердинер и вышел.

Приняв меру осторожности, Винтушевич снова сел бриться. Осторожность в самом деле была не лишняя, потому что в числе бывших знакомых его в Петербурге были некоторые лица, визит которых не доставил бы ему большого удовольствия. Винтушевич рассчитывал, что в памяти этих лиц, несмотря на долгое отсутствие его из Петербурга, не могли не сохраниться некоторые данные из его биографии. Вот в чем, между прочим, заключались эти данные. Знакомство Винтушевича в Петербурге началось с его тетушки,— так по крайней мере он называл свою покровительницу, которой отрекомендовался, впрочем, просто родственником ее, приехавшим из провинции испытать свои силы на сценическом поприще или вообще по части наук и искусств (Винтушевич выражался как-то неопределенно); причем он просил «поддержать его, как не чуждую ей отрасль одной из артистических фамилий, известных в ее далеком отечестве». Фраза эта, при всей своей неясности, польстила самолюбию женщины, которая причисляла себя к артистическому кругу, а квартиру свою называла «артистическим домом» — на том основании, что некогда у нее собирались молодые таланты обоего пола и богатые любители искусств. К тому же родственник был красивый молодой человек, чего не могла не заметить его покровительница, которая была еще не стара, но находилась в той переходной поре жизни, когда старость представлялась уже ей неизбежностью и заставляла иногда подумать о заблуждениях молодости, прожитой весело и роскошно, и когда она, однако ж, не в силах еще была совершенно отказаться от визитов, модных платьев и претензий на внимание мужчин. По временам она впадала в меланхолию, запиралась у себя в спальне и читала поучительные книги. Лицо ее было бледно и постоянно выражало утомление. Домашние обстоятельства ее были запутаны, несмотря на значительную помощь, которую каждый год оказывал ей какой-то, вероятно известный ей, благотворитель. Впрочем, по-прежнему она жила в одной из лучших улиц, только повыше одним этажом; по-прежнему на одном окне красовался в золотой клетке попугай, который летом в отворенное окно громко кричал, как бы стараясь маскировать таким образом

настоящее печальное положение отживающего «артистического дома», известного многим свидетелям лучшей поры жизни его хозяйки. Вне дома домашние обстоятельства маскировались крупными брильянтами, блестевшими на бледно-желтых пальцах и в такого же цвета ушах этой женщины,— женщины в грустной поре весело прожитой жизни... Вслед за льстивой фразой Винтушевич мрачно проговорил:

— Я прошу у вас средств, чтобы идти к своей цели. До сих пор целью моей жизни было бороться с критическими обстоятельствами!

Неизвестно, бескорыстное ли желание помочь молодому человеку, тщеславие ли или другое какое чувство пробудилось в покровительнице талантов, только в судьбе Винтушевича она приняла живое участие и предложила ему даже небольшую комнатку в своей девственной квартире, не потребовав при этом более ясных доказательств родства его с нею. Винтушевич облобызал руки своей покровительницы с истинно родственной нежностью и поселился у нее в предложенной комнатке. Вскоре же тетушка назначила в своем «артистическом доме» нечто вроде домашнего спектакля, на который съехались все ее знакомые. Дебют будущего артиста был неудачен; но зато с этого вечера начались его новые знакомства и увеличивались с каждым днем. Красивый Винтушевич оказался, сверх того, очень любезным и услужливым, чем особенно нравился дамам. Многие из них надавали ему разных комиссий, на которые, впрочем, он всегда вызывался сам, лишь только в разговоре случалось ему слышать от одной, что у нее испортился браслет, от другой, что она желала бы выменять старую брошку на новую без придачи, от третьей, что у нее валяются часики: позапылились и остановились, а часики хорошенькие и очень можно бы носить. Винтушевич тотчас выпрашивал все такие вещи, уверяя наперед, что обмен или поправка их ничего не будут стоить. Кроме того, Винтушевич говорил по-французски и немного по-немецки, делал несколько фокусов картами, изумляя проворством рук, умел жужжать мухой, петь петухом или лаять собакой, играл и никогда не проигрывал, хотя нередко ошибался, ошибался двусмысленно, как иным казалось. У тетушки Винтушевич пользовался заботливостью самой нежной родственницы. В комнате ее слышались всхлипывания и упреки всякий раз, как он возвращался после слишком продолжительного

отсутствия. Впрочем, они скоро мирились, причем Винтушевичу редко не удавалось выпросить денег. Если же не удавалось, он долго не настаивал, но вдруг восклицал: «Ба! счастливая мысль!», точь-в-точь как это делается на сцене, и, взяв шляпу, уходил приводить эту мысль в исполнение. Следует отдать справедливость, что, несмотря на отсутствие сценического таланта, Винтушевич очень удачно лицедействовал в жизни, когда желал достать денег. В подобных случаях он в замечательной степени обладал даже даром импровизации, действуя по первому внушению счастливой мысли, которая всегда почти впору являлась ему на выручку,— так что борьба с теми затруднительными обстоятельствами, о которых он упоминал при поступлении в дом тетушки, вероятно, ничего ему не стоила.

Прошло месяца три со времени благополучного водворения в доме покровительницы. Винтушевич вдруг куда-то пропал и некоторое время не показывался ни в одном из знакомых домов. Наконец он явился утром к одному скромному и доверчивому молодому человеку, который иногда встречался с ним у своих знакомых.

— Добродетельнейший из смертных! давай пять целковых! — воскликнул он, едва успев войти.

— Нашел у кого занять,— отвечал молодой человек, осматривая новый костюм свой.

— До вечера только,— прибавил Винтушевич,— а там сколько хочешь бери у меня.

— Да, право, нет,— уверял его молодой человек.— Сам я задумался, где бы достать: нужны сегодня перчатки и еще расходы кое-какие...

Это было в день именин одной их общей знакомой, у которой быть молодой человек считал непременным долгом.

— Так нет? — сказал Винтушевич, кружась по комнате и взъерошивая волосы.— Верю... верю...— бормотал он и вдруг, остановившись перед молодым человеком, воскликнул, по своему обыкновению:— Ба! счастливая мысль! Давай мне твое платье, и через час мы оба будем с деньгами!

В пять минут Винтушевич одет был в новенькую пару молодого человека и вдобавок прицепил к жилету его золотые часы.

— Прощай! — сказал он, уходя.— Жди меня и ни о чем не хлопочи!

Но молодой человек прождал весь день, весь вечер и всю ночь и наконец дождался утра, а не Винтушевича, который с тех пор окончательно скрылся, к общему сожалению всех своих знакомых, потому что все они, вспоминая о нем, вспоминали в то же время о своих деньгах, занятых Винтушевичем у кого на несколько дней, у кого на несколько часов, в количествах, соответствовавших более или менее счастливой мысли, какая озаряла его в минуту займа. Сожаление дам о потере любезного и услужливого Винтушевича также равнялось сожалению о тех вещах, которые он обобрал у них для поправки или обмена. Некоторые сбирались спросить о Винтушевиче у его тетушки; но она давно что-то не выезжала никуда, а после, когда стала выезжать, то на ней уже не было прежних брильянтов.

Камердинер Винтушевича доложил, что человек, спрашивающий его, был какой-то старик, и описал костюм его и физиономию.

— Письмо, говорит, есть и дело нужное. Должно быть, попрошайка-с! — прибавил он спокойно.

Винтушевич углубился в размышление, продолжая сидеть против зеркала, хотя операция бритья была кончена.

— Позови! — сказал он наконец решительно и еще пристальнее начал что-то высматривать в зеркале, в котором через минуту отразился красный нос и красные глаза вошедшего посетителя.

Винтушевич вскочил и, быстро обернувшись к нему, спросил в недоумении и досаде:

— Ты как узнал, что я здесь? Что тебе нужно? какое письмо?

Посетитель молча подошел к Винтушевичу и, подав письмо, сказал:

— Велено отдать... вам или кто случится в городе из знакомых...

— Из знакомых? — заметил Винтушевич, презрительно взглянув на посетителя.— Лучше не нашли, с кем бы послать, кроме тебя! Пьяница! — прибавил он, срывая конверт.

— Пусть пьяница. Да я никого не выдам,— проговорил посетитель, голос которого хрипел и прерывался кашлем.

— Не выдам! Ты думаешь, я забыл твою последнюю штуку! — снова заметил Винтушевич, читая письмо.

— Что ж! ведь я и сам потерял всё, что было тогда,—

грустно отвечал посетитель.— Эх, батюшка, полно сердиться! Дело-то начинается славное! — прибавил он таинственно, кивнув головой на письмо, и разразился кашлем, который захватил ему дух.

— Ну что ж! — сказал Винтушевич, бросая письмо на стол.— Меня приглашают на ярмарку. Я и без того ехал туда.

— А насчет сигарочника-то...— возразил посетитель.

— Ну да! — перебил Винтушевич в досаде на то, что посетителю известно содержание письма.— Мало ли что!..— забормотал он, кружась по комнате.— Мало ли кто едет отсюда с деньгами, да попробуй!.. Будто легко!..

— Везет-то человек молодой,— проговорил посетитель,— Генрихом зовут: я видел его вчера в веселой компании.

— Пьет? — отрывочно спросил Винтушевич, продолжая кружиться.

— Нет, там не пил...

— Ничего?

— Ничего. Один меня, кажись, узнал,— дополнил посетитель после минутного молчания,— тот, что, помните, пустил в меня...

— Ничего не помню! — перебил Винтушевич, между тем как посетитель указывал на свой шрам.— И не заикайся мне о том, что было! Или я тебя выгоню!

— Я только так, чтобы не испортить дела...

— Да ты уж испортил его! — закричал в досаде Винтушевич.— Сам же говоришь, что этот, как его... этот глупый мальчишка ничего не пьет. А тут вдобавок другой еще узнал тебя: расскажет тому и напугает некстати!

— Попутчика ищет через газеты...— продолжал посетитель, терпеливо пропуская замечания Винтушевича, который между тем взъерошивал свои черные курчавые волосы и кружился всё шибче и шибче.

Наконец в лице Винтушевича ясно обозначилось присутствие счастливой мысли.

— Ну ладно, убирайся! — заключил он, видимо успокоенный.— Хорошо, ступай!

Но посетитель не шел.

— А насчет пропитания,— проговорил он,— там написано...

— То есть насчет пропивания! — перебил Винтушевич, почувствовавший даже расположение к шутке, и, подойдя к столу, на котором стояла шкатулка, достал из

нее бумажник, хранившийся между несколькими разноцветными париками, накладными усами, бакенбардами и картами.

— Возьми и убирайся! — сказал он, подавая ассигнацию посетителю, который докладывал между тем, что он будет на ярмарке недельки через две, и просил кланяться от него какому-то благодетелю Исаку Абрамычу.

— Марш, марш! — отвечал Винтушевич, указав на дверь; и посетитель вышел, сжимая в кулаке полученную ассигнацию.

Минут в пять Винтушевич очутился прилично и скромно одетым почтенным человеком, в длинноволосом коричневом парике, с бакенбардами такого же цвета и в длиннополом сюртуке, тоже коричневом. На левой руке его висел кисет с табаком, а в правой он держал дорожную пенковую трубку с коротеньким плетеным чубуком в виде змеи, извивавшейся кольцами. Головку этой змеи он сжимал в зубах и курил, оправляясь перед зеркалом окончательно.

— Ну что ж там, скоро ли? — сказал он в нетерпении своему камердинеру, который в то время с силою напирал коленком в чемодан, затягивая ремни.

— Сейчас, сударь, сейчас! — отвечал камердинер не своим голосом и побагровев от натуги.— Степан жалится, сударь, что, дескать, лошадей совсем измучили; погодили бы, говорит, хоть до вечера.

— А вот я ему дам рассуждать! — возразил Винтушевич.

— Исак Абрамыч, говорит, взыщет и с меня,— продолжал камердинер.

— Важная штука Исак Абрамыч! — заметил Винтушевич.— Колотил я его не раз!.. Живей, живей! — прибавил он камердинеру.— А теперь продам и выкуплю со всем его жидовским племенем!

И, отойдя от зеркала, Винтушевич заходил по комнате скорыми шагами, под влиянием счастливой мысли, а человек его зашевелился гораздо проворнее под влиянием последних слов Винтушевича, которые, очевидно, подействовали на него сильнее, чем слова «Живей, живей!»

Еще через пять минут Винтушевич выехал в своем тарантасе из ворот гостиницы и остановился у дома сигарочного фабриканта Штукенберга не позже той минуты, как ассигнация его, выданная посетителю, достигла до буфета ближайшего трактира.

Август Иваныч с семейством своим сбирался в церковь, когда раздался звонок у дверей; он только что успел одеться в своем кабинете при помощи одного из фабричных мальчиков, который исполнял должность лакея, получая, впрочем, за все сверхконтрактные занятия некоторые лакомые кусочки от хозяйского стола. Мальчик вышел отворить дверь и, возвратясь, доложил:

— Помещик-с. Говорит: желаю говорить с хозяином о деле. Из Нижегородской губернии.

— Ага! — сказал Август Иваныч значительно, вспомнив, что путь Генриху предстоял именно в ту губернию.— Пусть идет!

— Честь имею рекомендоваться! — сказал Винтушевич протяжно, входя в кабинет без обычной своей развязности.— Извините великодушно, что обеспокоил! — продолжал он, между тем как Август Иваныч подставлял ему стул, говоря:

— Покорнейше прошу!.. о, ничего!

— У меня, извольте видеть,— начал объяснять Винтушевич,— есть много мальчиков, которых желал бы отдать в ученье, и отдать не кому другому, как вам, почтенному и знаменитому фабриканту, имя которого... поверьте, я говорю от души...

— Можно, можно. Присылайте! — отвечал Август Иваныч, кашлянув несколько раз от удовольствия, потому что Винтушевич льстил с замечательным простодушием. Винтушевич благодарил и спросил, сколько мальчиков прислать.

— О, сколько-с хотите! — отвечал фабрикант и весело прибавил: — Дела идут вперед, хе-хе!

— Еще бы, батюшка! — заметил Винтушевич.— Сигары ваши курят по всей безграничной России.

Август Иваныч покашлял и продолжал:

— Открываю новое отделение фирмы в городе ВВ, в Нижегородской губернии,— пояснил он, приступая к своему делу,— ожидаю туда попутчика для своего конторщ...

Винтушевич не дал договорить.

— Вот случай! — воскликнул он радостно.— А я еду один-одинешенек!.. да вот, взгляните...

И с этим словом он взял фабриканта под руку и подошел с ним к отворенному окну, выходившему на балкон, против которого стоял тарантас.

— Эй, Прохор! — крикнул он с балкона своему камердиперу, дремавшему на козлах, рядом с кучером.—

Что дремлешь! слетишь с козел! — предостерег его Винтушевич, когда тот откинулся от плеча кучера, служившего ему подушкой.— Эк печет! — заметил потом Винтушевич фабриканту, кивнув на солнце, и они возвратились в кабинет.— Так вот, батюшка! чего лучше: сейчас и едем.

— На половинных издержках...— проговорил Август Иваныч.

— И, боже сохрани! что за издержки! Вы доставите мне удовольствие, несказанное удовольствие! — воскликнул Винтушевич, взяв за руку фабриканта, который тоже выражал большое удовольствие своим известным покашливанием.— Велите готовиться,— продолжал Винтушевич,— прописать паспорт на выезд... Мой прописан и всё готово — сесть да ехать! — прибавил он между прочим.

Август Иваныч благодарил и искал глазами Генриха.

В дверях показалась Саша — девица, знающая шить и кроить по мерке, и доложила, что Шарлотта Христофоровна готова и ждет, чтоб идти вместе в церковь.

— Я остаюсь! — отвечал решительно фабрикант и велел позвать Генриха.

Но Генрих в эту минуту явился сам, таща на плече новенький чемодан: он не успел купить его вчера и потому отправился покупать, как только проснулся.

— Ага! — встретил его Август Иваныч.— Иди, Генрих, простись там (он махнул рукой на спальню Шарлотты Христофоровны) и будь готов. Ты едешь вот с добрым господином...

— Прошу любить да жаловать! — вступил в речь Винтушевич, между тем как Август Иваныч, подойдя ближе к Генриху, сказал тихо:

— Прекрасный человек!.. спеши немедленно!..

— Сейчас! — отвечал оторопевший Генрих и, бросив чемодан у дверей своей комнаты, побежал к Шарлотте Христофоровне.

— Ничего, я подожду, подожду! — кричал ему вслед Винтушевич.

Затем Август Иваныч отдал приказание прописать паспорт Генриха и получить, если можно, обратно деньги, заплоченные вчера за публикацию о попутчике, которая не была еще напечатана. Потом фабрикант усадил своего гостя и подал ему сигару, вынув ее из ящика, который стоял на окне.

— Вашей фабрики? — спросил Винтушевич, принимая сигару, и, получив утвердительный ответ, продолжал:—

Я это спрашиваю потому, что никаких других не курю, кроме ваших.

Август Иваныч снова покашлял и взял свечку из рук принесшего ее мальчика, сам подал гостю огня закурить сигару, после чего свечка тотчас же была погашена.

Затем фабрикант начал речь о мальчиках, о которых Винтушевич почти забыл. Он рассказал по пунктам все условия, на каких они принимаются в ученье,— сказал даже, на какой бумаге написать контракты. Винтушевич слушал внимательно и соглашался на все условия, вполне сознавая их необходимость и даже благодетельные последствия для своих вымышленных мальчиков. Далее фабрикант рассказал весь порядок содержания мальчиков на фабрике, между тем как Винтушевич восклицал: «Бесподобно! удивительно!» — и просто завидовал будущей судьбе воображаемых мальчиков в столь благоустроенном заведении. Покашляв, Август Иваныч предложил в заключение осмотреть его фабрику. Винтушевич не отказался, и они вышли. Спускаясь по лестнице, Винтушевич бросил и загасил сигару.

— О, напрасно! — заметил Август Иваныч, внутренно, однако ж, очень довольный осторожностью гостя.

— Как можно! как можно! — возразил гость, придавив еще раз сигару каблуком.

— Застрахован! — заметил Август Иваныч и, смеясь, махнул рукой.

— Еще бы! такой великолепный дом!..

— О да-с, конечно! — перебил фабрикант.— Двенадцатого марта тысяча *** года пополудни, в три часа и двадцать семь минут!

— И минут! — воскликнул Винтушевич.— Вот как!

— И двадцать семь минут! — повторил фабрикант с твердостию, которая ручалась, что он точно так же не ошибся бы сказать время застрахования даже тогда, если б его вдруг, среди ночи, сонного растолкали и поразили известием, что дом его охватило пламенем со всех сторон.

На дворе, увидев кладовую с надписью: «Пожарная», Винтушевич всплеснул руками с простодушным удивлением провинциала, на что Август Иваныч снова покашлял; а в мастерских гость объявил решительное желание сесть за работу вместе с мастеровыми, которых, впрочем, там не было ни одного по случаю воскресенья. Далее

фабрикант повел своего гостя в помещения мастеровых и во все принадлежащие к фабрике службы.

Между тем в комнатке Генриха происходили приготовления к отъезду. Отъезд Генриха сильно занял все умы в доме Августа Иваныча, где много лет всё шло так однообразно, без всяких перемен и приключений. При этом обнаружилось, что у доброго Генриха было немало друзей кроме Саши. Его внезапный отъезд особенно поразил работницу в кухне — помощницу Шарлотты Христофоровны по части стряпни,— поразил до того, что она (непостижимо!) решилась выйти из кухни и в первый раз прошла по спальне отсутствующей Шарлотты Христофоровны, потом прокралась по зеленой столовой, проникла в кабинет Августа Иваныча и просунула голову в дверь комнатки Генриха.

— Желанный ты наш! едешь? — проговорила она жалостно.

— Еду, еду, Марфуша! прощай! — отвечал Генрих, роясь проворно в комоде.

После чего Марфуше тотчас почудилось, что Август Иваныч, откуда ни возьмись, очутился позади ее, изумленный до остолбенения ее появлением в кабинете, и она опрометью бросилась бежать обратно.

Но в бескорыстной привязанности работницы еще можно было усомниться, потому что Генрих раза три в год писал ей письма к *братьям* в разные губернии, всегда одинакового, впрочем, содержания, и не раз отправлял эти письма по почте, не требуя от нее ни копейки. Привязанность мамки была неопровержимее. Эта женщина, вообще довольно злая и называвшая Генриха не иначе как жидконогим, принесла ему веревочку: вот тебе, дескать, понадобится что-нибудь перевязать,— и потом она с некоторым сожалением принялась твердить ребенку, которого держала на руках:

— Уезжает, вишь, уезжает молодец-то наш!

Только что мамка возвратилась в детскую, в комнатку Генриха застенчиво и робко вошла Саша с предложением помочь ему укладывать вещи.

— Не нужно, не нужно, Саша! — возразил Генрих.

Но Саша настаивала. Тронутый ее печальным видом, Генрих взял ее за руки и, отводя от комода, нежно сказал:

— Спасибо, душенька!

Саша вспыхнула, услышав это имя от Генриха в первый раз.

— Скажи,— продолжал Генрих,— тебе скучно, что я уезжаю, да?

Саша молчала; но лицо ее быстро покрылось бледностью, и вдруг две крупные горячие слезы упали на руки Генриха. В свою очередь Генрих побледнел.

— Ты не приедешь! — насилу проговорила Саша и, вырвав свои руки из рук Генриха, закрыла ими лицо, едва сдерживая рыдания.

Всё это было бы ребячеством, если бы не было тут грустного предчувствия.

— Ради бога, перестань! — воскликнул Генрих, дрожавший от тоски, пробужденной привязанностью и опасением девушки.— Клянусь тебе, приеду! — утешал он ее.— Да еще выпрошу прибавку тебе и себе, и заживем! А там, может быть, явится отец твой! — прибавил он с веселым видом, пробуя и эту обычную струну, всегда благодетельно действовавшую на Сашу в минуты грусти.

Но предчувствие было сильнее надежд, и Саша продолжала плакать. Голос Винтушевича, раздавшийся на лестнице, заставил ее поспешно выйти из комнаты. Генрих снова засуетился около чемодана.

— И купчую совершим и всё устроим! — говорил за дверьми Винтушевич.— Будьте спокойны, добродетельнейший Август Иваныч! Если с ним едет человек преданнейший вам... человек, который... я говорю от души... то вы должны быть спокойны, если б даже покупали пятьдесят домов в пятидесяти местах.

Последние слова он договорил уже в столовой, где готов был завтрак в ожидании Шарлотты Христофоровны. Август Иваныч предложил гостю закусить; но Винтушевич отговорился, что ему еще рано и что позавтракает на первой станции. В это время вошла Саша, чтобы взглянуть на попутчика Генриха.

— Какая у вас красавица эта девушка! — добродушно сказал Винтушевич.

— О да-с, конечно! — отвечал Август Иваныч и в шутку прибавил: — Совсем потеряла родителя!

Затем фабрикант попросил своего гостя подождать его тут с минуту и пошел к себе в кабинет, где тотчас же началось щелканье на счетах.

— Как зовут вас, милая? позвольте спросить! — заговорил Винтушевич, оставшись один с Сашей.

Саша сказала свое имя.

— А по батюшке?

— Максимовна.

— Александра Максимовна! Скажите, пожалуйста; у меня двоюродная сестра Александра Максимовна! — воскликнул Винтушевич, очевидно лицедействуя за какого-то простяка в какой-то пьесе.— А фамилия ваша? позвольте узнать? — продолжал он, чтобы говорить что-нибудь.

— Отрыгина,— отвечала Саша.

Здесь Винтушевичу было бы более кстати сделать восклицание, потому что он узнал в Саше дочь своего утреннего посетителя, бывшего товарища его по золотым промыслам в особенном смысле. Но он повторил только машинально:

— Отры... гина...— И прибавил, кланяясь: — Прошу любить да жаловать!

Наконец вышел из кабинета Генрих с оттопыренным боковым карманом в сопровождении Августа Иваныча и мальчика, который нес на голове чемодан; отъезжающие начали прощаться, причем Винтушевич убедительно просил фабриканта не побрезговать его хлебом-солью в проезд когда-нибудь мимо его поместья. Когда отъезжающие стали спускаться по лестнице, Август Иваныч и Саша вышли на балкон проводить их глазами.

Винтушевич первый взобрался в тарантас, принял от мальчика и уложил чемодан Генриха, между тем как его камердинер с кучером, сомкнувшись плечами и головами, спали мертвым сном.

— Сюда! сюда! любезный Генрих,— сказал Винтушевич, подавая ему руку,— славное, спокойное место!.. Я тебе дам спать! — прикрикнул он на камердинера, который наконец проснулся и растолкал кучера локтем.

— Ну, прощайте еще раз, почтеннейший! — сказал Винтушевич, посмотрев на балкон, где Август Иваныч кивал ему, покашливая, а Саша печально смотрела на Генриха.— Ба! сча́стливая мысль! — воскликнул Винтушевич уже с обычной наглостью.— Слушайте, знаменитейший фабрикант! — закричал он Августу Иванычу.— Если б мне пришлось вам строить памятник, я именно поставил бы вас на балконе вашего дома, а на пьедестале вместо надписи поместил бы вашу вывеску: «Табачная и сигарочная фабрика Августа Штукенберга»!.. Ну, пошел! — крикнул он кучеру.

Кучер стегнул по лошадям, и тарантас двинулся, между тем как Август Иваныч, кивая и покашливая, говорил:

— Славный человек! хороший господин! — И, обратясь к Саше, прибавил: — О да, конечно!

Глава LV

ОБМЕН И РАЗМЕН

Не доехав несколько станций до ВВ, цели своей поездки, Генрих остановился с своим попутчиком для ночлега на постоялом дворе в одном местечке, известном, впрочем, более иных городов по своей значительной ярмарке, продолжающейся по нескольку недель ежегодно. Ярмарка в это время была в полном разгаре, и помещения все были заняты; но Винтушевич, оставив Генриха в тарантасе, пошел переговорить с содержателем, и через несколько минут их провели в особый полусгнивший флигель по двору, который, несмотря на позднюю пору, оживлен был суетней и говором людей разных сословий, толпившихся в тесных промежутках между кибитками, телегами и выпряженными лошадьми. Пройдя по темной и грязной лестнице с расшатавшимися ступеньками и такими же перилами, приезжие вошли в комнату, тесную и неопрятную.

— Ну, делать нечего, любезнейший сопутник мой! — сказал Винтушевич Генриху.— Мы не можем похвастать помещением.

И Винтушевич не без удовольствия заметил унылый вид Генриха, выражавший неприятное впечатление, произведенное на него комнатой.

— Да ведь нам не жить в ней,— продолжал он.— Оставим здесь наши чемоданы и всё лишнее — и марш в общую залу, а там увидите, как весело! Будет что и закусить!

Но Генрих решительно отказался от общей залы и закуски; Винтушевич ушел один, приказав своему камердинеру приготовить постели и пожелав Генриху доброй ночи.

Постель Генриха скоро была готова, потому что принести и бросить на пол сена, которое кучами было навалено в сенях, накрыть потом сено простыней и бросить подушку было делом одной минуты; но Генрих не торопился в постель. Он отворил окно, выходившее на двор, и

лег на него, подложив подушку. Под окнами стоял какой-то шалаш, наскоро сколоченный, где ревел благим матом ребенок, прерываемый звонким женским голосом. Скоро из шалаша кто-то вышел и пробирался в полумраке, между выпряженными лошадьми и телегами, по направлению к крыльцу. С крыльца в то же время раздался хриплый голос.

— Наконец и ты здесь!

— Здесь, здесь,— отвечал другой голос, по которому Генрих узнал своего попутчика.

— Сидим и играем,— продолжал первый голос.— Игра шла между своими...— включил он с некоторою досадою.— Входит наш Исак Абрамыч и говорит: приехали...

— Ну, идем, идем! — перебил Винтушевич.

И они отворили дверь, из которой минутно вырвался гам, пока они проходили в нее.

— Опять игра! — невольно проговорил Генрих, отходя от окна, и с заметным беспокойством ощупал боковой карман, в котором хранились деньги.

Беспокойство и разные подозрения насчет своего попутчика начали овладевать им мало-помалу с самой минуты отъезда из Петербурга. Сначала Генрих долго размышлял о сцене с Сашей, происходившей у него в комнате перед отъездом, долго видел ее перед собой плачущую и встревоженную; затем он глубоко вздохнул, как человек, вдруг ощутивший в себе тихое спокойствие и самодовольствие после долгих непонятных волнений.

— Не вздыхайте, молодой человек! — заметил с участием Винтушевич.— Я понимаю ваш вздох... да и кто бы его не понял!.. Девицы-красавицы... ох-ох-ох! Всяк из нас был молод!.. Но терпение и надежда! смелость и решительность!

Винтушевич не смотрел в лицо Генриху и говорил в каком-то самозабвении, отрывисто и скоро, так что Генриху не нужно было трудиться отвечать что-нибудь или требовать пояснений на некоторые восклицания, для него непонятные, но понятные, впрочем, для самого Винтушевича, который, очевидно, действовал по внушению счастливой мысли.

Сделав еще несколько восклицаний в том же роде, вдохновенный Винтушевич рассказал в коротких, но сильных словах историю своей любви, увенчавшейся счастливой развязкой благодаря выигрышу в карты.

— Замечательно,— продолжал он в размышлении,— новичок всегда берет на первую карту, и берет тем вернее, чем больше ставит куш! Так случилось и со мной. После игра была переменчива и часто несчастлива, а первый раз взял! Почти всякий из моих знакомых испытал это и в своей игре. Словом: я поставил бы теперь всё что есть на первую карту, если б первая карта могла быть другой раз в жизни!

Генрих между тем употреблял все усилия, чтобы укрыться от искусительного голоса рассказчика, и внимательно вслушивался в топот лошадиных копыт и стук тарантаса; но каждое слово, как будто волшебством какимнибудь, не только не пропадало в его слухе, но, казалось, повторялось по нескольку раз в воздухе, так что Генриху сделалось страшно, и он робко взглянул на Винтушевича,— взглянул и вздрогнул, встретив взгляд его, страшно наглый и сопровождаемый улыбкой.

— Вам, я думаю, тоже поздно испытывать счастие первой карты,— заговорил снова Винтушевич, смотря куда-то неопределенно вдаль.— Вы, конечно, играете, и давным-давно!

— Нет, не играю! — резко перебил его Генрих и с негодованием рассказал последствия несчастной игры друга своего Гарелина.— После всего этого,— сказал он в заключение решительно,— я уверен, что не буду никогда ни пить, ни играть! — И, помолчав немного, прибавил, как бы защищаясь от покушений своего попутчика завлечь его в игру: — Пусть первая карта останется в моей жизни не испытана.

— И прекрасно, молодой человек! — воскликнул Винтушевич.— Иначе предстояло бы больше опасности капиталу добродетельного Августа Иваныча.

Генриху показалось, что эпитет «добродетельного» попутчик произнес насмешливо, и подозрения его усилились. Однако ж не раз после этого подозрения рассеивались, и попутчик казался Генриху честным и почтенным человеком, так что ему становилось совестно за себя. Винтушевич делал самые подробные наставления, как удобнее и лучше распорядиться Генриху, чтоб скорее и успешнее кончить дело Августа Иваныча и возвратиться в Петербург; раз упомянул даже нумер статьи закона, относившегося в покупке недвижимостей. А подъезжая к местечку, в котором нужно было ночевать, Винтушевич очень досадовал, что не может проехать мимо, не останав-

ливаясь, и трогательно описывал радость своего семейства, ожидавшего его с нетерпением.

Припоминая противоречия в характере своего попутчика, Генрих долго не мог заснуть. Он дождался, таким образом, возвращения Винтушевича, который тихо вошел в комнату и осторожно опустился на свою постель, устроенную точно так же, как и постель Генриха, причем Генриху показалось, что попутчик его лег полураздетый,— новая тема для новых предположений. Однако ж под утро Генрих заснул и проспал почти до полудня. Проснувшись, он прежде всего ощупал карман сюртука, который накануне положил себе под подушку, и, удостоверившись, что в кармане было всё цело, оглядел потом комнату: в ней не оказалось ни попутчика, ни его чемодана. Генрих крикнул в окно, чтоб прислали кого-нибудь дать ему умыться, и сам начал торопливо одеваться. Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошел незнакомый человек средних лет, прилично одетый, и отрекомендовался доверенным от господина Каратулина (имя продавца фабрики), уведомив притом, что попутчик уехал, так как в его услугах не было более надобности. Хриповатый голос доверенного напомнил Генриху лицо, встретившее вчера вечером Винтушевича на крыльце; но, кроме голоса, ничто более не подтверждало этого сходства, и Генрих обрадовался, что наконец избавился от своего двусмысленного попутчика. Однако ж он спросил доверенного:

— Как же вы узнали, что я здесь?

— Еще бы! — отвечал доверенный.— Вот уж сколько дней сряду я обхожу здесь все гостиницы и постоялые дворы — наведываться, не приехали ли вы... ведь ваша фамилия Кнаббе?.. Ну так он мне и сказал! — продолжал доверенный, получив утвердительный ответ от Генриха.— Боюсь, говорит, не замешкались бы где-нибудь; а мне было кстати сюда ехать, так вот он и просил меня встретить вас и привезти к нему немедля. Делишки-то, видите ли, у него сильно позапутаны, так и торопится поскорее получить деньги.

— Так едемте скорее,— сказал Генрих.

— То-то, что нельзя раньше вечера,— возразил доверенный,— нужно мне, видите ли, побывать в двух-трех местах. А мы вот, буде вам угодно, пройдемся вместе по ярмарке, я зайду куда надо, а после пообедаем да под вечерок и отправимся в путь благословясь.

Генрих согласился. Он вышел с своим новым знакомцем и запер свою комнату на ключ, объявив, сверх того, содержателю, известному Исаку Абрамычу, что у него там хранится чемодан: так чтобы цело было всё.

Пройдя несколько шагов от постоялого двора, доверенный спросил у Генриха:

— А где у вас деньги?

Генрих показал на боковой карман.

— Хорошо,— продолжал доверенный,— а всё ненадежно: случится проходить в толпе — вырежут. Бывали случаи! — прибавил он, махнув рукой.— Мошенников что красного товару на ярмарке; нужно держать ухо востро.

— Так я спрячу в чемодан! — сказал Генрих и повернулся назад.

— Э нет, батюшка! — возразил доверенный.

— Что же мне делать? — спросил Генрих, остановившись в испуге, между тем как доверенный продолжал:

— Это из огня да в полымя; вы думаете, этот еврей так и будет стеречь ваш чемодан? Ему что? известно: многолюдство!

— Но что ж мне делать? — повторил Генрих с нетерпением.

— А вот что,— отвечал доверенный, снимая свою шляпу, и, подав ее Генриху, сказал: — Наденьте-ка!

Не понимая, к чему всё это, Генрих снял фуражку и надел шляпу.

— Впору? — спросил доверенный.

— Впору,— отвечал Генрих.

— Теперь глядите сюда! — таинственно продолжал доверенный, сняв шляпу с головы Генриха и показывая ему ее внутренность.

Генрих стал смотреть. Вдруг дно шляпы быстро отскочило кверху, и за небольшим промежутком Генрих увидел другое дно.

— Тысячи сберегал! — говорил доверенный, с торжеством посмотрев в глаза Генриху, который смеялся, очень довольный замысловатым устройством тайника в шляпе.— Не поручусь,— продолжал он,— ни за кого и ни за что, а за шляпу мою ручаюсь: в самых опасных местах сберегала мне всё, что ни клал в нее. Давайте-ка сюда, батюшка, вашу казну!

Генрих вынул пакет с ассигнациями и положил в шляпу между двумя днами, после чего внутреннее дно тотчас захлопнулось к удовольствию Генриха.

Затем Генрих надел шляпу доверенного, а доверенный фуражку Генриха, и они отправились к ярмарке. Генрих, обеспеченный замысловатой шляпой, предался совершенно новому зрелищу, какое представляла ему ярмарка, и не заметил, как прошло несколько часов, пока доверенный заходил, куда ему было нужно. Наконец они проголодались и зашли в трактир, нарочно устроенный на время ярмарки, в самом центре ее, и снаружи походивший на огромный сарай.

Внутренность трактира озадачила Генриха своим гамом и толкотней. В густом табачном дыму, которым наполнена была огромная зала во всю величину сарая, толпилось группами более сотни самых разнохарактерных людей в разнохарактерных одеждах. Разговор шел вдруг в несколько голосов и на нескольких языках. Около стен, за столами, покрытыми грязными скатертями, сидели такие же группы народа и по временам хохотом в несколько голосов совершенно покрывали говор групп, стоявших в разных местах залы, за недостатком стульев. Всё это освещалось сквозь узкие окна слабыми лучами заходящего солнца.

Генрих с доверенным едва отыскали один незанятый стол.

— Что прикажете-с? — спросил служитель, махнув полотенцем по столу.

Доверенный потребовал лучший обед и усердно угощал Генриха, как своего гостя. К концу обеда вошел человек низенького роста, с черными, коротко обстриженными волосами, в коричневом фраке с светлыми пуговицами и желтом галстухе. Это был фокусник, занимавшийся, впрочем, также продажею цепочек, перстней, зрительных трубок и фальшивых брильянтов — за фальшивые же. Фокусник прошел около всех столов, осматривая гостей своими светящимися черными глазами, говорившими о его еврейском происхождении, и через пять минут около него собралась кучка зрителей, которым он начал показывать свои вещицы, забавляя в то же время фокусами.

— Господа! наичистейший брильянт! — громко кричал фокусник.— Большой величины! цена целковый!

К кучке присоединился и Генрих взглянуть на дешевый брильянт, который ярко мелькал перед глазами зрителей, сжатый между большим и указательным пальцем в искусно дрожавшей руке фокусника. Генрих вынул цел-

ковый и приобрел эту драгоценность, неизвестно для какой цели. В придачу фокусник показал ему одну из своих штук, кинув на воздух платок, который в ту же минуту исчез неизвестно куда.

— Небось и чужие платки у тебя так же пропадают! — спросил один из торговцев, стоявших в кучке.

— Можно! всякий платок можно! — отвечал с уверенностью фокусник, не поняв оскорбительного намека, отчего вокруг него тотчас раздался хохот.

Когда Генрих возвратился на свое место, со стола было всё собрано и доверенного уже не было за столом. В зале тоже его не оказалось. Генрих схватился шляпы — на месте лежала его фуражка. Генрих побледнел, но молчал, как бы боясь удостовериться в страшной догадке, мелькнувшей в уме его в эту минуту. Наконец он подозвал служителя и робко спросил:

— Куда ушел тот... тот, что вот тут сидел со мной?

— Ушли-с! — отвечал служитель.— Известно, расплатились и ушли! Что прикажете? — прибавил он, махнув полотенцем по столу и принимая новых гостей.

У Генриха подкосились ноги, и он едва дошел до буфета.

— Не знаете ли вы... вон того, что там со мной обедал? — спросил он у буфетчика, который, с засученными рукавами красной рубахи, гремел чайной посудой, расставляя ее на подносе.

— Чего-с? — крикнул он, продолжая делать свое дело.

Генрих тоскливо повторил вопрос.

— А кто его знает, батюшка!

И буфетчик махнул рукой.

— Да как же это? — проговорил Генрих и, постояв, вышел из трактира и отправился на постоялый двор, где остановился, осматривая дорогой всех с ног до головы.

На постоялом дворе он получил о доверенном ответы, еще менее удовлетворительные. Но это не могло увеличить его тоски, которая охватила его душу при первой догадке. «Зачем,— думал себе Генрих,— честному человеку вдруг уйти куда бы то ни было, не сказав ему ни слова, и притом уйти в шляпе с чужими деньгами». Однако ж он снова возвратился в трактир, где обедал, и снова услышал те же ответы от служителя и буфетчика, который, сверх того, заинтересованный убитым видом и дрожавшим голосом Генриха, спросил:

— Да вам на что его, батюшка?

— Как на что! — отвечал Генрих тихо, как человек, измученный горем.— Он ушел... в своей шляпе.

Буфетчик выпучил на него глаза в недоумении.

— То есть в вашей шляпе, хотели вы сказать? — заметил он, переглянувшись с товарищем, стоявшим за буфетом.

— Нет, в своей... да там были мои деньги... то есть не мои...

Генрих замолк, вздохнув.

— Много денег? — спросил буфетчик, снова переглянувшись с товарищем, вероятно сомневаясь, как, дескать, его деньги попали в чужую шляпу.

— Сорок тысяч,— проговорил Генрих машинально и пошел от буфета.

— Никак совсем рехнулся малый-то! — сказал буфетчик своему товарищу.— Слышь ты: сорок тысяч, говорит, в чужой шляпе!

— А бог его знает,— возразил тот, провожая глазами Генриха, который между тем выходил вон из трактира,— может, и впрямь так было.

— В шляпе! сорок тысяч! — повторил буфетчик в размышлении и, помолчав, прибавил: — Эк его угораздило!

Через час Генрих стоял в стороне от ярмарки на мосту небольшой речки. Опершись на перилы, он в каком-то окаменелом положении всматривался в черную неподвижную воду и не замечал проходивших мимо торговцев, которые весело и шумно расходились с ярмарки по своим временным квартирам.

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

Глава LVI

БОРЬБА

Потеря места управляющего была ощутительна Ивану Софронычу, любившему деревенскую жизнь и деятельность. Но он не ожидал гибельных последствий, которые повлекла она за собою.

Спустя несколько дней после ссоры Тавровского с управляющим к Ивану Софронычу явился господин, совершенно незнакомый, и просил уделить ему четверть часа времени.

— Позвольте узнать, с кем имею честь говорить? — спросил Понизовкин.

— Переваленко-Зацепа, Афанасий Кузьмич,— отвечал посетитель, низко кланяясь и сладко улыбаясь. Господин Переваленко-Зацепа был малоросс, средних лет, среднего роста и средней дородности. Его руки, ноги, голова, плечи, равно и черты лица, не отличались тонкостию отделки: всё было крупно и аляповато; за плечами торчал небольшой горб; на животе болталась сердоликовая печатка. Он ходил в длиннополом сюртуке и говорил на «о»; в левом ухе носил медную серьгу, или, лучше, обломок серьги, с которым никогда не расставался: он уверял, что так привык иметь в ухе серьгу, что даже дурно слышал, когда вынимал ее. В критические минуты он имел привычку дергать за нее, и она, казалось, служила ему источником вдохновения.

— Я к вашим услугам,— сказал ему Иван Софроныч.— Но какое дело вы можете иметь до меня?

— А вот: вы, батюшка, были управляющим у <господина> Тавровского в Софоновке?

— Так точно.

— В числе угодий приняли вы лесу строевого и дровяного семь тысяч пятьдесят десятин?

— Принял.

— Приняли? ну и будем помнить: приняли семь тысяч пятьдесят десятин лесу,— значительно произнес Переваленко-Зацепа и продолжал: — В ведомости вашей, ныне представленной владельцу, означено налицо: строевого лесу две тысячи шестьсот десятин, дровяного — четыре тысячи триста шестьдесят; а всего — шесть тысяч девятьсот шестьдесят десятин?

— Так,— отвечал Иван Софроныч.— Но я не понимаю, почему должен отвечать вам.

— Я новый управляющий господина Тавровского,— отвечал Зацепа с низким поклоном.— Извините, батюшка, может, что грубое сказал: я человек простой; но душа у меня добрая,— прибавил он скороговоркой, как бы в скобках, и продолжал прежним голосом: — Если угодно удостовериться, документец со мной.

Он отправился в свой карман и вручил Ивану Софронычу документ. Пока Иван Софроныч рассматривал доверенность, данную Тавровским новому управляющему, Зацепа говорил:

— Изволите усмотреть: мне поручено управление Софоновым и мне же вверено принять имение согласно описи, и в чем окажется недочет...

— Недочета ни в чем оказаться не может,— перебил Иван Софроныч.— Напротив, имение улучшено и доход увеличен.

— Не сомневаюсь. Но желаю знать — извините грубое слово, не умею говорить красно,— куда девалось девяносто десятин строевого лесу?

— Лес продан.

— Так-с. С разрешения владельца?

— Я имел нужду в наличных деньгах и нашел выгодным продать часть леса,— сказал Понизовкин.

— Так-с. Но в доверенности вашей было ли упомянуто о праве продавать что-либо?

— Нет-с. Но я имел словесное разрешение владельца действовать по своему усмотрению в некоторых случаях.

— Стало быть, мне необходимо узнать, подходит ли под сказанное разрешение продажа леса? — заметил новый управляющий.— И прекрасно, батюшка! Подходит, так и беспокоить вас больше не буду!

— Что же, если нет? — спросил с беспокойством Иван Софроныч.— Во всяком случае деньги не пропали: ими исправлена и улучшена фабрика, которая теперь в полном ходу...

— Всё так-с,— возразил Зацепа сладким голосом.— Исправление, улучшение — важное дело, но, сами изволите знать,— темное! Извините, я человек простой, говорить красно не умею. А девяносто десятин лесу видный был косячок! Надо правду сказать!

Понизовкин вспыхнул.

— Советую вам поговорить сначала с Павлом Сергеичем: он довольно знает, способен ли я к тому, в чем вы меня подозреваете! — возразил он запальчиво.— Я не привык слушать...

— Извините, извините,— перебил Зацепа, в лице которого мгновенно выразилось такое отчаяние, как будто он был на охоте и, целясь в бекаса, нечаянно подстрелил лучшего своего друга.— Извините! я вас, кажется, огорчил? Видит бог, без намерения!.. Эх! Афоня, Афоня! — продолжал он с упреком, обращаясь к самому себе.— Вечно ты наговоришь вздору! А всё простота! погубит она тебя когда-нибудь, и добрые люди скажут: «Погиб от собственной своей простоты!» (при последних словах даже слезы показались на его глазах, как будто он уж действительно погибал и слышал над своею головою горестный приговор добрых людей). Не поверите,— продолжал он, обращаясь к Ивану Софронычу и постепенно возвышая голос,— говорить не умею, льстить не умею, кланяться способности бог не дал, унижаться не мое дело, притворствовать, лицедействовать, клеветать мать и отец на смертном одре запретили! (При каждом периоде он делал паузу и загибал свой толстый и красный палец, как будто боясь пропустить которую-нибудь из своих добродетелей.) Так и мотаюсь по свету, и притом круглая сирота,— прибавил он жалобно, причем в глазах его снова показались слезы.— Даже сколько раз места лишался, в беду попадал — всё через свою простоту. Но честь свою сохранил и правды никогда ногами не попирал! — заключил он энергически.

Так как Иван Софроныч не обнаружил особенного участия к страданиям и рыцарской твердости господина Переваленко-Зацепы, то последний, окончив свой патетический монолог, очень скоро удалился, извиняясь, улыбаясь и кланяясь.

По уходе его Иван Софроныч погрузился в такое глубокое раздумье, что Настя долго не решалась заговорить с ним. Наконец она сказала, ласкаясь к нему:

— Батюшка, вы, кажется, встревожились. Но неужели вы думаете, что Павел Сергеич вступится в такие мелочи и станет преследовать вас?

— Эх, Настенька! молода еще ты! — возразил старик грустно.— Он, конечно, не станет; он, я думаю, даже и забыл, что мы с тобой существуем; но найдутся люди, которые, чтоб только угодить ему...

— Но кто же? — перебила Настя.— Мы никому ничего дурного не сделали. А господин Переваленко, кажется, такой добрый...

— Добрый? Эх, Настенька, Настенька! не знаешь ты людей,— возразил Иван Софроныч.— Бог простит, если я ошибаюсь; но мне кажется, что господин Переваленко мошенник первостепенный; не приведи господи никому попасть в его руки!

— Но почему же вы так думаете, батюшка? У него такое простое лицо, и он так откровенно говорил...

— Много людей встречал я в своей жизни,— наставительно сказал старик,— встречал и худых и добрых, и честных и ветреных. Всякие люди бывают; всякие маски они носят, всякие роли играют; редкий проживает в простоте, выходит в люди с таким лицом, какое дано ему богом, говорит, что по совести следует. Но не встречал я лживее того человека, который ходит в немецком платье, бороду бреет, а в манерах своих и в выговоре простым людям следует, говорит про свою честность и простоту, по-дружески с тобой обращается, то сударриком, то батюшкой зовет. Недоброе в уме у такого человека. Личину надел он и ею хоронит свои волчьи зубы да вороновы когти!

Старик умолк и погрузился в прежнее раздумье.

И действительно, грустное предчувствие его не обманывало. Явившись к Тавровскому, Переваленко-Зацепа начал так:

— Грешный человек, боялся я не угодить вам, кормилец-батюшка, и со страхом вступал в мою трудную должность. Но теперь я успокоился и вижу, что мы с тобой, кормилец, никогда не расстанемся!

Переваленко-Зацепа говорил иногда людям гораздо выше его стоящим «ты»; но он умел так говорить, что его «ты» выходило вежливее всякого «вы» и притом так шло

к нему, что, казалось, никакой другой образ выражения не мог быть ему доступен.

— Что такое? — улыбаясь, спросил Тавровский.

— Да сейчас был я у того... как бишь? у твоего прежнего управляющего. Уж коли ты с ним уживался, так и говорить нечего! Несговорчивый человек, упрямый человек, ехидный человек! — заключил Переваленко с негодованием.— И какие дерзости говорит, и о ком? о таких особах, которые и по рождению, и по уму, и по образованию самим перстом божиим отмечены, перед которыми мы — черви ничтожные, гады бессловесные — пресмыкаться в пыли и прахе должны и радоваться, что они пред светлые очи свои нас допускают! Недоволен, видишь, моим голубчиком...

— Ну, Афанасий Кузьмич,— перебил Тавровский, не желая выслушивать сплетню.— Бог с ним! немудрено, если в сердцах и лишнее сказал! все мы люди!

— И на небе,— сказал управляющий, подняв на Тавровского влажные глаза свои и потянув серьгу, отчего ухо его покраснело,— и на небе все звезды, да не все одинаково светят!

И он чмокнул Тавровского в плечо, прежде чем тот успел увернуться.

Тавровский с досадой сжал губы и нахмурился.

— В отчетах и ведомости прежнего управляющего находятся некоторые неисправности и неверности,— сказал Переваленко.— Как прикажете поступить?

— Поступить, как должно! — сухо отвечал Тавровский.

Господину Переваленке ничего более не было нужно. Он принялся действовать и вывел как дважды два четыре, что Иван Софроныч должен уплатить владельцу за самовольную порубку леса и некоторые важные упущения до девяти тысяч рублей. Когда это требование, которое Переваленко доказывал самою ведомостию Ивана Софроныча и его отчетами, было объявлено Понизовкину, старик ужаснулся. Он решился писать к Тавровскому, прося его защиты и призывая его в свидетели своей честности. Ответ Тавровского был холоден и короток. «Вы знаете,— писал он,— как мало я сам занимаюсь своими делами; я никогда не понимал их и никогда не пойму. После вас я передал мои дела другому управляющему, честнейшему человеку, который, я уверен, сделает всё к обоюдному удовольствию».

Понизовкин увидел неминуемую гибель. Привыкнув почитать честь главною основой всякого дела, несчастный старик не соблюл некоторых формальностей как при вступлении в управление имением, так и при сдаче отчетов и оброчной суммы. Он даже не взял с Тавровского расписки в получении последней и не имел удостоверения, что Тавровский признал счеты его и распоряжения верными. Выпутаться не было никаких средств. Переваленко дал ему месяц сроку и грозил в случае неуплаты взыскать деньги судебным порядком.

Трудно описать горестное положение, в котором находился Понизовкин. Он видел необходимость расстаться с дочерью, оставить ее одну, без друга и защитника, оставить в нищете, на жертву горю и соблазну,— и оставить затем, чтоб идти в тюрьму!

Целые дни лежал Иван Софроныч, покашливая и покряхивая, и всё думал тяжелую думу; он проводил ночи без сна, занятый теми же мыслями. Настя также не могла спать и слышала, как он иногда вслух рассуждал сам с собою, взывал к богу, прося твердости перенесть тяжелое испытание, не поддаться искушению,— вспоминал Алексея Алексеича. В нем очевидно происходила борьба; слова: долг, клятва, беспрестанно повторяемые, смешивались с именами людей, которых Настя не знала, даже не помнила, чтоб отец когда-нибудь говорил, что знает их. Насте случалось также нередко слышать собственное свое имя, сопровождаемое рыданиями. К утру старик засыпал тревожным сном, и те же несвязные слова, те же имена повторяли его бледные губы, когда Настя, нагнувшись над ним, плакала и крестила его. Периоды, когда глухая и неведомая борьба в старике сменялась решимостью, были самые спокойные в их страдальческой жизни. Старик ласкал свою дочь и говорил тогда:

— Успокойся, Настя! да будет воля божия! Если господь желает попустить, чтоб злодеи наши торжествовали, я пойду в тюрьму! Но я буду и там бодр и весел, лишь бы знать, что дочь моя честная девушка, что я не запятнал своей чести низким поступком, обманом, клятвопреступл...— Старик вдруг останавливался, как будто чувствуя, что сказал лишнее, и продолжал:— Ты будешь приходить ко мне с работой, будешь сидеть со мной целые дни. Что, разве худо, дурочка? — прибавлял он, силясь улыбнуться.— Всё равно будем жить, как и теперь: только и разницы, что помещение буду иметь даровое!

Оттого ли, что шутка плохо удавалась доброму старику, или Настя не видела ничего утешительного в перспективе, которую рисовал он,— только она еще пуще начинала плакать. Слезы ее раздирали сердце отца. Если б не дочь, можно утвердительно сказать, что он безропотно покорился бы испытанию, посылаемому провидением, и спокойно пошел в тюрьму. Но рыдания Насти снова воздвигали в сердце его борьбу и бурю, едва стихавшую при страшных усилиях воли.

— Господи! я не могу видеть, как плачет и сокрушается родное мое детище, и оставаться глухим и слепым!— восклицал старик в отчаянии.— Испытание выше сил моих. Не мне, о господи, вынести его!

Он разрешался последним страшным рыданием, и вдруг слезы его высыхали,— в лице появлялись признаки мрачной решимости, не той, которою озарялись черты его, когда говорил он о необходимости покориться провидению,— он будил быстрым прикосновением дочь свою, впавшую в забытье отчаяния, и говорил с уверенностию и энергией:

— Настя, Настенька! опомнись, не плачь! Я не пойду в тюрьму, я останусь с тобой; мы будем жить по-старому!

— Как? — говорила Настя.— Но чем же вы заплатите ему?

— Заплачу́, заплачу́! Если я говорю, так верь! — сурово говорил старик.— Разве ты видела, чтоб я когда-нибудь обманывал?

— Никогда,— отвечала Настя.

— Никогда! — грустно повторял Иван Софроныч.— Счастлив, о ком и в последний час его скажут: никогда!

Он глубоко вздыхал и поникал головой.

Настя, привыкшая верить отцу, становилась веселей; веселость дочери сообщалась и отцу; они вместе строили планы своей будущей жизни; старик располагал искать снова места управляющего; Настя с живостью предавалась мечтам о деревне и деревенской природе, среди которой выросла. Так проходило несколько часов. Но понемногу лицо Понизовкина начинало омрачаться, брови сдвигались, Настя уже не смела с прежнею свободою передавать ему свои мечты и постепенно стихала. Опять водворялось прежнее тяжелое молчание; проходил час, и уже оба они боялись нарушить его. Ночью Настя слышала те же стоны отца, те же молитвы, отчаяние, тяжкие вздохи. Он призывал тень умершего друга и благодетеля своего, произ-

носил те же, неведомые Насте, имена и, рыдая, поручал себя и дочь свою попечению божию! Наутро он вставал бледный, с опухшими глазами, и Настя снова была свидетельницею мучительной борьбы, которой не понимала, но которая ясно отражалась в страдальческих чертах старика. Он то утешал ее надеждою, то молил вооружиться силою и твердостью, молил подкрепить и его, изнемогшего под бременем лет и несчастий. Настя рыдала; старик сам не выдерживал и также присоединял свои рыдания. Так проходили дни, полные борьбы и страдания.

Наконец настал роковой день. Отец и дочь, не смыкавшие глаз, рано встали. Они долго и горячо молились. Иван Софроныч простился с дочерью, поцеловал ее, благословил и сказал торжественным голосом:

— Забудь, Настя, что говорил я в порывах малодушия и отчаяния! Нам нет надежды; будем же тверды. Кто честно жил, тот должен честно и кончить век свой, какие бы испытания ни посылал ему бог! Он лучше нас знает, что делает, и не нам противиться его святой воле! В тебе одной мое утешение, моя радость, моя гордость, моя жизнь! Но есть голос в душе человека, громче самого голоса крови и отцовской любви, и благо тому, кто до последней минуты внимал святому голосу долга и чести и шел по призыву его, куда бы ни лежал путь! И я пойду по пути моему, хотя бы и голод, и жажда, и тысячи смертей угрожали мне,— пойду, благословляя имя пославшего мне тяжкий крест испытания! Но я слаб, я болен и стар: помоги же мне, дочь моя, не плачь, будь тверда и помни, что каждая слеза, которую ты подавишь в груди своей, поможет отцу твоему легче вынести жертву, к которой призывают его долг и клятва!

Настя собрала последние силы и твердо вынесла сцену осмотра и описи их небольшого имущества, назначенного к продаже с аукциона. Старик во всё продолжение тяжелой сцены был нем как могила. Но когда объявлено было, что Иван Софроныч должен идти в долговое отделение тюрьмы, несчастная девушка не выдержала: рыдая, бросилась она к ногам Переваленко-Зацепы и страшными, раздирающими воплями умоляла его пощадить отца.

— Настя, Настя! — голосом, полным кроткого упрека, говорил Иван Софроныч, и по угрюмому лицу его вдруг обильно потекли слезы.— Господи! — воскликнул он торжественно, воздев руки кверху.— Слабы силы мои пред испытанием, посланным тобою! Не мне, о господи, выне-

сти его! Верю в неисчерпаемую благость твою и ныне взываю к ней: господи! разреши клятву, сковывающую руки и ноги,— и да будет воля твоя!

Он замолк на минуту и, подняв дочь свою, рыдавшую у ног Переваленко, сказал голосом грустного убеждения:

— Настя, не плачь! я не пойду, я остаюсь с тобой!

И он быстро вышел в другую комнату.

Настя в отчаянии снова упала к ногам Переваленки.

— Что сделал вам отец мой? — говорила она.— За что вы его преследуете? Он ни в чем не виноват!

— Если он не виноват, пусть жалуется,— возражал Переваленко с обычным своим красноречием и плавностию.— Его будут судить, и, если окажется...

— Меня будет судить бог! — воскликнул Иван Софроныч, появляясь в дверях.— Вот деньги, которые вы требуете: возьмите их и оставьте нас!

И он подал Переваленке ломбардный билет. Все были поражены, как громом. Любопытные со всего дома, столпившиеся в дверях квартиры, испустили крик радости.

— Позвольте,— недоверчиво сказал Переваленко, принимая билет.— Надо еще посмотреть.

Он снял свои серебряные очки, протер их клетчатым платком, надел снова и начал рассматривать билет. Билет был очень старый: лет двадцать пять или больше была положена неизвестным небольшая сумма, которая теперь с накопившимися процентами составляла ровно сумму, взыскиваемую с Ивана Софроныча.

Удостоверившись в подлинности билета, Переваленко сделал недовольную гримасу. Он знал неудовольствие, вследствие которого Тавровский расстался с своим управляющим, и единственная цель, с которою он начал процесс, состояла в том, чтоб в одно прекрасное утро доложить Тавровскому, между прочим, что прежний управляющий его содержится в тюрьме: хитрый малоросс думал угодить тем своему господину.

Но делать было нечего; он принял билет, расписался в получении и ушел с своими товарищами.

Настя бросилась в объятия отца. Зрители разошлись, довольные развязкой драмы. Только один молодой человек, бывший в числе их, заметил другому:

— Какой, однако ж, жадный старик! до последней минуты не хотел расстаться с деньгами. А я знал, что деньги у него есть.

— Да откуда? — спросил другой.

— Он выиграл триста пятьдесят тысяч,— отвечал первый,— я сам слышал, как он говорил дочери!

— Неужели? Слышите, слышите! — воскликнул второй, обращаясь к расходившейся компании.— Да у него, говорят, есть триста пятьдесят тысяч!

— Как? что такое? откуда? Не может быть! Триста пятьдесят тысяч!

И через несколько минут весь дом толковал об Иване Софроныче, называя его страшным богачом и отчаянным скрягой.

Глава LVII

СВИДАНИЕ

Часу во втором утра по Невскому проспекту ехала прекрасная коляска, обратившая общее внимание идущих и едущих странною противоположностию двух лиц, сидевших в ней. Рядом с молодым человеком, щегольски одетым, сидела худая сгорбленная старушонка в белом чепце с фалбалой и в черном ветхом салопе. Наружность старухи тоже нисколько не гармонировала с тонкими и привлекательными чертами молодого человека. Пока любопытные прохожие старались разгадать причину такого странного товарищества, в коляске происходил следующий разговор:

— Где же ваша квартира?

— Ох, батюшка, кормилец мой, далеко. Куда вам забиваться в такую глушь. Я и так доплетусь.

— Ничего. Вы мне скажите, куда вас везти.

— В Измайловский полк, касатик.

— А улица?

— В Девятую роту, батюшка, в Девятую; дом Ерофеева... О-о-ох!

Старуха жалобно простонала.

— Что, болит? — спросил молодой человек.

— Ох, болит, батюшка! И как же болит. Чтоб ему, окаянному, ни дна ни покрышки! — прибавила старуха с негодованием.

— Негодяй! — сказал молодой человек.— Жаль, что его не поймали!

— Ускакал, ускакал проклятый! — с соболезнованием, качая головой, говорила старуха.

Между тем коляска быстро проехала людные улицы и поворотила в бедную часть города; домики здесь были низенькие и малые, казавшиеся еще менее, при невероятной ширине улиц, которые не были вымощены; посреди их протекали лужи, в которых плескались утки. Колесо вязло в грязи по ступицу.

— Вот и Девятая рота. Стой, стой, голубчик! — крикнула старуха кучеру.— О-о-ох! да как же я выйду, горемычная! — прибавила она, когда коляска остановилась у ворот деревянного дома.

— Я вам пособлю.

— Ни-ни-ни, батюшка! и так, чай, надоело возиться со старухой!

— Ничего.

Молодой человек осторожно высадил ее и спросил:

— Ну, куда же?

— А вон, батюшка, видишь?

И она указала ему небольшой флигель в глубине двора, вросший, казалось, в землю; ибо никак нельзя было предполагать, чтоб его строили таким низеньким. Окна в нем были маленькие, уставленные еранью.

Молодой человек подвел к нему старуху, которая сильно хромала:

— Вы одни живете?

— Нет, батюшка, куда одной такую квартиру нанимать! — отвечала старуха.— Ольга Михайловна! — крикнула она, увидав в окне женскую фигуру.

Показалась полная и довольно красивая женщина лет сорока в распашном белом капоте.

— Ахти, господи! Маремьяна Степановна! да вы, никак, хромаете? — воскликнула она с испугом.

— А захромаешь, как переедут! — отвечала старуха.— Моли бога, что еще жива осталась! Стала я переходить Невский, и наскочи озорник какой-то — повалил! а сам и был таков — ускакал! Да вот спасибо еще доброму барину.

— Я поднял ее без чувств,— сказал молодой человек.— Помогите мне ввести ее в комнату; ей надобно подать помощь.

Они вошли в небольшую комнату, бедную и неопрятную, в которой помещалось несколько женщин и детей. Вид нищеты неприятно поразил молодого человека.

Девочка лет одиннадцати кинулась с испугом к старухе.

— Вот моя дочка! — сказала старуха молодому человеку.

— Положите ее, а я пришлю доктора,— сказал он.— Вот на лекарство.

Он подал старухе довольно крупную ассигнацию; старуха не верила своим глазам.

— Кормилец мой! чем я заслужила? — воскликнула она и хотела повалиться ему в ноги.

Дверь соседней комнаты тихо скрыпнула, и оттуда выглянула курчавая голова.

— Ничего, старуха. Я богат. Приходи, когда выздоровеешь: получишь еще. Ты очень бедна?

— Бедна, батюшка, ахти как бедна! Только и есть, что добрые господа пожалуют: тем и кормимся с дочерью. Да вот у нас жилец.

Дверь соседней комнаты поспешно затворилась, и курчавая голова исчезла.

— Так приходи ко мне: я прикажу выдавать тебе пенсион — десять рублей серебром в месяц.

Все бывшие в комнате ахнули!

Дверь снова скрыпнула, и голова показалась.

— Батюшка! кормилец! благодетель! — воскликнула старуха.— Целуй ручку! целуй ручку! — шептала она в то же время дочери, толкая ее к щедрому посетителю.

— Вот подлинно: не знаешь, где найдешь, где потеряешь! — шепнула одна из бывших тут попрошаек той, которую звали Ольгой Михайловной.

— Счастье, подлинно счастье! — отвечала последняя.

— Вот уж другой пример на моем веку,— продолжала попрошайка.— Третьего года на моих глазах Терентьич под карету попал... Шли вместе; что бы мне угодить? так нет! Терентьич как тут был, и через то на всю жизнь счастлив стал: пенсион положили. А мне вот нет и нет счастья!

Попрошайка глубоко вздохнула.

До слуха посетителя достигли частию слова попрошайки, и сердце его болезненно сжалось. Он спешил уйти, повторив хромой старухе:

— Приходите же ко мне.

— Да как же найти тебя кормилец? — спросила старуха.

— Ах, в самом деле! мне надо оставить вам мой адрес. Нет ли карандаша или пера?

Женщины закопошились. Стали шарить. Ни того, ни другого не оказалось.

— Да вот у жильца,— сказала Ольга Михайловна.— Пожалуйте!

— Лучше вынесите сюда. Я его обеспокою...

— Ничего,— возразила она и отворила дверь в комнату жильца.— Пожалуйте!

Посетитель вошел. Первый предмет, поразивший его глаза, был молодой человек, которого лицо показалось ему знакомым.

— Гриша! — воскликнул он, стараясь рассмотреть лицо молодого человека, который поспешно отвернулся.— Гриша!

Видя, что нет возможности скрыться, молодой человек повернулся к посетителю и сказал:

— Павел Сергеич!

Затем с минуту они ничего не говорили. Тавровский рассматривал с любопытством комнату Гриши: она была бедна; мебели в ней было только: кровать, стол и стул. На окне стоял чайник, крышка которого была опрокинута; в ней лежало немного чаю; подле, на синей бумаге, несколько кусков сахару; тут же табачная зола и сапожная щетка. Один палец Гриши был весь в чернилах, и неподалеку лежал сапог, от которого висела к полу белая нитка с иголкой; только глаз, приученный к картинам бедности, мог разгадать соотношение пальца, вымаранного в чернилах, с этим сапогом. Гриша за минуту зашивал свой сапог и закрашивал белые швы чернилами. Покуда Тавровский делал быстрый обзор комнаты, Гриша стоял в смущении, с поникшей головой.

Тавровский быстро затворил дверь и обратился к Грише:

— Скажи, пожалуйста, какие причины заставляют тебя жить так, когда у тебя есть тетка, издерживающая десятки тысяч на содержание людей, совершенно ей посторонних? Когда, наконец, у тебя есть родственники, которые, ты знаешь...

— Слишком долго рассказывать,— перебил его Гриша,— да и бесполезно.

— Я понимаю,— продолжал Тавровский,— что у тебя могли быть неприятности с тетушкой; с ней мудрено ужиться; но что же я сделал против тебя? Гриша! — прибавил он с чувством.— Неужели ты не веришь, что я готов сделать для тебя всё, что я тебя люблю, что помочь тебе будет для меня счастием...

— Я никогда не сомневался в этом,— сказал Гриша.

— Ты говоришь: не сомневался, а между тем даже не побывал у меня; с той самой поры, как я воротился из деревни, я даже не знал, где ты находишься. И тебе не хотелось увидеть меня? Или ты не любишь меня, Гриша, и ни во что считаешь мою дружбу...

— Я очень верю,— сказал Гриша и остановился: его затрудняла фамильярность Тавровского, тогда как он сам чувствовал непобедимую неловкость отвечать ему прежним тоном товарищества.— Я очень верю тебе и твоей дружбе,— наконец сказал он с усилием.— Но наши дороги слишком различны в жизни, и лучше будет оставить всё, как оно есть...

— Но отчего же? — возразил Тавровский.— А наконец, если ты горд, так горд, что считаешь обидным пользоваться помощию даже своего друга и родственника, то всё же нет надобности терпеть такую нужду, какую ты терпишь: у тебя есть собственный капитал...

В лице Гриши выразилось болезненное чувство. Заметив его, Тавровский сказал:

— Если тебе тяжело самому говорить с тетушкой, поручи мне: я вытребую...

Гриша махнул рукой.

— Лучше оставить всему идти своим чередом! — сказал он с отчаянием.

— Да что с тобой, Гриша? Какие ты вещи говоришь? Что за охлаждение к жизни в двадцать лет? Что за отчаяние? Ты болен, ты в хандре, у тебя кровь застоялась. Тебе нужны балы, карты, музыка, освещение; пей, повесничай... попробуй взять приз на скачках, влюбись в актрису... Или ты всё еще влюблен в свою Настю? — спросил вдруг Тавровский, нечаянно вспомнив старую страсть своего родственника.

При имени Насти лицо Гриши слегка изменилось; но он ничего не отвечал.

— А если и так, то чего же зевать? Сидя здесь, в четырех стенах, в таком соседстве, ровно ничего не высидишь. Они могут,— прибавил Тавровский, вспомнив сальные карты, которые видел у старух,— пожалуй, предсказать и богатство, и счастье, и успех у червонной дамы или у какой угодно, а действительный успех всё-таки не так добывается. Я согласен, Настя стоит, чтоб по ней с ума сойти... по-моему, впрочем, не более как на неделю,— оговорился он.— Я сам недавно ее видел и признаюсь...

— Ты ее видел недавно? — с живостью спросил Гриша, лицо которого вдруг вспыхнуло.— Разве она здесь?

— Здесь,— отвечал Тавровский.

— Одна? с отцом? отец жив? — быстро спрашивал Гриша.

— Жив.

— Что они, как живут? старик здоров?

— Здоров; я их видел, признаться, мельком,— неохотно отвечал Тавровский и переменил разговор.

Он доказывал Грише, что такой образ жизни никуда не годится, и вызывался помочь ему в чем угодно и сколько угодно. Гриша не слушал его, занятый мыслию о Насте, и машинально дал ему слово быть у него, которого Тавровский непременно требовал.

Оставшись один, Гриша принялся скорыми шагами ходить по комнате.

Гриша был человек с необыкновенной энергией и замечательным характером. Услышав роковое решение Понизовкина, что дочь его никогда не будет принадлежать родственнику Натальи Кирилловны, Гриша составил следующий план. «Старика оскорбил не я,— думал он,— его оскорбила тетушка подозрением в умысле поймать в свои сети зятя, которому она оставит состояние. Это единственная причина, почему он объявил, что дочь его никогда не будет моею женою. Лично же против меня он не может иметь ничего и не имеет. Потом он горячо любит Настю, а Настя любит меня. Стало быть, если я сам проложу себе дорогу в жизни, приобрету положение в свете, средства к существованию *без помощи протекции и денег тетушки,* с которою даже прерву всякие сношения, то старик уже не будет иметь причины противиться нашему счастию». На основании такого рассуждения Гриша даже был рад, когда тетушка выгнала его из дому и он очутился лицом к лицу с бедностию и неизбежной перспективой труда и лишений; он так был тверд в своем намерении, что даже не хотел пользоваться помощью и других своих родственников; таким образом случилось, что Гриша не побывал ни разу даже у Тавровского. Скоро, однако ж, он увидел, что проложить дорогу в жизни собственными усилиями не так легко, как думалось ему прежде. Но он твердо шел к своей цели.

Гриша помнил свое обещание, данное старику, не искать случаев видеться с его дочерью и с юношеской верой в неизменность своей любезной решился держать

слово, пока не будет вправе нарушить его,— но, узнав, что Настя в Петербурге, он не мог устоять против желания увидеть ее. В тот же день вечером отправился он в квартиру Тавровского, вызвал потихоньку Петра и узнал адрес Насти.

С того вечера начались его беспрестанные прогулки мимо дома, в котором жил Понизовкин. Но он делал их так осторожно, что даже Настя долго не замечала его, хотя ему не раз удавалось видеть ее в окне. Случая поговорить с Настей, однако ж, не представлялось. Гриша не мог и думать о дерзком покушении войти к Насте в отсутствие Ивана Софроныча. Настя же никогда не выходила со двора одна. Гриша замечал, что Иван Софроныч постоянно печален, что походка его всегда озабоченна и лицо бледно; он также видел, что Настя частенько подносила платок к глазам; нетерпение узнать причину их горя мучило юношу. Счастлив был тот день в его жизни, в который Настя наконец заметила его. Это было под вечер. Иван Софроныч, как всегда грустный, вышел со двора. Настя открыла окно и печальным взором провожала отца. Уже готовая закрыть окно, она случайно взглянула на противоположную сторону улицы. Как изменилось в одну минуту лицо Насти! как испугалась и вместе обрадовалась она! Гриша понял, что дело его еще не проиграно: в первом движении, в первом, еще безотчетном, взгляде Насти увидел он столько любви, столько радости! Они обменялись долгим взглядом; потом Настя быстро захлопнула окно, сделав отрицательное движение рукой, и Гриша в тот вечер уже не дождался ее вторичного появления. На другой день Гриша приготовил письмо, описал в нем свои планы и то, каким образом надеется переменить решение Ивана Софроныча, уверял ее в своей любви и умолял доставить ему случай говорить с ней хоть одну минуту. «Мне теперь нужно много твердости, и одно твое слово, что ты любишь меня, что ты будешь ждать и надеяться,— придаст мне силы»,— так заключил Гриша свое послание, приложив к нему адрес свой, хоть и не смел надеяться ответа. Не скоро представился случай вручить его по адресу. Наконец однажды, когда Иван Софроныч ушел со двора, а Настя сидела у окна, Гриша собрался с духом; он перешел улицу; поравнявшись с окном, бросил Насте записку и быстро прошел мимо.

Настя прочла письмо и, закрывая окно, сказала одно слово, которое поразило бедного Гришу в самое сердце:

— Невозможно!

Прошло несколько дней. Гриша уже терял всякую надежду говорить с Настей; каждый день решался он прекратить свои прогулки и каждый день в последний раз приходил к знакомому дому. Однажды вечером, продежурив около него несколько часов, он уже хотел идти домой, как вдруг Настя, в своем черном бурнусе и соломенной шляпке, показалась в воротах.

Сильно забилось сердце Гриши, когда он уверился, что Настя одна. Не заметив его, девушка быстро пошла по тротуару. Она была видимо озабочена.

— Настя! — тихо сказал Гриша, следуя за ней.

Настя не оглянулась, но сделала такое движение, что Гриша убедился, что она узнала его голос.

Через минуту Гриша повторил свое восклицание. Настя опять не оглянулась и не отвечала.

— Вы узнали меня? Вы сердитесь? Скажите одно слово! Вы прикажете мне уйти? — такими вопросами осыпал Гриша Настю.

Она молчала.

— Скажите мне ответ. Я вам писал...

— Скажу,— произнесла Настя, не останавливаясь,— если вы обещаете тотчас уйти, ничего не говорить и больше не приходить к нашим окнам.

— Обещаю, всё обещаю! — воскликнул Гриша.

— Тише!

Настя переждала нескольких пешеходов, шедших им навстречу, и потом с большими паузами сказала, не оборачиваясь и продолжая быстро идти:

— Я вас люблю — я никого больше не буду любить — буду всегда вас любить — вы хорошо придумали обойтись без тетушки — не пишите больше. Идите!

Едва Настя произнесла последнее слово, как Гриша уже бежал в противную сторону с такою быстротою, как будто услышал смертный свой приговор, которого мог избегнуть только с помощью быстроты своих ног. И только прибежав домой, он пожалел, что так строго послушался приказания девушки. «Если она меня любит, она, верно, не рассердилась бы»,— думал он. Ничего не может быть послушнее человека влюбленного, если он молод, любит в первый раз и любовь его искренна...

Глава LVIII

КОЛОМЕНСКИЙ КРЕЗ

Может быть, в другое время Настя не так была бы довольна покорностию своего любезного; но в тот вечер Ивана Софроныча колотил озноб; Настя торопилась в аптеку купить малины, чтоб поскорей напоить старика и уложить. Она боялась, чтоб он не расхворался. К счастию, меры, принятые ею, удались: старик спал хорошо и проснулся здоровехонек,— так по крайней мере он уверял свою дочь.

В последнее время — именно со дня известной катастрофы — Иван Софроныч много изменился: тайная и тягостная забота видимо подавляла его ум и отражалась в его лице, постоянно грустном и болезненном. Остатки волос его, казалось, еще более поседели; глаза ввалились; голос лишился прежней силы и уверенности, в которой так много было достоинства. Казалось, в несколько дней он постарел десятью годами. Он сделался молчалив, редко шутил с Настей и еще реже говорил с ней о своих планах спокойной жизни, которые они прежде вместе строили. Настя заметила также, что старик сделался необыкновенно скуп, чего прежде за ним вовсе не замечала; он считал каждую копейку и поговаривал о перемене квартиры: теперешняя казалась ему дорога.

Часу в двенадцатом утра, когда Иван Софроныч читал, а Настя работала, у двери их вдруг раздался звонок. Вошел молодой человек и робким голосом попросил у Ивана Софроныча позволения поговорить с ним полчаса. Настя вышла в другую комнату.

Молодой человек имел довольно приятную наружность и находился очевидно в сильном волнении. Когда они остались одни и Иван Софроныч спросил его, что ему угодно, молодой человек сильно смутился и несколько минут молчал.

— Мой поступок безрассуден,— наконец сказал он нетвердым голосом.— Но я слышал, что вы добры. Вы сами были молоды; может быть, с вами тоже случались несчастия, и вы по крайней мере не перетолкуете моей просьбы в дурную сторону.

— Просьбы? — спросил Иван Софроныч.— Но чем же я могу вам услужить?

— О, можете! — перебил с уверенностию молодой человек.— Можете, но только захотите ли?

— Если будет возможно,— сказал старик, которому понравилось лицо молодого человека.— Но потрудитесь сесть; вы, кажется, очень встревожены.

— Да, я не спал с неделю, и если б вы знали, как я провел ее! Не дай бог никому испытать такого несчастья!

В глазах молодого человека показались слезы.

— Но что же такое случилось с вами? — спросил старик.

— Я вам расскажу всё,— отвечал молодой человек,— потому что на вас моя единственная надежда. Если вы не войдете в мое положение, если мне не помогут, не дадут средства спасти мое честное имя, мою будущность и будущность существа, которое мне дороже жизни... о, я не знаю, что с собой сделаю!

И он в отчаянии обхватил свою голову руками и несколько минут молчал.

— Вам странно,— наконец сказал он, собираясь с силами,— вам смешно, может быть, что к вам, человеку совершенно незнакомому, пришел я изливать свое горе, просить помощи. Но я сирота; я никогда не знал отца, я лишился матери, когда еще едва начинал ходить... о, я самое несчастное существо в свете!

Понизовкин почувствовал глубокое сожаление к бедному молодому человеку. В то же время любопытство его было сильно возбуждено, и он спросил:

— Но какое же несчастие случилось с вами? кто вы? чем занимаетесь?

— Меня призрел из сострадания человек посторонний, который заменил мне отца. Трудом, бережливостию, покорностию старался я отплатить ему за его благодеяние; наконец я приобрел его доверенность; он вверился мне, как родному сыну... И я обманул его ожидания! Видит бог, я ни в чем не виноват,— продолжал молодой человек после минутного молчания.— Но поверит ли он? И не всё ли равно? Он сам обременен семейством; всё, что имеет он, нажито неусыпным трудом, бережливостью, многими пожертвованиями... И вдруг такая потеря! Нет, нет! я не могу отплатить ему такою черною неблагодарностию!

— Но кто же был причиною вашего несчастия?

— Кто? — сказал молодой человек.— Кто? я сам не знаю!

— Странно! — заметил Понизовкин, которого недоумение возрастало с каждым словом молодого человека.— Но в чем же состоит ваше несчастие?

— После многих лет труда, лишений, терпения и совершенной безнадежности в будущем мне вдруг улыбнулось счастье,— отвечал молодой человек.— Благодетель мой дал мне важное поручение: оно должно было быть пробой моего усердия, моей преданности к нему, моих способностей. Исполнив его хорошо, я мог надеяться получить у него хорошее место, хорошее жалованье, упрочить свое положение и улучшить судьбу бедной девушки, которая еще несчастнее меня и которую я люблю!

— Но что же помешало вам?

— Деньги, которые я должен был передать одному купцу, по поручению моего благодетеля,— с отчаяньем отвечал молодой человек,— эти деньги...

— Вы проиграли их?

— Нет, их у меня украли!

Он замолчал и закрыл руками свое лицо. Несколько минут продолжалось молчание.

— Очень, очень жалею вас,— сказал наконец Иван Софроныч,— но кроме дружеского участия и сожаления... что же еще могу я сделать для вас?

— О, можете! — воскликнул молодой человек.— Но захотите ли?

Иван Софроныч был так тронут его горестию, что обещал сделать всё, что будет в состоянии. И обещание его было искренно.

— И вы не шутите?

— Я никогда не шучу такими вещами, молодой человек,— строго отвечал старик.

Лицо молодого человека просияло.

— Но ведь сумма довольно большая,— сказал он.— Сорок тысяч!

— У вас украли сорок тысяч? Очень, очень жаль,— сказал старик, качая головой.

— О, если вы дадите мне средство возвратить их моему благодетелю, моя карьера, моя честь будут спасены!

В лице Ивана Софроныча выразилось величайшее удивление.

— Так вы их просите у меня? — спросил он.

— Да, и клянусь вам, возвращу в несколько лет! — с жаром отвечал молодой человек.— А благодарность моя...

Иван Софроныч невольно посторонился: ему пришла мысль, что перед ним стоит сумасшедший. Он молчал.

— Так вы согласны?

— Да помилуйте! — сказал старик.— Если б я и хотел, то каким же образом я могу дать вам сорок тысяч, когда у самого нет...

— У вас их нет? — недоверчиво спросил молодой человек.

— Нет.

Лицо молодого человека снова помрачилось.

— Последняя надежда пропала! — сказал он плачущим голосом.— И вы не хотите помочь несчастному? Но вы сами дали слово...

— Я дал слово сделать, что могу; но денег у меня нет.

— Нет? — повторил молодой человек иронически.— Полноте! Или вы боитесь потерять их? клянусь вам, они не пропадут. Я беден, но я могу и умею трудиться. Я вам дам документы...

Иван Софроныч уже решительно убедился, что имеет дело с помешанным, и думал только о том, как бы поскорее выпроводить своего гостя.

— Охота вам, почтеннейший,— сказал он, переменив тон,— тратить время, прося денег у человека, который сам едва перебивается, тогда как есть столько богачей, которые, может быть, и сжалились бы...

— Вы еще смеетесь надо мною? — возразил молодой человек таким болезненно-грустным голосом, что сердце сжалось в груди доброго старика. Он усомнился в своем предположении.— Я не имею никакого права на ваши деньги,— продолжал молодой человек,— к чему же напрасная ложь? Вы уже стары, и не лучше ли прямо и решительно сказать, что не хотите помочь...

— Уверяю вас,— отвечал Иван Софроныч,— вы внушили мне такое сострадание, что я, может быть, и дал бы вам эту сумму, если б имел; но я не имею.

— У вас есть больше,— возразил молодой человек с полным убеждением.— Я знаю наверное.

— Но откуда же вы знаете? кто вам сказал такую нелепость?

— Нелепость! — иронически повторил гость.— Если хотите, я вам скажу, как я узнал: рядом с вами живет мой приятель, такой же бедняк, как и я; он однажды не спал ночь, занимаясь перепиской, и слышал собственными

ушами, как вы, возвратясь домой, сказали своей дочери, что выиграли триста пятьдесят тысяч!

— А, так вот что! — произнес Иван Софроныч.

— И не один Гарелин,— продолжал гость,— весь ваш дом, вся Коломна говорит теперь, что у вас огромный капитал. Болтуны, разумеется, преувеличивают: утверждают, что вы миллионер; но Гарелин знает истину...

— Боже мой! Боже мой! — повторял Иван Софроныч, качая головой.— Какое заблуждение!

Теперь только он начал понимать, почему с некоторого времени и дворник, и хозяйка, и жильцы оказывали к нему глубочайшее почтение, низко кланялись при встрече, умильно глядели и предлагали свои услуги.

— У меня нет никого ближе Гарелина,— продолжал гость.— Когда случилось со мной несчастие, я приехал прямо к нему и рассказал всё. Оставалось еще десять дней, которые я мог не являться к своему хозяину, не опасаясь возбудить подозрения, и мы решились употребить их на то, чтоб приискать деньги. Три дня мы бегали и хлопотали, наконец потеряли всякую надежду; тогда Гарелин рассказал, что рядом с ним живет человек, который имеет огромный капитал, и мне пришла глупая мысль попросить у вас... Но теперь я вижу, как она была безумна...

— Понимаю, всё понимаю! — сказал печально старик.— Да, я точно выиграл триста пятьдесят тысяч. Но, уверяю вас, молодой человек, выиграл другому...

Читатель знает, что Понизовкин говорил правду; но молодой человек не верил. Он всё еще не желал расстаться с надеждою получить деньги и продолжал умолять.

— О, помогите, помогите мне! — говорил он в отчаянии, упав к ногам Ивана Софроныча.— Куда бережете вы свои деньги? Вам достались они так легко, вам послало их счастье,— и вы не хотите отделить ничтожной суммы, чтоб спасти погибающего человека! О, помогите! Спасите мою честь, мою карьеру, мою будущность, спасите девушку, которую я люблю! О, если б я мог представить вам надежные доказательства, что деньги будут возвращены,— знаю, вы тогда не отказали бы! Но я не имею никаких драгоценностей, я не имею ничего, кроме маленького портфеля, который...— молодой человек достал с груди своей небольшой портфель и с жаром поцеловал его,— который для меня дороже всех драгоценностей, потому что в нем хранятся волосы и медальон моей матери, письма отца... Но какую цену он может иметь в ваших

глазах?.. О, клянусь вам — этими единственными памятниками, оставшимися после моих родителей,— я возвращу деньги! клянусь вам моей матушкой, памятью моего отца, честного воина...

— Ваш отец был военный? — перебил его Иван Софроныч, которого участие к молодому человеку при этом известии удвоилось.

— Я никогда не знал его, даже не видал; мать говорила, что он умер, когда я родился. Может быть, он даже никогда не назвал бы меня своим сыном, потому что мать моя не была обвенчана... Но я помню, как мать учила меня молиться и поминать отца: «Помяни, господи, храброго воина, на войне погибшего, раба божия Александра...»

— Александра? — повторил Иван Софроныч, невольно вздрогнув.— А ваше имя?

— Генрих.

— Фамилия?

— Кнаббе.

Иван Софроныч подумал с минуту и спросил:

— Известна ли вам фамилия человека, которого вы почитаете своим отцом?

— Мать никогда не говорила мне ее; когда она умерла, я нашел в бумагах письма его к ней, но под ними подпись была так неразборчива, что я никак не мог догадаться.

— Можете ли вы,— сказал с особенной важностью Иван Софроныч,— можете ли вы, молодой человек, показать мне эти письма?

— Но для чего? — возразил молодой человек, которому видимо не понравилось желание старика.— В них нет ничего интересного для вас. Я храню их как святыню и думаю, что их не должно оскорблять посторонним прикосновением. В них самые задушевные, дружеские излияния чувства, которое связывало их. И притом они писаны по-немецки,— прибавил молодой человек, как бы в извинение своего отказа.

— Так ваша мать была немка? — снова и заметнее прежнего вздрогнув, спросил Иван Софроныч.

— Да, она была немка.

— Ее звали Каролиной? — сказал он.

— А вы как знаете? — с удивлением спросил Генрих.

Понизовкин погрузился в глубокое размышление, которое продолжалось несколько минут.

— Именем бога, молодой человек,— наконец воскликнул он умоляющим голосом,— именем бога, я прошу вас показать мне их!

Молодой человек не решался.

— Дайте их, дайте! — нетерпеливо повторял старик.— Я узнаю в одну минуту!

— Но что вы можете узнать?

— Бог, которого пути неисповедимы, часто выбирает самые ничтожные случаи орудием к открытию тайны, которой не могли разъяснить никакие человеческие усилия! — сказал торжественно Иван Софроныч.— Не противьтесь же его воле! Дайте письма...

Голос старика был так повелителен, что молодой человек невольно повиновался. Он раскрыл портфель и стал выбирать письма.

— Довольно одного,— сказал нетерпеливо Иван Софроныч.

Молодой человек подал ему письмо, исписанное мелким немецким почерком. Иван Софроныч внимательно посмотрел почерк, потом стал смотреть подпись...

Вдруг лицо его побледнело; он зашатался, вскрикнул и упал без чувств, прежде чем молодой человек успел поддержать его.

— Батюшка! что с вами? — воскликнула испуганная Настя, выбегая из другой комнаты.

Через полчаса Иван Софроныч заперся с молодым человеком в Настиной комнате, и они долго беседовали вполголоса.

— Я вам дам деньги, которые у вас украдены! — наконец сказал старик громче.— О, я должен их вам дать! — прибавил он печально.— Вы не должны испортить своей карьеры в самом начале!

— Как благодарить мне вас, благодетель мой! — воскликнул с жаром молодой человек.— Если б только я мог...

— Говорю вам, что вы не обязаны никакой благодарностью! — возразил Иван Софроныч.— Молитесь только, чтоб бог помог моему намерению! Его помощь теперь нам необходима! Знайте, молодой человек, что, не исполнив своего обещания, своего долга,— прибавил старик, возвысив голос,— я буду во сто крат несчастнее вас самих! Вы говорили, что вам еще остается десять дней. Нам не нужно столько времени. Приходите ко мне через три дня: вы

получите деньги... или,— если богу не угодно будет явить свою милость к несчастному старику,— я сделаю так, что *не вы* будете обязаны ответственностию в вашей невольной оплошности!

Движение отчаянной решимости сопровождало последние слова старика.

— Теперь идите! — заключил он.— И надейтесь на бога!

— И на вас? — сказал молодой человек.

— О, вы можете быть уверены во мне, как в самом себе!

Молодой человек ушел.

С той самой минуты в Иване Софроныче началось болезненное предчувствие неминуемой гибели, которого он не мог победить. Как он ни старался успокоивать себя надеждою, как ни вероятны казались ему планы, придуманные им, он не мог успокоиться. Тоска, безнадежность, отчаяние овладевали им всё сильнее и сильнее. Долго просидев в тяжком раздумье по уходе Генриха, он наконец встал и произнес рыдающим голосом:

— Господи! я чувствую, что наступили мои последние дни!

Настю ужаснула перемена, совершившаяся в Иване Софроныче со времени свидания с молодым человеком. В последнее время она постоянно видела его печальным, но никогда еще не выражали такой мучительной, сжимающей сердце грусти благородные и кроткие черты старика. Все мысли его, казалось, сосредоточены были на одном предмете; он ничего не говорил, отвечал неохотно и невпопад, так что Настя наконец решилась молчать. Настал час обеда, старик сел, по обыкновению, за свой прибор, но не прикоснулся ни к одному блюду; в восьмом часу Настя разлила чай, подала стакан старику,— и стакан остался нетронутый. В исходе десятого часа Иван Софроныч сказал дочери:

— Ты, Настя, очень бледна; уж, полно, здорова ли?

— Я здорова, батюшка.

— Ты бы сегодня пораньше легла спать.

— Я ложусь и так не поздно, батюшка: в одиннадцать часов; но, если хотите, я лягу раньше.

— Да, я думаю, тебе полезнее будет ложиться пораньше. Вишь, щечки твои совсем потускнели,— прибавил старик с нежностью.— Ляг, с богом, засни спокойно; завтра проснешься веселая!

И он благословил и поцеловал свою дочь. В десять часов Настя ушла в свою комнату и легла. Но ей не спалось. Она слышала тяжелую походку, вздохи, шорох бумаг, отрывочные слова и тихое чтение в комнате отца. Наконец там что-то резко визгнуло и смолкло. «Зачем бы ему,— подумала она,— отпирать комод (которого ящики имели привычку визжать и пищать, как мыши)? в нем нет ничего, кроме его парадного платья». Она еще более удивилась, когда услышала осторожный скрып, подобный тому, какой издавали новые сапоги Ивана Софроныча, недавно сделанные. Этот скрып с большими паузами всё приближался и наконец смолк у самой двери Настиной комнаты; спустя минуту он снова послышался, постепенно отдаляясь и разделяемый теми же продолжительными паузами. Наконец она услышала вздох и тихое восклицание старика: «Благослови господи!» Затем опять послышался скрып сапогов, потом скрып двери, еще через секунду — звук отпираемого и запираемого замка; а затем всё смолкло. «Он ушел!» — подумала Настя и стала прислушиваться: в соседней комнате царствовала такая тишина, как будто никого там не было; но до слуха Насти долетели шаги, звонко раздававшиеся по тротуару; они были быстры, неровны, и в них слышался знакомый скрып. Настя кинулась к окну, отдернула стору и увидела своего отца: в парадном своем вицмундире, в новых сапогах, в треугольной шляпе с пером, шел Иван Софроныч по тротуару; походка его была озабоченна; он размахивал руками и рассуждал, казалось, сам с собой. Настя только тогда перестала глядеть, когда он повернул в соседнюю улицу.

«Куда он ушел? что с ним? отчего он так печален?» — думала Настя, ворочаясь в своей постели.

Она решилась не спать до его возвращения, думая, не будет ли ему что-нибудь нужно; да и не до сна было ей. Однако ж прошло несколько часов, стало рассветать, а старик не возвращался. Наконец Настя уснула.

Протяжный, странный и раздирающий звук свирели пастуха (подчинившегося в Петербурге, как и все, местным обычаям и выгоняющего скотину в девятом часу утра), крики разносчиков, топот пешеходов по тротуару разбудили Настю. Вспомнив вчерашнее, она кинулась к двери и, тихонько отворив ее, стала смотреть в комнату отца. Ничто не изменилось в ней; парадное платье было убрано, и подле кровати старика, по обыкновению, лежал

его домашний костюм, как будто снятый с вечера, перед тем как лечь спать. Старик спал, беспокойно разметавшись; лицо его выражало такое страдание, что Настя содрогнулась.

«Боже! — думала она.— Он спрятал платье, которое надевал; он хочет скрыть, что уходил ночью. Что же такое угрожает нам?»

И сердце несчастной девушки также сжалось мучительным предчувствием.

«Но отчего же он не хочет ничего сказать мне? — думала Настя.— Неужели он считает меня недостойною и неспособною разделить его горе?.. О, неизвестность всего ужаснее!»

Иван Софроныч проснулся в десять часов. Поздоровавшись с своей дочерью, он сказал ей:

— Я сегодня встал поздно, но не удивляйся, если и в другой раз случится то же: я что-то нынче долго не засыпаю с вечера.

И более ничего уже не говорил он в тот день своей дочери, предаваясь глубокой думе. Воображение ли обмануло Настю, или и действительно было так, только бедной девушке в тот день Иван Софроныч показался еще более грустным, расстроенным, убитым, чем накануне.

«Я пожертвовала бы жизнью, чтоб только облегчить его страдания,— думала Настя.— Но что же я могу сделать, когда я даже не знаю, в чем состоит его несчастие?»

Настя несколько раз заговаривала с отцом, думая, что он наконец расскажет ей свою тайну; но Иван Софроныч упорно уклонялся. День прошел тоскливо и тихо. Два человека, столь близкие между собою и так любившие друг друга, не находили предмета к разговору, который мог только помешать их тайным и тягостным мыслям, кроме которых они ничего не хотели знать.

Около десяти часов старик напомнил дочери: не пора ли ей спать? Простившись с отцом, Настя ушла, и вчерашняя сцена повторилась: старик ушел с теми же предосторожностями. Настя так же опять провожала его глазами, так же не спала; но волнение в ней было гораздо сильнее. Она всю ночь проплакала и дождалась Ивана Софроныча, который возвратился несколько ранее вчерашнего. Уже начиналось утро, и в небольшую щель двери Настя могла видеть лицо старика: изнеможение, ужас и глубокое страдание ясно отражались в нем. Тихо приблизясь к своей кровати, Иван Софроныч опустился на

нее и снова повторил слова, которые шептало ему роковое предчувствие:

— Погибель моя неизбежна. Я проживаю последние дни мои!

И старик в отчаянии поник головой. Настя чуть не вскрикнула, услышав страшные слова отца. Тихонько добралась она до постели и в подушке заглушала свои рыдания. Старик долго сидел неподвижно; казалось, он желал плакать, но слез не было, и только тяжелые, глубокие вздохи по временам облегчали его грудь. Наконец он встал, как будто несколько успокоенный; глаза его наполнились слезами, уста тихо шептали слово, которое трудно было расслышать, но легко угадать по кроткой улыбке успокоения и надежды, озарившей лицо старика. Это слово было: бог!

Через несколько минут солнце, ярко всходившее в то утро, осветило успокоительную картину: отец и дочь молились каждый в своей комнате, и молились, без ведома друг друга, друг о друге. К имени дочери в молитве старика примешивалось другое имя, другая мольба о счастии, и трудно было решить, которое имя произносил старик с большею любовию, кому просил у бога счастия с большею горячностию!

Помолившись горячо и искренно, Настя тихонько легла в постель; она боялась показать, что уже проснулась, чтоб не помешать отцу отдохнуть. Почти в то же время окончил свою молитву и Иван Софроныч. Теперь главною его заботою было уничтожить следы своей ночной отлучки. Он снял и спрятал в комод свое парадное платье, привел всё в обычный порядок около своей постели и лег. Силы старика были так утомлены, что он тотчас же уснул. Настя вздохнула свободнее.

Наступавший день прошел, как и предыдущий. В десять часов вечера Настя, уже не дожидаясь намека, простилась с отцом и ушла спать. В одиннадцать в комнате старика послышался шорох, сделавшийся обычным в последнее время. Настя тоже не спала в своей комнате и даже не ложилась: она также делала свои приготовления.

Как только Иван Софроныч ушел, и Настя оставила свою комнату.

Она была в бурнусе и шляпке.

Уходя, они обыкновенно или отдавали ключ хозяйке, или клали его под дверью, чтоб тот, кто первый возвратится, мог тотчас попасть в квартиру. Настя знала,

что ключ можно достать как с той, так и с другой стороны. Но положил ли его Иван Софроныч? не унес ли с собой? С сильно бьющимся сердцем нагнулась она и посмотрела под дверью. Ключ был тут, Иван Софроныч не изменил привычке, а может быть, подумала с трепетом Настя, он имел и причины не уносить его. Осторожно отворив дверь и затворив ее за собою, Настя мимо спящего дворника быстро проскользнула в калитку, еще не запертую.

Иван Софроныч, в своем парадном одеянии, торопливо шел по тротуару, звонко стуча и поскрыпывая своими новыми сапогами. В расстоянии десяти шагов, не спуская с него глаз, укрываясь и осторожно ступая, шла его дочь. Совершенная тишина царствовала в безлюдной улице. Ночь была темна, какие только и бывают в Петербурге в августе, и Настя не могла быть примечена отцом.

Несмотря на то, несчастная девушка каждую минуту дрожала при мысли, что отец увидит ее; сердце ее билось, ноги подкашивались; ей казалось, что она умрет прежде, чем взоры их встретятся и отец успеет потребовать у нее отчета в дерзком преследовании. И всё-таки она шла вперед!

Что думала она? С какой целью, по какому праву и поводу принимала она роль надсмотрщицы, соглядатайницы тайных отлучек своего отца, которые он очевидно желал скрыть?

Несколько слов, сказанных стариком в разное время и которых страшного смысла она не хотела допустить, внушали ей отчаянное намерение, которого она сама ужасалась.

Они продолжали идти, волнуемые тягостными мыслями. Скоро к ним присоединились шаги третьего человека, который, казалось, следил за Настей с таким же вниманием, с каким следила она за своим отцом.

Путь Ивана Софроныча лежал в лучшую часть города. Они пришли в широкую и красивую улицу. Среди темных и высоких домов, которых громадные тени густо ложились во всю ширину улицы, резко отличался небольшой двухэтажный дом, ярко освещенный. Около него стояло множество экипажей.

«Тут, видно, бал»,— подумала Настя и очень удивилась, приметив, что шаги отца направляются прямо к освещенному дому.

Она не смела идти далее; кучера могли ее увидеть, сказать что-нибудь, и таким образом могло случиться, что и Иван Софроныч увидал бы ее. Она прислонилась к

лесенке противоположного дома, ведущей в магазин, заложенный теперь железным болтом, и стала наблюдать.

Она видела, как Иван Софроныч через стеклянную дверь вошел в ярко освещенные сени; видела, как посторонился пестрый швейцар с огромной булавой и пропустил его, сказав несколько слов, которых она не расслышала; видела, как старик поднялся по лестнице, устланной ковром и уставленной цветами; даже заметила — или ей так показалось — отражение его в большом зеркале, прямо против лестницы, перед которым он на минуту остановился. Потом он исчез. Настя стала смотреть в окна второго этажа и видела люстру, ярко горящую, цветы на окнах, картины на стенах, видела мелькающие головы, но отца своего уже не могла различить. Долго простояла она у лесенки. Ей хотелось подойти к освещенному дому, спросить у кучеров, у швейцара: чей дом? у кого бал? Но каждый раз, как она делала несколько шагов вперед, ноги у ней подкашивались. То думалось ей, что кучера грубо обойдутся с ней и будут смеяться, то казалось, что вот дверь отворится, выйдет Иван Софроныч и гневным голосом спросит: как смела она его преследовать? и скажет, что она не дочь ему, когда осмелилась бродить ночью по улицам! Вздрогнув, она возвращалась к лесенке и, ломая руки, молила бога, чтоб всё хорошо кончилось.

Мысль рассердить отца так ее испугала, что она решилась уйти домой, лечь поскорей в постель и скрыть всё. Но против воли она еще долго оставалась у лесенки. Наконец, собрав силы, она пошла домой, но едва сделала несколько шагов, как встретилась лицом к лицу с человеком, которого всего менее могла ожидать теперь.

В последнее время Настя вынесла столько тягостных ощущений, волнение в ней было так сильно, что она не думала скрываться, как поступила бы непременно при других обстоятельствах, и невольно воскликнула:

— Гриша!

— А! вы, верно, не дождались, кого ждали! — запальчиво воскликнул молодой человек.— Теперь я всё понимаю! Ваши отказы, вашу строгость, ваши двусмысленные ответы...

— Что вы говорите? — проговорила Настя слабым, упавшим голосом, в котором гнев и недоумение боролись с отчаянием.

— Я говорю, что я всё понял! — с той же резкостью отвечал молодой человек.— Не старайтесь увертывать-

ся. Я вас любил, я вам верил, я хотел посвятить вам свою жизнь... Но теперь я всё знаю и знаю, что должен делать!

Он говорил с такою запальчивостью, так скоро, что Настя не находила времени возражать; да она и не думала оправдываться: оскорбление было слишком сильно и неожиданно; кровь бросилась в голову бедной девушке, и она могла только сказать:

— Оставьте меня сейчас же, оставьте!

— Вы напрасно говорите таким повелительным голосом,— язвительно отвечал молодой человек.— Я и без того готов исполнить ваше желание, которое, поверьте, есть в то же время и мое... О, я ничего теперь так не желаю, как быть как можно дальше от вас, чтоб никогда уже не встречаться с вами. Прощайте. Желаю вам успеха в вашей прогулке!

Он ушел. Даже болезненный крик и громкое рыдание Насти не воротили, не остановили его. Он был в сильном негодовании, в глубоком отчаянии. Он шел скорыми и неровными шагами, то проклиная, то горько жалуясь на свою несчастную судьбу. Наконец он пришел в улицу, где жила Настя, и исчез в маленьком деревянном доме, наискось против того, в котором нанимал квартиру Иван Софроныч.

Силы изменили Насте. Она громко рыдала, повторяя: «Боже мой! Боже мой! Что мне делать! И он против меня!»

Наконец она быстро побежала, но уже не к своему дому, а назад, туда, где был Иван Софроныч. Она опять стала у лесенки и смотрела в окна освещенного дома. Там всё было по-прежнему: ярко горела люстра, мелькали головы, слышалась музыка. Голова закружилась у Насти, и, прислонив ее к холодной стене, она тихо плакала. Сознание почти покинуло ее. Она смутно помнила, зачем вышла из дому, что с ней было, и не думала о том, что должна теперь предпринять. Как будто несколько часов времени, проведенного в тяжелом и глубоком сне, легло между ею и недавним прошедшим, которое она тщетно старалась сообразить. Еще страшная действительность не успела раскрыться перед ней во всем своем ужасе, как у подъезда освещенного дома произошло движение. Настя машинально посмотрела: она видела, как спустилось с лестницы несколько человек, как им подали экипажи, видела, как пестрый швейцар с силой захлопнул дверцы, закричав: «Пошел!» Потом экипажи поехали, и глухо отдавался

в ушах Насти их стук, и сердце бедной девушки, готовое разорваться, громко вторило ему. Пораженная мыслию, что и отец скоро может показаться в дверях, она сжала руками виски, которые также громко стучали, и воскликнула: «Боже мой! что же мне делать?..» Она слаба, ноги отказываются служить ей; он может воротиться домой прежде: что он тогда скажет? Те же страшные подозрения, тот же стыд, может быть, проклятие угрожает ей! И она хотела бежать; но тайное, безотчетное предчувствие невольно удерживало ее. Еще полчаса простояла и проплакала Настя у лесенки; в дверях освещенного дома снова послышалось движение. Подан был и уехал с своим господином еще экипаж; потом с лестницы стало спускаться новое лицо; швейцар не засуетился, между экипажами также не произошло движения; новое лицо быстро спустилось с лестницы и пешком отправилось своею дорогою. Выпустив его несколько вперед, Настя побрела по другой стороне улицы.

Если лицо Ивана Софроныча вчера и третьего дня ужасало Настю выражением глубокого страдания, то благодарение судьбе, что расстояние мешало ей рассмотреть его теперь. И не одно лицо, вся фигура Ивана Софроныча, медленно двигавшаяся по тротуару и отбрасывавшая длинную тень, пересекавшую дорогу Насте, выражала страдание: так мог идти только человек убитый, потерянный, безнадежный. Настя поняла, что ей нечего ждать утешения и что вечер, который отец ее, отправляясь в свою ночную экспедицию, назвал решительным, не принес им ничего, кроме новых слез, нового горя!

Да, последние надежды старика рушились!

Сначала он шел тихо, опустив так низко свою голову, как будто ему тяжело было нести ее. Ни вздох, ни жалоба, ни слезы не облегчали внутренней бури, которая кипела и волновалась в груди его. Потом шаги его сделались быстрее и решительнее; но какая страшная, ужасающая решимость отражалась в них! Настя вздрогнула, когда отец удвоил шаги; она тоже инстинктивно ускорила их. Старик переходил мост. Путь их лежал прямо; но, миновав мост, он повернул по берегу реки.

Сделав несколько шагов, старик остановился и стал смотреть в реку, низко нагнувшись.

Ужасная мысль поразила Настю. Уже три дня ежеминутно ждала она страшного несчастия, и ей предста-

вилось, что наступил час, когда оно должно было совершиться!

Забыв прежнюю осторожность, Настя быстро подбежала к отцу и отчаянно вскрикнула:

— Батюшка!

Старик вздрогнул; но его, казалось, нисколько не поразило появление Насти; только испуг и досаду выражали его глаза.

— Батюшка! — повторила Настя, зарыдав и обхватив руками колени старика.— Простите, простите мою дерзость! О, если б вы знали, сколько я страдала! Видеть, как вы мучитесь, и не сметь сказать вам утешительное слово, даже не знать, какое горе... О батюшка! почему вы не хотели разделить его со мною? Вы считаете дочь свою ребенком, но я всё поняла, я ко всему готова, и, если нужно умереть, я готова умереть с вами!

И девушка сделала невольное движение к реке, указав на нее рукой.

Старик весь вздрогнул; казалось, сознание только теперь воротилось к нему,— и какой ужас выразило лицо его, когда он машинально взглянул по направлению руки дочери!

— Кто тебе сказал, Настя, что я хочу умереть? — шепотом спросил он у дочери, быстро подняв ее и отводя к середине улицы.

Настя, не отвечая, с рыданием припала лицом к его груди.

Справедливы ли были опасения Насти? Что думал Иван Софроныч, когда, нагнувшись к реке, всматривался в холодную темную массу воды, неглубокую и неширокую, но достаточную, чтоб поглотить человека и разом покончить его волнения? Вся жизнь Ивана Софроныча была образцом человеческой терпимости, покорности воле провидения и христианской готовности твердо переносить испытания; она была вечно борьбою, и не было примера во всем шестидесятилетнем поприще старика, чтоб он пал недостойно и позорно. Он боролся и побеждал во имя того, кто посылал ему испытания, кто давал ему и силу побеждать их! И если теперь враг человеческого рода, застигнув его в тяжкую минуту, внушил ему недостойное намерение, кто вправе сказать, что он не победил бы его, как и всегда? Пусть же его минутное намерение, каково бы оно ни было, навсегда останется непроницаемою тайною! Пусть без тени и упрека останется человек, которого

страдания и подвиги — негромкие и неведомые — свидетельствуют душу мужественную, окрепшую в страдании, которая боролась и побеждала, боролась и падала, но падала там, где устоять уже не могли никакие силы человеческие! и да простит бог его дочери страшное подозрение, против которого готова восстать и громко возопить вся честная жизнь старика!

Через полчаса, когда уже начинало светать, отец и дочь подходили к своей квартире. Во всю дорогу они тихо разговаривали.

— Да, Настя,— говорил Иван Софроныч.— Я не хотел, но так угодно богу, и ты всё узнаешь. И ты сама увидишь, какое несчастие разразилось над головой твоего отца и какое страшное преступление совершил он.

Настя невольно вздрогнула.

— Да, я нарушил клятву,— грустно сказала старик,— и господь покарал грешника!

— Но какую же клятву? — спросила Настя.

— Ты всё узнаешь. Я расскажу тебе тайну, которой не открывал никому, которую доныне знали только я да бог!

Глава LIX

ТАЙНА

Ни отец, ни дочь не ложились в ту ночь. Настя с трепетом слушала историю, которую передал ей отец.

«Я часто говорил тебе, Настя, о Наполеоне, о великой войне, которая прославила нашу матушку Россию; часто рассказывал наше житье-бытье с Алексеем Алексеичем — дай бог ему вечную память,— наши походы, сражения, в которых мы участвовали. Но я никогда не говорил тебе о первом нашем походе за границу и о первом моем благодетеле, Александре Фомиче... упокой господи его душу в числе праведников! Александр Фомич, а по прозванию Гарин, был наш ротный; Алексей Алексеич был у него поручиком, а я — унтер-офицером. Господи! И что за добрая душа была у Александра Фомича! И молодец же был! таких красавцев нынче не видно. Не забыть его орлиного глаза, соколиного посвиста, молодецкой удали! Как, бывало, сядет на коня да крикнет: „За мной, ребята!“, так каждый готов душу свою положить, хоть в огонь, хоть в воду! И делал же он чудеса с своей ротой,— бывало, что ни есть горячее дело, мы там, и он всегда впереди!

Храбрости был редкостной, но только рьян через меру и себя не берег. Дело было в самых первых годах теперешнего столетия. Стояли мы в малом немецком городке. Постояли и ушли. Я ничего и не знал, а потом уж мне вечной памяти Алексей Алексеич рассказал: полюбил он тут одну девушку и жениться хотел... Честный был человек и, будь жив, непременно слово свое исполнил бы! Да как время было военное — сегодня тут, а завтра там, а где послезавтра, одному богу известно,— так и положили они свадьбу на время отложить. Вот и ушли мы из городка, и тут скоро последовало сражение, и в том сражении скончал жизнь свою Александр Фомич. Никто, как бог, его святая воля! Пуля так ловко угодила, что сердечный не жил больше пяти минут, и те употребил, чтоб душу свою господу поручить да о невесте подумать,— а то и показывает, что он ее любил, человек был честнейший, и кабы не смерть, так честь бы ее сохранил свято! По счастью, случился при его кончине Алексей Алексеич, ближе и дороже которого не было во всем свете ему человека. Он и рассказал, как рана и бедственное положение его позволило, тайну свою Алексею Алексеичу. Девушка была бедная: так просил оберегать ее, и как она родит, то сына или дочку блюсти... и тут он вынул пакет (вот я его покажу сейчас) и сказал, чтоб ей отдать, а если ее не будет, так ребенку. И клятву взял с Алексея Алексеича, что исполнит, да тут же и умер, царство ему небесное!

А в том пакете были три билета ломбардные и письмо. Алексей Алексеич только и думал, как бы волю покойника соблюсти, да известно: наше дело военное; полк пошел дальше, как отлучиться? А потом другим трактом в Россию пошли. Тут дело пошло жаркое: француз вступил в наши владения; некогда было и думать о постороннем, надо было безотлучно при полку находиться, отечество защищать. Не оставить же было фронта в такое время, когда и невоенные люди, и старики, и малые ребята готовы были грудь свою под пулю неприятельскую подставить. Вот так и случилось, что только лет, я думаю, будет через девять покойный благодетель мой Алексей Алексеич мог подумать о завещании покойника. Да как было его исполнить? Кто она, мы не знали; было в пакете с билетами письмо: женская рука да подписано только — Каролина. Какая же Каролина? Алексей Алексеич мараковал немного по-немецки, достали еще словарь, долго разбирали; всё поняли и перевели, а всё ничего не-

обходимого не узнали. Пришел четырнадцатый год. Алексей Алексеич уж как хлопотал, чтоб прикомандироваться к полкам, которые в Париж шли. Попал! И уж через силу (у него, сердечного, ты знаешь, сколько ран было) пошел. Хоть и не совсем по пути было, однако ж удалось ему побывать в том городке. Ходил, присматривался, спрашивал — ничего не добился! Иные говорят умерла, иные — в Россию уехала, а иные так прóсто уверяли, что никакой такой Каролины у них и не было! Мы и подумали, что она точно в Россию уехала, и как воротился Алексей Алексеич — прямо в Петербург, и долго жил там, и разыскивал: ничего не оказалось! Ездили мы потом и вместе, раз и другой, да всё то же: ничего! И положили мы, что, видно, погибла несчастная, и стали думать, что надо, значит, теперь сына или дочь искать. Алексей Алексеич, покойник, всё, бывало, уверял, что, верно, сынком она разрешилась. Я же полагал, что, быть может, и дочерью. Но он всею душою прилепился к мысли, что после друга его и сослуживца остался сын, и такая мысль с летами в нем всё укреплялась. Он только и думал о том, как найдет его, как будет любить, учить уму-разуму, сделает из него храброго солдата и верного слугу государю. Он так часто говорил о нем, что даже дал ему имя, какое пришло и понравилось покойнику... он любил всё называть по-своему, и, бывало, как сгрустнется ему, чуть не плачет и говорит: „Софроныч, голубчик! найди мне Ваню моего, Ваню! Я боюсь, что и умру, не увидавши его!“ Вот и ездили мы в Петербург, и искали опять, и всё в газетах смотрели, не попадется ли прозвание: Гарин. И каких нашли Гариных, всех обошли и объездили и всё спрашивали: не приходила ли к ним женщина именем Каролина, с ребенком, и не спрашивала ли покойника. Думали: ведь знала же она его фамилию и, коли приехала в Россию, так должна же была, искавши его, спрашивать у родных и однофамильцев. Однако ничего не узнали и везде получали один ответ: такой женщины не было. И опять мы уехали. И жили мы в Овинищах, и всё горевали, что бог не приводит исполнить завет покойника, и берегли деньги его как зеницу ока. Бывало, покойник, не в укор будь сказано его высокоблагородию, скажет: „Не отделить ли частицу, потом пополним, Софроныч“; но мысль, что вот явится Ваня (он и до конца жизни так называл его), удерживала его руку, и я, грешный человек, хвалил и укреплял твердость его высокоблагородия. И так билеты

Александра Фомича и со всеми процентами оставались неприкосновенными до самой смерти благодетеля моего Алексея Алексеича, вечная память праведнику!

Иван Софроныч умолк и повесил голову.

— Со смерти его,— продолжал он, подавляя слезы, которыми наполнились глаза его,— билеты перешли ко мне. Я должен был исполнить священную волю Александра Фомича; я дал клятву Алексею Алексеичу, что исполню ее, если только будет малейшая возможность. И вот теперь настал час исполнить ее!

Старик опять помолчал.

— Молодой человек, которого ты видела третьего дня... сам бог привел его ко мне,— сказал, возвысив голос, старик,— ...этот молодой человек — сын той женщины, которой приказано вручить деньги, сын Александра Фомича!

— Но точно ли вы уверены? — спросила пораженная Настя.— Через столько лет...

— Ничего не может быть яснее доказательств, которые я имею. Мать его звали Каролиной. Она выехала из Германии в 18** году, когда мальчику еще не было года, а в 18** мы были там с полком. Он хранит письма, которые остались по смерти его матери; они писаны Александром Фомичом, под ними подпись: Гарин. И писаны к ней,— утвердительно прибавил старик,— молодой человек перевел мне их, и в содержании одного я узнал ответ на письмо, которое храню вместе с билетами! Сам бог, говорю, вступился в дело сироты; время, которого я так нетерпеливо ждал, наступило... Но оно наступило поздно... поздно! — повторил он угрюмым и скорбным голосом.— Так поздно, что лучше, если б я умер ранее!

— Но отчего же, батюшка, вы не отдадите ему сколько можете... Или был только один билет? — спросила Настя, начиная догадываться, каким билетом были уплачены деньги господину Переваленко-Зацепе.

— Их было три,— отвечал старик,— один в четыре тысячи, другой в шесть и третий в пять, всего было положено пятнадцать тысяч, но с процентами, накопившимися в течение с лишком четверти столетия, они составляли довольно значительную сумму, именно столько или несколько более того, что теперь нужно молодому человеку,— с глубоким вздохом прибавил старик.— Первым билетом я уплатил по взысканию нового управляющего...

— Знаю,— перебила Настя.— Несчастный, ужасный день! с него начались все наши несчастия. О, зачем я не

знала тогда, какую жертву вы приносите, я не была бы так малодушна. Простите, простите, батюшка, я была невольною причиною...

— Никто не виноват,— перебил старик плачущую дочь свою.— Бог знал мои силы: испытание было выше их и я не вынес его! Учись, Настя! перед тобою страшный пример: в жизни человека нет ничего выше и священнее долга и горе нарушителю его!

Старик печально поник головой.

— Но я думаю, батюшка,— сказала Настя,— что если вы отдадите ему остальные билеты, то дело может уладиться.

— У меня нет их, нет ничего! — отвечал старик.

— Но где же другие два билета?

— Я их проиграл.

— Как, вы играли?

— Ему нужно сорок тысяч. Почти четвертой части суммы недоставало, когда я узнал в нем сына моего благодетеля. Несколько времени тому назад я играл в первый раз в жизни — ты знаешь, по какому случаю,— и с таким счастьем, что одно воспоминание о нем внушило мне безумную мысль, которая погубила нас! Но тогда я выиграл страшную сумму, а теперь мне нужно было только десять тысяч... всего десять тысяч! — тоскливым голосом повторил старик.— И я думал, что если счастье благоприятствовало мне, когда нужно было поправить ошибку ветреника, который завтра же мог повторить ее, то неужели оно откажет мне в своем покровительстве, когда нужно спасти честь и будущность человека! Вот какая мысль была в моей голове. Люди, с которыми я тогда играл, обошлись со мной как с равным; они ласкали меня и приглашали приходить впредь. И я вздумал воспользоваться их благосклонностию. Я пошел к господину Брусилову, который казался мне добрее и благороднее других, хотя все они люди достойные, ничего не могу сказать против них. И действительно: Брусилов принял меня с удовольствием, и не было в его ласке ничего фальшивого или обидного. У него в тот вечер было только двое друзей, и, когда мы посидели и поговорили, он сказал мне: ,,Если вы хотите играть, почтеннейший Иван Софроныч,— я ведь знаю, вы большой мастер играть,— прибавил он с улыбкой, но такой доброй, что ничего в ней не было обидного,— то приходите послезавтра: у меня будет много народу... Впрочем, если хотите, то и сегодня можем немного поиг-

рать". Нетерпение мое было так сильно, что не знаю, как я тотчас же обнаружил его, и мы стали играть. Игра продолжалась долго; я не был в проигрыше, но и не выигрывал; уже стало светать; я поставил несколько больших кушей — и проиграл около десяти тысяч. Когда мы расходились, один из гостей Брусилова сказал мне: „Если вам угодно, приходите завтра ко мне: будем играть, и вы, верно, отыграетесь". Я взял адрес и обещал прийти. И я пришел, и когда возвратился домой, то недосчитался еще в кармане моем нескольких тысяч. Были тут люди, которые проиграли больше моего: они проклинали свое счастье, громко негодовали и чуть не плакали; я молчал; но если б они знали, что происходило в моем сердце! У меня оставался один билет и один вечер... и этот билет и этот вечер должны были решить мою судьбу! я знал, что несколько минут счастья — и всё будет поправлено, и еще не терял надежды. Я помнил, как в течение получаса выиграл несколько миллионов, а теперь мне нужно было только тридцать тысяч! С теми, которые я еще имел, они составили бы ровно ту сумму, которая была необходима. Пять или шесть часов тому назад я пошел к Брусилову,— и через два часа последний билет перешел в руки счастливого соперника! Видно, я был очень смущен своим проигрышем,— окружающие заботливо спрашивали, что со мной; добрый хозяин предлагал продолжать игру, обещаясь подождать, если я проиграю. Но я ничего не сказал и ушел; видно, в то время уже начинался припадок безумия, в котором ты нашла своего отца...»

Окончив свой рассказ, старик долго не возобновлял разговора. Настя также погрузилась в глубокую думу. Она предлагала много ребяческих и несбыточных средств достать деньги, при которых Иван Софроныч только грустно улыбался и качал головой; но наконец любовь и сострадание к отцу внушили ей счастливую мысль: она упомянула о Тавровском.

— Да, я пойду к нему! — сказал Иван Софроныч.— Я подавлю ложный стыд и ложную гордость, когда дело идет о спасении чести человека... двух человек,— поправился старик.— Я думаю, я имею право,— с гордостию прибавил он,— просить у него заимообразно сорок тысяч: я отыграл ему имение и отдал ему назад на одну карту всё его состояние, когда оно уже было моим!

Дождавшись одиннадцати часов, Иван Софроныч отправился к Тавровскому. Его встретил черный слуга,

которого Иван Софроныч робко спросил: дома ли Петр Прохорыч?

— Пожалуйте! — отвечал грум, отворяя дверь во внутренние покои.

Старик нерешительно шел и, думая, не ошибся ли мальчик, выразительнее повторил вопрос.

— Пожалуйте, пожалуйте! — отвечал черный путеводитель, развязно отворяя дверь в кабинет Тавровского.

— Да мне не самого барина, а камердинера; нельзя же без доклада к барину? — заметил Иван Софроныч, желавший сначала посоветоваться с опытным камердинером.

— Да я к нему и веду вас,— отвечал мальчик.

«Что такое? Уж не сделался ли Петр сам барином?» — подумал Иван Софроныч.

Пройдя кабинет, черный путеводитель откинул драпри и вошел с Иваном Софронычем в великолепную уборную.

В ней, перед уборным столиком, величественно сидел Петр. Он решительно разыгрывал роль своего барина, и, вероятно, чтоб довершить сходство, мазался его помадой, прыскался его духами, чесался его щетками и, наконец, с ног до головы оделся в платье Тавровского. Таким образом, Иван Софроныч второй раз присутствовал при его туалете, перебрасываясь с ним словами. Тут же находился другой гость — человек в потертом сюртуке, с фиолетовым носом и красными ушами. Петр попивал с ним кофе и курил дорогие сигары.

— Вот, Иван Софроныч! — сказал, между прочим, камердинер.— Матушка еще писала, не приеду ли я с вами в Софоново, а выходит, что и сами вы туда не попали... Эх, охота вам было!

Но Иван Софроныч не был в духе продолжать беседу и скоро простился, огорченный неудачею своего посещения: оказалось, что Тавровского нет дома и не будет с неделю. С целой компанией он отправился в маленькое путешествие по Финляндии.

Провожая Понизовкина, камердинер спросил:

— Где вы живете нынче, Иван Софроныч... или всё там же?

— Там же,— отвечал старик.

— Я всё собираюсь к вам зайти.

— Заходи, заходи, голубчик... Да хорошо, знаешь, Пет-

руша, кабы ты повестил тотчас, как воротится барин: мне очень нужно его видеть.

— Повещу, повещу,— отвечал камердинер,— Сам приду...

В отсутствие Ивана Софроныча явился Генрих Кнаббе, которому старик назначил в тот день свидание. Настя предложила ему подождать. С невыразимою нежностью и грустью встретил его старик.

— Я еще не могу сегодня исполнить своего обещания,— сказал он ему,— но, если бог поможет, я непременно исполню его. Сколько дней вы можете еще ждать?

— До пятницы следующей недели (тогда была суббота),— отвечал Генрих.— Хозяин мой писал, чтоб я непременно возвратился к пятнадцатому числу. Если в пятницу я не явлюсь к нему и он не получит письма о причинах замедления, он будет беспокоиться. Даже, вероятно, пошлет туда кого-нибудь и напишет кому-нибудь, чтоб разведали, и тогда всё может открыться...

— Семь дней,— медленно сосчитал по пальцам Иван Софроныч.— Наведайтесь и раньше...

— Что сказал вам Тавровский? — спросила Настя, когда Генрих ушел.

Старик сообщил ей результат своего посещения. Они оба пригорюнились и с полчаса молча думали.

— Осталась еще надежда,— сказала Настя.— Батюшка! позвольте мне сходить... одной,— прибавила она, ласкаясь к отцу.— Я прохожу не более часа.

— Куда?

— Не спрашивайте! — отвечала она, продолжая ласкаться к нему.

— Дитя мое! — сказал старик, целуя ее.— Ты боишься признаться; ты лучше своего отца помнишь обещания! но мы теперь в таком положении, что если б кто решился спасти нас, тот — *кто бы он ни был* — получит вечное право называться нашим другом!

— Вы не шутя говорите, батюшка? — тихо спросила Настя, вспыхнув.

— Да, я так думаю,— отвечал старик.— Но едва ли найдется такой человек.

— О, я уверена! — проговорила Настя и поцеловала отца.

Потом она оделась, снова поцеловала его, просила успокоиться, уснуть и вышла...

Путь Насти лежал довольно далеко. После долгих странствований и расспросов она наконец пришла в Измайловский полк, отыскала Девятую роту, а в ней дом господина Ерофеева, и постучалась в двери ветхого деревянного флигеля. Ее впустила бедно одетая старушонка, и, войдя в довольно неопрятную комнату, Настя увидела еще несколько таких же старух и детей в лохмотьях; старухи попивали кофей, гадали на картах и тараторили.

— Здесь живет господин Грачев? — спросила Настя.

— Съехали, матушка, съехали,— отвечала одна из старух.

— Куда же? он оставил вам адрес?

— А как же, матушка. В Коломну, слышь, переехал, в Паточную улицу, в дом мещанки Афросимовой. Вот, извольте посмотреть.

Старуха подала ей лоскуток бумаги.

Настя очень удивилась, выслушав старуху и прочитав адрес: улица, куда переехал Грачев, была та самая, в которой жила она.

— А давно он съехал туда? — спросила Настя.

— Да уже давненько, голубушка... Да вот, помнится, вскорости после того, как Маремьяне Степановне счастье выпало: барин добрый такой на улице поднял ее полумертвую, домой привез и назначил ей пенсион. А потом он долго с жильцом говорил, а скоро потом жилец и съехал.

Настя не расспрашивала долее. Распростившись с старухами, она поспешно вышла и отправилась в обратный путь. Придя в Паточную улицу, она скоро нашла дом мещанки Афросимовой, который приходился почти против их собственной квартиры, и опять спросила, здесь ли живет Грачев и дома ли он.

— Дома,— отвечал ей небритый старик, в котором по ухваткам и бороде нетрудно было узнать отставного солдата, и, отворив дверь в соседнюю комнату, прибавил:— Пожалуйте!

Настя вошла, и в одно время произнесены были два восклицания:

— Настя!

— Гриша!

Гриша находился в отчаянном положении. Мучительная ревность терзала его. Вскоре после свидания с Настей Гриша переехал в Паточный переулок, чтоб быть ближе к ней. Целые дни проводил он у окна и счастлив был, когда удавалось ему хоть мельком увидеть Настю.

Накапуне настоящего дня, уже поздно вечером, он сидел, по обыкновению, у окна и смотрел в нижний этаж огромного дома, в котором жила Настя. Он видел, как около одиннадцати часов вышел из ворот Иван Софроныч и скорыми шагами прошел мимо его дома. Мы знаем, что спустя не более пяти минут вышла и Настя. Гриша долго не верил своим глазам; наконец мучительное чувство ревности охватило его. Он уже ничего не думал, не соображал; одна мысль, что Настя неверна ему, овладела его умом. Он поспешно оделся и выбежал на улицу. «Она едва дождалась, чтоб ушел отец, и сама ушла... куда?..» Гриша не сомневался, что она шла на свидание с счастливым его соперником. И он хотел подстеречь их... Строя в разгоряченной голове своей планы мщения, он тихонько крался по следам Насти, не замечая, что впереди, в расстоянии еще двадцати шагов, шло третье лицо, служившее в свою очередь предметом наблюдений Насти. Правда, было темно, но если б Иван Софроныч шел ближе, Гриша не заметил бы его: во всем мире он видел теперь одну Настю и мог помнить и думать только об одном, что Настя изменяет ему! Когда Настя притаилась у лесенки, он не сомневался, что она поджидает своего любезного, и также спрятался неподалеку, нетерпеливо выжидая его появления. Мы знаем уже, что спустя час Настя переменила намерение и решилась воротиться домой. Тут уже Гриша не мог ждать долее и, кинувшись к ней, встретил ее теми оскорбительными словами, которые так удивили и огорчили бедную девушку. Воротившись домой в сильном негодовании, Гриша не мог ни спать, ни спокойно обдумывать свое положение. Он метался на постели, рыдал и повторял, что всё потеряно и погибло. В таком положении провел он остаток ночи и часть утра до той самой минуты, когда перед ним неожиданно появилась Настя.

Как бы ни были озлоблены друг против друга влюбленные, стоит дать им полчаса времени, чтоб они непременно помирились. Точно так же случилось с Гришей и Настей. Сначала были слезы, отчаяние, взаимные упреки. Гордость не позволяла Насте оправдываться. Ревность не допускала Гришу отвергнуть свои подозрения, которые, казалось ему, были так несомненны, тогда как против них он не имел ничего, кроме холодного замечания Насти, что она невинна и что он глубоко оскорбил ее. Но когда Настя объявила причину своего посещения,

коснувшись страшного положения отца и своего собственного, Гриша начал понимать истину. И скоро он лежал у ног своей возлюбленной, обливая их слезами, называя себя чудовищем и умоляя о прощении. Труднее было смягчить гордую Настю, в которой недавнее оскорбление было еще слишком свежо. Гриша должен был употребить много времени и красноречия, описывая чувство, овладевшее им, когда он увидел Настю одну, ночью, среди улицы! Но, видно, описание было удачно,— Настя всё простила ему!

Гриша клялся, что непременно достанет к пятнице деньги, нужные Ивану Софронычу, причем Настя не забыла сообщить ему слов своего отца: «Мы теперь в таком положении, что человек, который спасет нас,— *кто бы он ни был,*— получит вечное право называться нашим другом».

Они расстались, счастливые надеждой скоро свидеться при лучших обстоятельствах.

Глава LX

ПЯТНИЦА

Прошло три дня, а положение дел всё еще оставалось неопределенным. Не было вести о Тавровском, не принес денег и даже не бывал Гриша. Только Генрих аккуратно наведывался каждый день — и получал всё тот же ответ, что надо еще ждать. По мере сокращения срока надежда покидала его, и раз, в припадке отчаяния, он сказал Ивану Софронычу, что если не достанет денег до пятницы, то ему ничего более не останется, как застрелиться.

— Не говорите, не думайте этого! — с ужасом воскликнул Иван Софроныч.— Говорю вам, что если деньги не будут найдены к сроку, то я сниму с вас ответственность перед господином Штукенбергом! Я буду один виноват... Дайте мне клятву, что слова, которые вы сейчас произнесли, были плодом минутного отчаяния, а не обдуманного намерения. Я имею право требовать ее, молодой человек, и я требую, чтоб вы мне дали ее!

— Но какое же право?

Таким образом Иван Софроныч пришел в необходимость раскрыть Генриху тайну его рождения. Молодой человек с увлечением обнял старика, называя его вторым

отцом своим, и они долго и дружно беседовали в тот день.

В четверг Настя ходила к Грише, но не застала его; вечером опять пошла к нему, и Гриша объявил, что денег еще не достал, потому что в Петербурге нет теперь человека, у которого надеялся взять их (Настя поняла, что дело шло о Тавровском), но что завтра к десяти часам непременно достанет их.

Настя всё передала отцу; но надежды уже не было в сердце старика. Он грустно выслушал ее и, к удивлению Насти, сказал:

— Гриша добрый малый и любит тебя. Я уже стар, я могу умереть; ты, я знаю, любишь его, и, верно, вы обвенчаетесь. Я не противлюсь вашему счастию и благословляю вас. Живите дружно, берегите друг друга и вспоминайте иногда старика солдата, когда кости его лягут в могилу!

— Но, батюшка, вы еще не так стары? и почему мысль о смерти пришла вдруг вам в голову?.. О батюшка! я не могу быть счастлива без вас!

Старик ничего не отвечал. Настя страшно испугалась: она видела ясно, что мысль о смерти занимала ум старика, и опять боязливо начала наблюдать каждый взгляд его, доискиваться тайного смысла в каждом его слове. Под вечер Иван Софроныч ушел, не сказав ей куда, и воротился через час. Лицо его было спокойно; но в голосе и движениях проявилась особенная торжественность. Казалось, всё уже было решено в душе его, и спокойствие старика напоминало грозу, смолкнувшую перед последним роковым ударом, которым неминуемо грозили черные тучи, бродящие по небу...

Прежнее беспокойство с новою силою пробудилось в бедной девушке. Но она не могла открыть ничего ни в словах, ни в поступках старика, что могло бы подтвердить ее опасения.

В самом деле, в душе старика всё уже было решено.

Наступил двенадцатый час: время было ложиться спать.

— Когда хотел прийти Гриша?— спросил Иван Софроныч у своей дочери.

— Он сказал, что не позже десяти часов достанет деньги.

— В одиннадцать придет Генрих; потом ему должно будет явиться к своему хозяину. Ты сходишь к Грише?

— О, я завтра чуть свет пойду к нему.

— Может быть, я еще буду спать,— заметил старик.— Не лучше ли будет, Настя, если я займу твою комнату?

Квартира их состояла из двух комнат. Первую занимал Иван Софроныч, вторую, в которую можно было попасть только через первую, занимала его дочь. Настя нашла мысль своего отца очень счастливою и радовалась, что он заботится о своем спокойствии. В пять минут кроватка Насти была перенесена в первую комнату и заставлена ширмами, а кожаный диван, на котором спал Иван Софроныч,— во вторую. Старик пожелал, чтоб туда перенесен был и стол, на котором стояла чернилица и другие принадлежности для письма,— хотя это желание исполнить было довольно трудно: стол был только о трех ножках, четвертая едва держалась.

Потом они простились и разошлись.

Ночью, часу в третьем, сквозь слабый сон Настя слышала звук ключа в замке двери, разделявшей две их комнаты. Она думала, не хочет ли старик опять уйти. Но звук умолк, и старик не показывался.

Казалось, он хотел только удостовериться, запирается ли замок. Так по крайней мере подумала Настя, в которой несчастные события последнего времени развили болезненную проницательность и подозрительность.

Утром, часу в осьмом, Настя встала, тихонько оделась и поглядела в комнату отца. Он спал. Настя осторожно вышла.

Гриша уже совсем оделся и готов был уйти со двора, когда пришла Настя.

— Что?— спросила она.

— Сейчас иду и через час буду у вас с деньгами.

— Ради бога! или с нами случится что-нибудь ужасное! — сказала Настя отчаянным голосом.

Она была так бледна, так убита, что Гриша испугался.

— Успокойся, Настя! неужели ты не веришь моему слову?— сказал он.— Клянусь же, я принесу их, хотя бы мне должно было пройти через огонь, чтоб взять их. Деньги уже есть, и я могу их получить; но...

— Идите, идите! — отвечала Настя.— После всё расскажете.

Они разошлись в разные стороны.

— Что, Настя, твои детские надежды и опять обманули тебя?— сказал Иван Софроныч, встречая свою дочь, которой печальное лицо говорило яснее слов.— Не огор-

чайся, дитя мое: мы сделали всё, что могли, и если не удалось так, спасем его другим образом!

— Он сказал, что непременно в десять часов принесет,— отвечала Настя.

— Не ходи туда! — поспешно и с испугом воскликнул Иван Софроныч, заметив, что дочь хотела войти в его комнату.

— Я хотела убрать вашу постель,— сказала Настя, возвращаясь.

Сердце в ней вздрогнуло, и страшное подозрение снова мелькнуло в уме.

Пробило десять часов. Гриши не было.

— Я схожу к нему,— сказала Настя болезненным голосом.— Я потороплю его. Мы сейчас придем, батюшка!

— Сходи, сходи! — отвечал старик равнодушно.— Прощай. Бог с тобой!

Он прижал к своей груди голову дочери и осыпал ее поцелуями.

— Прощай, мое дитя, мое сокровище, моя радость! — говорил он.

Настя подумала, что прощанье своей нежностью и продолжительностию не соответствовало минутной разлуке, которая предстояла им. Сердце в ней опять вздрогнуло.

Как только ушла Настя, старик махнул рукою и громко зарыдал. Потом он вошел в свою комнату и начал писать.

Настя не застала Гришу. Она решилась ждать. Но нетерпение, страх, мысль о том, что-то делает отец, мучительное предчувствие не позволяли ей ни минуты оставаться в одном положении: она очень скоро передумала ждать и бегом пустилась домой. У ворот своего дома она столкнулась с Генрихом, шедшим узнать свою участь.

— Ради бога,— сказала она ему с отчаянием,— погодите полчаса! побудьте где-нибудь; не входите! Сейчас должен прийти человек, который принесет деньги.

Генрих повиновался.

— Я приду через полчаса,— сказал он, удаляясь.

— Ты, Настя?— окликнул старик свою дочь.

— Я, батюшка.

— А Генриха еще нет?

— Нет.

Настя не смела войти в комнату отца, помня движение ужаса, которое обнаружил он при подобном покушении.

Она слышала скрып пера в его комнате и тяжелые вздохи. Сердце в ней разрывалось. С каждой минутой ужас, поддерживаемый гибельным предчувствием, возрастал в ней. «Что же нейдет Гриша? что нейдет Гриша?» — судорожно повторяла она и в мучительном нетерпении выбежала к воротам и жадно вглядывалась в лица идущим.

Гриши не было между ними!

Она была так взволнована, что не могла долго оставаться ни в каком положении, и, постояв пять минут у ворот, она как безумная снова кинулась к квартире Гриши.

Тем временем Генрих возвратился, постоял у ворот и вошел в квартиру Ивана Софроныча (Настя забыла или не сочла нужным запереть дверь).

— Ты, Настя? — окликнул опять старик.

— Я — Генрих Кнаббе,— отвечал молодой человек, приближаясь к двери его комнаты.

— Не входите сюда! — торопливо сказал Иван Софроныч.— Я сейчас выйду к вам.

Генрих остановился и стал ждать. Через минуту вышел старик. В руке его было письмо, с адресом, незапечатанное.

— Я не достал денег,— сказал он,— но всё равно: вот письмо, которое оправдывает вас. Прочтите его: по содержанию вы увидите, что должно делать... Прощайте!

Старик хотел идти, но не выдержал и, бросясь на шею к Генриху, рыдая, сказал:

— О, прости, прости меня! Не так думал я встретиться, не так поступить с сыном моего благодетеля!

У двери, ведущей в квартиру, послышались шаги.

— Идите! — сказал старик торопливо.— Не входите сюда!

И он поспешно ушел в свою комнату и долго вертел ключом, как будто замок не повиновался его дрожащей руке.

Вошла Настя — и вскрикнула, увидав Генриха:

— Вы уже были у него? он вас видел? что он вам сказал?

Генрих, пораженный известием, которое сообщил ему старик и которое лишало его всякой надежды, стоял, как приговоренный к смерти, бессмысленно держа в руке письмо, данное ему Иваном Софронычем.

— Письмо?— сказала Настя.— Откуда? чье?.. он вам дал его?

— Да,— машинально отвечал Генрих.

Настя вырвала у него письмо, развернула и прочла следующее:

«Милостивый государь
Август Иванъıч!

Не вините Генриха Кнаббе в том, в чем виноват единственно тот, кого уже теперь нет в живых...»

Настя не читала далее. Она всё поняла; с воплем кинувшись к двери, она толкнула ее с такою силою, что половинки быстро расскочились.

Настя увидела своего отца, который торопливо писал. Подле него лежал пистолет.

— Батюшка, батюшка!

Старик сделал дочери своей грозный жест, как бы приказъıвая молчать и немедленно удалиться, и схватил пистолет.

— Генрих! Генрих! — закричала Настя, кидаясь к отцу.

Генрих быстро вошел.

Они соединили свои усилия, чтоб отвратить страшное намерение, которое старик непременно хотел совершить. Не прошло полминуты, как к ним присоединился третий помощник.

— Гриша! — с упреком воскликнула Настя.— Гриша! вот до чего вы довели своею медленностию! Принесли ли вы деньги?

— Принес!

Слово, произнесенное Гришей, имело действие электрического удара.

В одну секунду лица всех устремились к Грише.

Настя, Генрих и старик обратили к нему жадные глаза, полнъıе сомнения и радости.

— Деньги? так он достал деньги? — проговорил старик.

— Вот они! здесь ровно сорок тысяч!

Деньги были переданы Генриху, который поспешно ушел, не слыша ног под собой.

Руки Насти и Гриши лежали одна в другой, соединеннъıе самим Иваном Софронычем. Шла дружеская беседа, когда у дверей послышался звонок.

Настя впустила гостя: то был камердинер Петр.

— Приехал! — сказал он после первых приветствий.— Вам, кажется, было его очень нужно видеть, так я и поспешил повестить. Не больше часу, как приехал. Переоделся — и марш, а я к вам!

— Спасибо, Петруша! Да теперь уж не нужно: всё уладилось, слава богу, благополучно,— отвечал старик.— Мне лучше быть обязанным вам, дети мои, чем ему,— прибавил он тихо.

— Не нужно, так тем лучше! — заметил Петр.— А у нас в доме большая тревога... уж куда не люблю таких оказий!

— А что такое?— спросил Иван Софроныч.

— Да сегодня в десятом часу у старой барыни пропала шкатулка, в которой было, говорят, пятьдесят тысяч.

Глаза Ивана Софроныча и его дочери невольно и быстро обратились к Грише.

Лицо Гриши выражало величайшее смущение.

ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ

Глава LXI

ПРОПАЖА

Ложась спать, Наталья Кирилловна была поражена восклицанием испуга, которое вдруг вырвалось у Зины. Старуха долго допытывалась, что это значит, и наконец хватилась своего маленького ящика с деньгами, стоявшего на комоде. В минуту по всему дому быстрее молнии пронеслась весть о пропаже денег. На всех лицах появился ужас, а губы как бы самопроизвольно бормотали: «Пропали, пропали». Зина упала к ногам растерявшейся хозяйки дома и, рыдая, говорила:

— Господи! Господи! кто защитит меня? Я одна в доме знала, что тут деньги!

— Да разве я сказала, что подозреваю тебя?— сердито спросила Наталья Кирилловна.

— Но сами посудите, разве чужой мог знать, что тут лежат деньги, и войти в спальню именно в то время, когда вы кушали чай!

— Да, это всё так странно, что я не могу опомниться. Обокрасть меня!

И Наталья Кирилловна содрогнулась.

В эту минуту приживалки с воплями явились в спальню; они били себя в грудь, произнося страшные клятвы и призывая друг друга в свидетели своей невинности.

Наталья Кирилловна отложила допросы и розыски до другого дня, а дворецкому приказала обыскать строго всех людей и дом и поставить вооруженных часовых у своей спальни, а также и у ворот, чтоб вор не мог бегством спастись от наказания.

Никто глаз не смыкал в эту ночь. Лакеи рассуждали между собой. Горничные все собрались к приживалкам

в комнату и слушали их гаданье на кофее и картах. Приживалка с мутными глазами в ночном туалете очень походила на одну из ведьм Шекспира в «Макбете».

— Ну, девушки, что ни говорите, а деньги украдены! — сказала она таинственно, держа перед свечкой чашку с кофейной гущей.

— Да как же! ведь мы и гадаем об этом! — заметила одна из горничных.

— Эх, какая проворная! — с досадой отвечала приживалка.— Украдены — и человеческими руками,— продолжала она с прежней таинственностию.

— Ах, господи! Оборони нас, боже! какие ужасти! — раздались восклицания.

— Кто же украл? — спросила одна из приживалок.

— Кто??..— всматриваясь в гущу, протяжно произнесла приживалка с зобом.— Их украл человек с бородой!

— Уж не Флегошка ли?— крикнула одна из горничных.

— Ну, вот что выдумала! ведь и у Антипа, чай, такая же борода! — с сердцем подхватила пожилая рябоватая горничная.

— Полноте, девушки... слушайте! вор был с бородой и с ножом!

— Ай, ой, ай! — на разные голоса восклицали слушательницы.

Утром, с последней чашкой кофе,— а она была, кажется, двадцатою с ночи,— окончилось гаданье приживалки с мутными глазами.

Утренний чай прошел в тягостном молчании и подавляющей тишине. Поэтому приживалки немало обрадовались, когда вошел дворецкий с умильно-растроганным, лоснящимся лицом. Низко поклонясь Наталье Кирилловне, он донес почтительно, что и дом и люди обысканы.

— И нас, пусть и нас обыщут! — отдавая ключи от своих сундуков и комодов дворецкому, воскликнули все приживалки, кроме Ольги Петровны и Зины.

— Не соваться, когда не с вами говорят! — крикнула Наталья Кирилловна и, обратясь к дворецкому, с горячностью продолжала: — Что же это, наконец! меня уже стали обкрадывать — и даже нет следов!

Речь ее была прервана появлением депутации от горничных, которая, пав на колени, произнесла клятву в невинности; потом явились с тем же лакеи, прачки, кучера.

Зала была полна. Зина выразительно поглядывала на дворецкого, который не без робости начал:

— Осмелюсь доложить, так как вы изволите по справедливости требовать...

— Говори скорее! что такое?— крикнула Наталья Кирилловна.

— Осмелюсь доложить, что вчера никто из посторонних не входил в дом, кроме...— дворецкий поперхнулся и, бросив на Зину умоляющий взгляд, прибавил: — Кроме-с Григория Михайлыча.

Наталья Кирилловна быстро спросила:

— Ну, что же тут такое?

В это время Зина слабо вскрикнула: «ах!»

Наталья Кирилловна бросила на Зину такой взгляд, что Зина затрепетала. Медленно и гневно отвела старуха глаза от своей любимицы и, обратясь к дворецкому, спросила:

— К кому и зачем он приходил вчера?

— Последнее время он очень часто изволил навещать Зиновью Михайловну! — язвительно заметила Ольга Петровна.

Наталья Кирилловна стукнула об пол палкой и сказала Зине:

— Что это значит, сударыня? а? Я выгнала его, запретила ему переступать порог моего дома, а вы, вы...

— Прикажите всем уйти: я всё вам открою! — отчаянным голосом сказала Зина своей благодетельнице, которая заметно вздрогнула и нетвердым голосом отдала приказание всем удалиться.

Но было поздно: имя Гриши было у всех на языке. Ольга Петровна первая произнесла утвердительно:

— Это уж дело их рук!

Когда Зина осталась одна с своей благодетельницей, то некоторое время, кроме рыданий, ничего не было слышно. Наталья Кирилловна, казалось, медлила узнать тайну Зины; но наконец она тихо и с трудом произнесла:

— Говори скорее!

— Что могу я сказать в свое оправдание! Я, я виновата во всем!

И Зина упала на колени перед Натальей Кирилловной, которая с испугом вскочила. Зина продолжала отрывисто, перемешивая слезами и воплями свои слова:

— Я... я хотела, чтоб ваш племянник испросил у вас прощенье, я уговаривала его... я, несчастная! я устроила

свидание в вашей спальне и провела его туда, думая, когда вы...

— Молчи! замолчи! это невозможно! — упав в кресла, проговорила Наталья Кирилловна.

В ту минуту дверь растворилась, и вошел Тавровский с тем самым ящиком в руках, который составлял предмет розысков.

Наталья Кирилловна радостно протянула к нему руки, воскликнув:

— Это он! где, где ты его нашел?

— Я вчера взял его из вашей спальни для шутки, чтоб посмотреть, хватитесь ли вы его, и дать вам урок — никогда не хранить денег в таких маленьких ящиках,— целуя руку у Натальи Кирилловны, отвечал Тавровский.

Он поставил ящик на стол. Наталья Кирилловна дрожащими руками раскрыла его и, свободно вздохнув, с упреком сказала:

— Можно ли делать такие вещи! Ты не знаешь, какого беспокойства наделал во всем доме.

— Виноват! но вы ведь знаете меня.

— Как же никто не видал, когда ты вошел?

— Я вошел через сад, у меня свой ключ от калитки,— я думал, что вы в своей комнате, заглянул в окно — никого! Я заметил этот ящик, знал, что в нем деньги, и мне пришла мысль пошутить.

— Хороши шутки! ты чуть не убил ее.

И Наталья Кирилловна указала на Зину, которая в продолжение их разговора находилась в лихорадочном состоянии.

Тавровский, смеясь и глядя на Зину, сказал:

— Чего вам было пугаться так? деньги нашлись!

— Ах, господи! неужели в самом деле меня стали бы подозревать, если б они пропали?— в отчаянии воскликнула Зина, заливаясь слезами.

— Павел! оставь ее: она и так была очень встревожена! — с упреком сказала Наталья Кирилловна и, обратясь к Зине, продолжала:— Полно, глупая! ну кто тебя станет подозревать! Павел Сергеич пошутил. Он очень хорошо знает, что если я воспитала тебя, то никакая низкая вещь не будет тебе доступна.

— О, я оттого так дорого и ценю каждое ваше слово!

И Зина целовала руку у Натальи Кирилловны.

Через несколько часов Тавровский, встретив Зину одну в комнате, сказал ей:

— Вы удивительная актриса! как вы хорошо разыграли роль обиженной и удивленной!

Зина, смеясь, отвечала:

— Я ужасно боялась, чтоб в доме не узнали, каким образом исчезли эти деньги, и страх...

— Вдохновил вас! но вы поступили так благородно, так смело, что я никак не ожидал от вас. Скажите мне откровенно, вы имеете виды на Гришу? Но я должен вас предупредить: у вас есть соперница, и опасная.

— Вы знаете очень хорошо, что я никого в жизни более не полюблю! — сердито отвечала Зина.

— Какое постоянство!

— Да, оно очень смешно в бедной неопытной девушке.

— Бедной — я согласен; что до неопытности...

— Тогда вам более еще чести, что вы могли воспользоваться расположением...

— Зиновья Михайловна,— перебил Тавровский выразительно,— я вас просил не упоминать мне никогда о прошлом!

Зина изменилась в лице, но очень равнодушно произнесла:

— И всегда сами заставляете. С тех пор как вы сделались женихом, я потеряла всякую надежду.

— А до этого вы ее имели?— смеясь, спросил Тавровский.

— Когда женщина любит и своей любви принесла всё в жертву...

— О! да я вижу, что вы сегодня в романическом настроении духа! — воскликнул Тавровский и ушел.

Зина так стиснула тонкие свои губы, что они побелели; а глаза ее сверкали страшно.

Одной минутой позже, и тайна о пропаже денег была бы гласна; но благодаря участию Тавровского только три лица знали ее: Зина, Гриша и Тавровский. Вот как случилась пропажа. Дав слово достать денег Насте, Гриша надеялся занять их у Тавровского, но он, к несчастью, уехал из Петербурга. Медлить не было возможности, и Гриша решился идти к Наталье Кирилловне и просить у ней своих собственных денег, оставленных ему отцом. Он обратился к Зине, чтоб устроить свидание; но она своей находчивостью придумала легчайшее средство. Она наговорила Грише, что Наталья Кирилловна так сердита на него, что не только не даст ему денег, но даже не за-

хочет видеть его, и предложила следующий план: у Натальи Кирилловны ящик с деньгами стоит в спальне,— Зина проведет туда Гришу; он возьмет деньги, а через несколько дней, когда Павел Сергеич приедет, деньги опять будут положены на прежнее место; до того же времени Наталья Кирилловна верно их не хватится, потому что никогда не берет денег из того ящика.

— Но одно, Гришенька!.. ваше честное слово: если что случится, тотчас признаться во всем, а про меня сказать, что вы меня обманули,— будто бы желаете просить прощения у своей тетушки.

Такое условие сделала Зина с Гришей, который готов был тогда решиться на всё. Зина знала честность его характера и решилась воспользоваться этим случаем, чтоб навсегда очернить Гришу в глазах Натальи Кирилловны, которая, по расчетам Зины, может быть, переменит завещание и деревню, завещанную Грише, назначит ей. Зина тем более была уверена в успехе этого плана, что Тавровский мог долго не приехать или не так скоро достать сумму, которая была нужна Грише.

Несмотря на вмешательство Тавровского, Наталья Кирилловна, может быть, не оставила бы так предположение своей любимицы насчет Гриши, если бы не важная новость, сообщенная ей Тавровским: он объявил, что невеста его лишилась отца и едет в Петербург.

— Я надеюсь, тетушка,— заключил Павел Сергеич,— что в вашем доме найдется место для будущей вашей племянницы.

— Павел, Павел! — в отчаянии воскликнула Наталья Кирилловна, начинавшая уже в последнее время надеяться, что ее племянник отложил намерение жениться.— Неужели ты твердо решился на такой неблагоразумный шаг в твоей жизни?

— Какое неблагоразумие? я вас не понимаю!

— Как же! ты сам сознался, что она дочь цыганки, без всякого образования. Боже мой, я не узнаю тебя!

— Тетушка, к чему нам возобновлять старые неприятности! Я дал ей слово, и женюсь.

— Помилуй! разве нет примеров, что люди твоего круга увлекаются, но им прощают, если они не держат в таких случаях своего слова.

— Вспомните, что теперь за нее некому заступиться! — с достоинством отвечал Тавровский, у которого бывали

минуты, когда он понимал обязанности и достоинство человека.

Он был тверд в своем решении, и ни слезы, ни мольбы не могли его поколебать. На рыдание своей тетки он твердил одно:

— Если вы не желаете ее видеть, я еду в Москву, женюсь там и буду жить с своей женой.

— Павел, Павел! я из любви к тебе всё это говорю. Я думала, что женитьба твоя возвысит еще более наш дом; а теперь!!

Тавровский иронически слушал длинные рассуждения Натальи Кирилловны в этом роде, пока она наконец сказала:

— Я представила тебе все невыгоды этого неровного брака. Ты стоишь на своем, и мне остается приготовиться для встречи твоей невесты, потому что я не потерплю, чтоб будущая твоя жена поселилась бог знает где. Всё будет готово; я сама обо всем позабочусь.

Тавровский поскакал навстречу своей невесте, оставив весь дом Натальи Кирилловны в тревоге.

Зина, разумеется, первая узнала о скором приезде гостьи и так изменилась в лице, что Наталья Кирилловна с удивлением спросила:

— Что с тобой?

— Теперь мои заботы и угожденья не будут вам нужны: она будет за вами ходить! — печально произнесла Зина.

— Я так стара, что и твои заботы обо мне не будут лишними.

— О, дай бог, чтоб она вас оценила! — с увлечением воскликнула Зина, и, целуя руку своей благодетельницы, она продолжала: — Я давно приготовилась все заботы передать вашей будущей племяннице; но поверьте, что готовность угождать вам так глубоко укоренилась во мне, что, кажется, я не вынесу этого!

И Зина заплакала.

— Полно! полно! еще соскучишься ходить за мной! — ласково замечала Наталья Кирилловна.

В день приезда невесты дом Натальи Кирилловны принял торжественный вид. Его осветили весь, лакеев нарядили в парадные ливреи, приживалок — в лучшие их платья. Сама Наталья Кирилловна оделась нарядно. Одна Зина надела простенькое белое платье и своему лицу старалась придать наивное и кроткое выражение; но

злобная улыбка каждую минуту расстроивала маску. Казалось, никто с таким нетерпением не ждал приезда невесты, как она. Лихорадка по временам била ее, и она не могла скрыть своего гнева, когда, прислушиваясь к разговорам приживалок, замечала, что они говорили о невесте Павла Сергеича как о будущей хозяйке дома.

Настала наконец нетерпеливо ожидаемая минута. Дорожная карета подъехала к крыльцу, и Тавровский, приехавший за десять минут ранее, высадил Любу из кареты и ввел в будущий ее дом.

Наружность Любы очень изменилась. Она выросла заметно. Кроткая грусть и матовая бледность делали ее интересною. Открытая улыбка, нежность и мягкость взгляда в ее черных больших глазах, застенчивые манеры — всё вместе вновь пробудило начинавшую уже потухать любовь в усталом сердце Тавровского.

Легкая краска испуга покрыла щеки Любы, когда она переступила порог богатого дома. Приживалки кинулись было к ней целовать ее руки и плечи, жалобно пища:

— Полюбите, обласкайте нас, сирот!

Тавровский устранил их и повел Любу к Наталье Кирилловне, которая стояла посреди залы в величественной позе, упираясь одной рукой на палку, а локоть другой ее руки был поддерживаем Зиной.

Наталья Кирилловна поцеловала в лоб сконфуженную Любу и нетвердым, но торжественным голосом произнесла:

— Дай бог, чтоб мы полюбили друг друга!

И, взяв гостью за руку, она повела ее через анфиладу комнат в гостиную, где и посадила на диван. Начались представления. Наталья Кирилловна, указывая на Зину, сказала:

— Вот, рекомендую вам мою воспитанницу. Она признательная девушка, и я желала бы, чтоб вы приласкали ее.

Зина подошла к Любе и сделала почтительный реверанс, потупив глаза; но губы ее дрожали, и улыбка презрения передергивала их.

— Проси же, чтоб она тебя не оставила: ведь теперь она будет ваша хозяйка! — заметила Наталья Кирилловна.

Зина вздрогнула и что-то пробормотала.

— Вот, также рекомендую вам! — начала было Наталья Кирилловна, указывая на Ольгу Петровну, у кото-

рой уши запрыгали, лицо всё побагровело, задергалось; дрожащим голосом она перебила свою благодетельницу:

— Честь имею рекомендоваться! Я вашего жениха еще ребенком знала!

И Ольга Петровна фыркнула громко — знак, что она была в сильном гневе, зачем не ее первую отрекомендовали.

— А я так нашему красавчику всё из бумаги лошадок вырезывала, и он такой был ласковый. Впрочем, меня все дети очень любят!— мотая головой, перебила Ольгу Петровну приживалка с зобом.

— Это всё бедные и одинокие; я им дала угол у себя,— сказала Наталья Кирилловна.

— Можно сказать, мы облагодетельствованы с ног до головы; каждая тряпка на нас есть щедрость добродетельной женщины! Мы в совершенстве имеем приют в этом доме,— опять протараторила мерно и сиповатым голосом приживалка с зобом и мутными глазами и тотчас была подхвачена хором всех товарок:

— Мы все молим бога за нашу благодетельницу!

Для Любы слишком тяжела была эта сцена; она едва сидела, не зная, куда глядеть: со всех сторон устремлены были на нее глаза разного цвета и выражения. Тавровский понял ее умоляющие взгляды и под предлогом усталости испросил у Натальи Кирилловны позволение Любе уйти в свою комнату, куда и проводила ее сама Наталья Кирилловна. Зина осталась одна с Любой и по уходе Натальи Кирилловны кинулась к ней на шею и, целуя ее, со слезами сказала:

— Защитите хоть вы меня здесь! У меня нет ни отца, ни брата; я из милости взята в дом. О, я самая несчастная!

Люба была тронута отчаянием Зины, которая с первого взгляда не очень-то ей понравилась; но быстрые глаза Зины в эту минуту были отуманены изобилием слез. Люба спросила ее с участием:

— Что же я могу сделать?

— Ах, ваше одно внимание ко мне — и участь моя изменится. Если б вы знали, что за люди окружают добрую Наталью Кирилловну; они даже ссорят ее со всеми родственниками.— Голос Зины понизился, и она, глядя на дверь, прибавила:— Вот, смотрите, за мной уж подсматривают.

И точно, дверь скрыпнула и лягушечья физиономия Ольги Петровны показалась.

Зина, уходя, шепнула Любе:

— Вот самая страшная женщина в доме; берегитесь ее и не говорите ей ничего! она всё передает навыворот Наталье Кирилловне.

Но любезная улыбка уже дрожала на ее губах, когда, удаляясь, она встретилась лицом к лицу с Ольгой Петровной, которая подошла к Любе и сказала:

— Вы, я думаю, очень устали после дороги; всё ли вам хорошо? не хотите ли чего-нибудь — чаю или кофею?

— Нет, благодарю вас!

Ольга Петровна приблизилась к Любе и, глядя на дверь, таинственно и шепотом сказала:

— Я пришла вас предуведомить, что лицо, сейчас бывшее у вас, вертит всем домом; берегитесь ее: она способна на всякое черное дело!

Люба с удивлением слушала.

— Спокойной ночи! усните хорошенько! — громко сказала Ольга Петровна и вышла из комнаты.

Люба не успела вздохнуть от двух визитов, как дверь вновь скрыпнула: приживалка с мутными глазами, высунув одну головку и мотая ею, как алебастровый зайчик, с приторной улыбкой сказала:

— Позвольте взглянуть на нашу красавицу?— И, не дождавшись позволения, вошла в комнату, продолжая напевать сиповатым голосом:— Можно сказать, будет парочка: оба красавцы, молоды, добродетельны, щедры... и... и... и...— Приживалка приостановилась и через минуту поспешно продолжала:— Я могу сказать, что любима всеми. Вот на днях я еще встретила Зюзиных: уж как меня просили погостить к себе! и барышни тоже, они такие милые, ласковые и в совершенстве, можно сказать, умные, все науки прошли — и арифметику, и грамматику, даже такие худенькие чрез науки,— и они уж как упрашивали меня! Но как же мне было оставить дом, когда такого счастья и, можно сказать, торжества мы ждали! Я признательна: мой батюшка и матушка были такие, зато их все любили и ласкали.— И приживалка чмокнула в плечо Любу и сказала:— Мы все вас покорно просим не оставить нас вашими милостями; мы и малым будем довольны. Извините, что обеспокоила вас, желая лично засвидетельствовать от всех нас глубочайшее почтение и пожелать вам спокойной ночи после такой дальней дороги.

И приживалка, кланяясь до самой двери, наконец скрылась.

Люба, усталая и удивленная, осталась одна в доме, где не только стены, но и все живущие были для нее совершенно новы.

Любу нисколько не изменило пребывание в Москве, куда привез ее отец, чтоб дать ей, по желанию Тавровского, светское образование. Она прожила там несколько месяцев, но провела их большею частию у постели больного отца, а остальное время с учителями, которые решительно не могли ей внушить никакой светскости. И Люба осталась, как она была. Разумеется, любовь, потеря отца, другая обстановка жизни — всё это настолько на нее подействовало, что оригинальное ее воспитание не могло обнаружиться резко. Цыган был при ней; на него заметно легла печать пребывания в столице. Он принял все манеры самостоятельного человека, сосредоточенного в себе. Его туалет, гордая осанка вовсе не шли к роли лакея, каким его приняли в доме Натальи Кирилловны,— и он, казалось, не желал изменить ее.

Глава LXII

ОТКРЫТИЕ

Наталья Кирилловна, при всей своей гордости, не могла не поддаться чувству, так естественному в женщине, именно — порисоваться перед Любой. Люба иначе ее не видала, как окруженною толпой приживалок, рассыпавших щедро похвалы доброте и знатности своей благодетельницы. Тон голоса Натальи Кирилловны с Любой был покровительный; она проповедовала ей о неслыханном счастии породниться с таким знатным домом.

— Мой племянник мог иметь невесту не только из первых красавиц знатного дома, но и богачку. Верно уже так было угодно богу! — вздохнув, замечала Наталья Кирилловна.

— Да уж он такой красавчик, что все, кажется, из нашей сестры одного его мизинчика не стоим! Он в совершенстве, можно сказать, один из первых красавцев во всем свете,— подхватывала приживалка с мутными глазами.

Зина, как бы по наивности, рассказала множество проказ Павла Сергеича, и, между прочим, как от него сошла

с ума дочь одного бедного чиновника, жившего в одной улице.

Для Любы были тягостны такого рода беседы. Она не произносила ни слова, с удивлением слушая эти толки и каждый раз рассматривая коллекцию зверообразных лиц приживалок с таким видом, как будто в первый раз она их видит.

— И глупа даже! хоть бы одно слово! — с негодованием восклицала Наталья Кирилловна по уходе ее.

— Ей говорят, что какую ей честь сделал Павел Сергеич, а она хоть бы приласкалась к вам! — с ужасом восклицала та же приживалка с мутными глазами.

— Да она ни с кем, кроме как с цыганом, кажется, не говорит, и то всё на их языке! — заметила Зина.

— Как угодно Павлу Сергеичу, а я удалю из своего дома цыгана,— сказала Наталья Кирилловна.

— Да они ведь все конокрады: надо конюшни крепче запирать! — подхватила приживалка с зобом и мутными глазами.

— Даже совестно! придешь к ней в комнату, а он сидит перед ней и не встает! — опять сказала Зина, поглядывая на Наталью Кирилловну, которая, стукнув палкой, сказала:

— Позвать его сюда!

В минуту приказание было исполнено, и цыган гордо вошел в комнату, где, приняв важную позу, сидела в креслах Наталья Кирилловна. Он поклонился только ей одной, и то без особенного почтения. Приживалки стали перешептываться; но голос Натальи Кирилловны заставил их замолчать. Она сказала презрительно:

— Любезный, я узнала, что ты заведуешь делами Любови Алексеевны.

— Да.

— Я тебя устраняю, и ты должен передать теперь все бумаги и документы моему управляющему; она теперь будет под моим надзором.

— Я не могу этого сделать и ни одной бумаги не дам! — отвечал цыган.

— Как! — с горячностью воскликнула Наталья Кирилловна.— Я? мне! ты не отдашь ее бумаг? Да я еще хочу знать, есть ли у Любови Алексеевны что-нибудь?

— Деревня.

— Как говорит! даже досадно слушать, точно не видит, что с барыней! — заметила Зина вполголоса.

Но Наталья Кирилловна услыхала и отвечала ей:

— Деревенщина! — и, обратясь к цыгану, повелительно продолжала:— Любовь Алексеевна у меня в доме, и я требую, чтоб ее дела были сданы мне, слышишь: мне на руки!

— И этого не могу!

— Да ты с ума сошел! — стукнув палкой об пол, крикнула Наталья Кирилловна.— Ты, кажется, вообразил, что Павел Сергеич имел виды на ее деревушку, сватаясь за Любовь Алексеевну! ха-ха-ха!

И хор приживалок подхватил смех Натальи Кирилловны.

Цыган обводил глазами всех, и когда смех унялся, он громко сказал:

— Никто, даже сама Любовь Алексеевна, не знает своего состояния.

— Неужели каких-нибудь пятьсот душ ей трудно сосчитать! — язвительно заметила Зина.

— Ее состояние не в душах,— отвечал цыган.

— В чем же? деньги есть?— спросила Наталья Кирилловна с достоинством.

— Да.

Наталья Кирилловна заметно пришла в волнение, мучимая желанием узнать скорее сумму,— но боялась уронить свое достоинство. Зина, эта догадливая фея, тотчас поняла желание своей благодетельницы и сказала:

— А сколько тысяч? в ломбарде или в частных руках?

— Несколько миллионов! — протяжно произнес цыган, и презрительная улыбка мелькнула на его губах, когда Наталья Кирилловна встрепенулась, приживалки ахнули, повторяя: «Миллионщица, миллионщица!», а Зина, побледнев, с ужасом поглядела на него и как бы невольно произнесла:

— Это неправда!

Цыган вынул из кармана какие-то бумаги и показал Наталье Кирилловне. Зина, вся дрожа, глядела на них через плечо Натальи Кирилловны, и пот крупными каплями выступал на ее крутом лбу.

— И в твоих руках такие суммы! даже Любовь Алексеевна не знает! — воскликнула почти с ужасом Наталья Кирилловна.

— Она знает, что у ней есть деньги, но мало обращает на них внимания. Отец ее, умирая, сделал меня своим душеприказчиком и опекуном всего имения его дочери.

— Какое безрассудство! мальчишке! — воскликнула Наталья Кирилловна, но остановилась, брови ее сдвинулись, и она окинула глазами толпу приживалок, потому что кто-то из них, увлекшись ее примером, подхватил:

— Цыгану!

— Это что? молчать! вы, кажется, одурели! вмешиваетесь в барские дела! — крикнула Наталья Кирилловна.

Все приживалки повесили носы.

Наталья Кирилловна обратилась к цыгану и более мягким голосом, чем прежде, спросила его:

— Ты очень привязан к Любови Алексеевне?

— Да.

— Грех, великий грех во зло употреблять доверенность умирающего человека, который оставляет сироту. О, это черное, низкое дело! — наставительно сказала Наталья Кирилловна.

Цыган молчал.

— Ну а сколько миллионов? три, четыре? — спросила Наталья Кирилловна, наскучив выжидать вопроса своей догадливой Зины, которая словно пораженная громом стояла за ее креслом.

— Отец Любови Алексеевны еще давно имел большой капитал, потом он продал всё имение свое, исключая одной деревни, и даже не трогал процентов. А этому лет пятнадцать.

— Сколько же, сколько же?— потеряв всякое достоинство, нетерпеливо говорила Наталья Кирилловна.

— Одиннадцать миллионов! — громко произнес цыган.

Зина вздрогнула. Наталья Кирилловна свободно вздохнула, а приживалки радостно начали креститься и шептались между собой:

— Вот поди узнай, что такая богачка,— выглядит просто стотысячной невестой!

— Не всё то золото, что блестит!

И так далее; шепот продолжался, пока Наталья Кирилловна была погружена в какое-то раздумье. У ней в голове быстро всё уладилось: как она вновь поднимет этими деньгами свой дом, выкупит имения, заложенные или запроданные. Улыбка озарила ее строгое лицо, и она очень ласково сказала цыгану:

— Хорошо ли тебе, любезный, у меня в доме? ты спроси, что тебе будет нужно...

Цыган поклонился и вышел.

Приживалка с мутными глазами выступила из толпы вприпляску, подперев руки в бока и сиплым голосом напевая:

— Миллиончики, голубчики! тра-ла-ла!

— Чему ты радуешься? а? — спросила, смеясь, Наталья Кирилловна.

— А как же не радоваться! надо веселиться: свадьба в доме!

И приживалка опять завертелась, напевая.

Все смеялись, исключая Зины, которая бессмысленно глядела на всех.

Наталья Кирилловна в этот день встретила Павла Сергеича очень любезно и, поцеловав его, погрозила ему пальцем, сказав:

— У-у-у, какой хитрец! ишь как скрывал, я не ожидала от тебя таких расчетов!

— Что такое?— не без удивления спросил Тавровский, который решительно не знал о миллионах своей невесты.

— Тс! идет твоя невеста! — отвечала Наталья Кирилловна и, к удивлению всех приживалок, сама пошла к ней навстречу и, поцеловав ее, сказала:— Что ты всё сидишь одна?.. Павел Сергеич, я надеюсь, что могу ее назвать так, как свою дочь?

— Она верно будет очень счастлива! — заметил Тавровский.

— Не хочешь ли ты посмотреть Петербург? тебе надо быть веселой, а ты всё такая печальная! Впрочем, недавняя потеря!.. это даже ей делает честь, что у ней такое чувствительное сердце.

— Можно сказать, что кто взглянет на Любовь Алексеевну, то уж не скажет, что она злая; и взаправду говорят, что глаза есть зеркало души! — протараторила приживалка с мутными глазами.

— Да, уж у кого злые глаза, то и душа дурная! — подхватила Ольга Петровна.

И глаза ее встретили презрительный взгляд Зины, стоявшей позади Натальи Кирилловны, которая, потрепав по щеке Любу, сказала:

— Да, у ней глазки хорошенькие! — и прибавила:— Я знаю, отчего ты скучаешь: хочется скорее свадьбы!

Люба покраснела, сконфузилась и выронила из рук носовой платок. Она хотела его поднять, но Наталья

Кирилловна удержала ее и, обратясь к Зине и указывая на платок палкой, повелительно сказала:

— Подыми!

Зина сделала вид, что не слышит, и повернулась назад; но Наталья Кирилловна коснулась ее плеча палкой и сердито сказала:

— Ты слышишь, я тебе говорю: подыми!

Зина закусила губы и не двигалась с места. Люба и Тавровский желали прекратить сцену; но Наталья Кирилловна не позволила им и, стукнув палкой об пол, грозно сказала Зине:

— Я тебе говорю: подыми платок Любови Алексеевны!!

Тишина воцарилась в зале; все смотрели на бледную Зину и гордо стоявшую перед ней Наталью Кирилловну. Члены Зины, казалось, лишились способности гнуться, и она с трудом наклонилась, чтоб поднять платок. Наталья Кирилловна, следившая за ней, толкнула ее палкой в спину, сказав:

— Согнись пониже, пониже!!

Зина очутилась на коленях перед Любой и, подавая ей платок, так взглянула на нее, что та попятилась назад.

— Что это значит?! Вам, кажется, показалось низким поднять платок Любови Алексеевны? а?— с горячностью спросила Зину Наталья Кирилловна.

— Я... я потому не могла этого скоро сделать, что, побежав к вам с лестницы, ушибла колено,— невнятно произнесла Зина и, морщась и прихрамывая, вышла из комнаты под радостно-насмешливые взгляды приживалок.

— То-то! я бы посмотрела, кто осмелился бы оказать невнимание моей племяннице в моем доме...

И Наталья Кирилловна грозно обвела глазами своих приживалок, которые старались умильно-почтительными улыбками выразить готовность для угождений идти в огонь и воду...

Зина, прибежав в свою комнату, предалась бешеному отчаянию. Она била себя в грудь, рвала на себе волосы; но через полчаса, как ни в чем не бывало, она вертелась уже перед зеркалом, примеривая новое платье. Вечером в тот же день она в девичьей разыграла роль Натальи Кирилловны с одной из молоденьких горничных, и еще с бо́льшим эффектом, хотя и без помощи палки. Потом Зина обошла и обнюхала весь дом. И в ее комнате беспре-

станно стояли на коленях, прося прощенья, то лакей, то кучер, то прачка.

Приживалки более ни о чем не могли толковать несколько дней сряду, как о несметном богатстве Любы.

— Говорят, что у ней бабушка была, знаете, колдунья: ну, известное дело — цыганка. Она свою душу в совершенстве, можно сказать, отдала нечистому за то, чтоб вот всё превратилось в золото. Она и насыпала два мешка круп и отдала своей дочке, велела беречь и умерла; а дочь отдала мешки своей дочери, то есть нашей невесте, и та как развяжет мешки, думая: с крупой, а там всё золото! Она...

Зина тихонько подкралась, прослушала повествование приживалки с мутными глазами и, ударив ее по плечу, крикнула:

— Ну что вы чушь-то говорите!

Приживалки все вскрикнули, а рассказчица обидчиво сказала:

— Я говорю, что мне сказали! Я не умею сочинять турусы на колесах.

— Оттого что вы глупы! ну просто деньги эти накрадены табором, а ее отец обокрал цыган,— вот и всё. Вот тебе и важная фамилия: роднится с цыганками!.. ха-ха-ха!.. А небось на бедной, вишь, ее племяннику никак нельзя жениться!

Зина в минуты гнева выбалтывала самые сокровенные свои тайны. Ольга Петровна, как опытный охотник, всегда зорко сторожила добычу и часто в такие минуты подстрекала Зину.

— И была бы хороша собой, умна! а то просто пень: всё молчит! — заметила Ольга Петровна.

— Да просто проигрался в пух и представился, что влюбился, а сам для денег! — отвечала Зина.

— Да она могла его и приколдовать: ведь цыганки все знают, что подсыпать! — заметила приживалка с мутными глазами.

— А вот Зинушка и не цыганка, а, помните, Павлу Сергеичу что-то сыпала в кофей,— смеясь, сказала Ольга Петровна.

— Я сыпала? я?

— Да, я всё видела, да молчала.

Зина видела, что отпираться нельзя, и презрительно сказала:

— Я его потчевала, чтоб он меня оставил в покое. Я знала, что ему деньги нужны. Да я его еще угощу!! — грозно прибавила она.

— Ну что вы ему можете сделать?— стараясь как можно более придать своему вопросу простодушия, спросила Ольга Петровна.

— Да я, если захочу, то свадьбу расстрою: я...

Зина вдруг остановилась, быстро оглянула своих слушательниц и принужденно и громко засмеялась, так что все вздрогнули.

— Ха-ха-ха! вот уши-то развесили! я им говорю разный вздор, а они, кажется, верят... Ха-ха-ха!

Напрасно Зина смеялась, вывертывалась. Ольга Петровна слово в слово передала этот разговор Тавровскому, который принял свои меры. Он просил Любу не пускать Зину к себе и не говорить с ней. Люба и сама этого желала, потому что Зина просто пугала ее.

Глава LXIII

БЕНЕФИЦИАНТКА

Сколько тревог и волнения для актрисы в день ее бенефиса! Коколольчик в ее квартире беспрерывно раздается, являются лакеи с пакетами, с которых не без волнения срывается бенефицианткой печать, и улыбка удовольствия или презрения выражается на ее озабоченном лице. В это утро нет минуты для нее свободной: примерить костюм, заказать ужин, закупить вина, разослать билеты лицам, пользующимся ее уважением. Каждый час приносятся известия о распродаже билетов в кассе, и если толпа большая у окна, то даются тайные инструкции увеличить цену на билеты.

В уборной бенефициантки множество народу, чай, как разливное море, льется в уста всех. Бутылки с вином, пирог, конфекты стоят на окнах уборной. Если в пьесе нужно угощение, то бенефициантка считает обязанностью подать его настоящее, а не картонный пирог и не пустую бутылку.

Был бенефис одной актрисы; театр был полон; бенефициантку встретили продолжительным рукоплесканием, стучанием палками и ногами.

После первого акта бенефициантка подрумянивала се-

бе щеки у трюмо. Уборная ее была большая комната, меблированная очень хорошо; в углу сидел за столом мрачного вида старик, раскладывавший по кучкам деньги, вынимаемые из ридикюля. Руки его слегка дрожали, а глаза блистали каким-то странным в его лета огнем. Он вслух считал деньги и, отделив несколько кучек серебра и ассигнаций, сказал:

— Ровно тысяча! это верно: три раза пересчитывал.

— Ужасно дешево пущен раек! — заметила бенефициантка, пристально всматриваясь в себя. Держа в руке румяны, она в нерешительности то приближала руку к щеке, то удаляла ее.

— Как! дешево? — с удивлением спросил мрачного вида старик.

— Ну да! сами сказали, что половина народу ушла назад.

— Оно так; но если б вы слышали, как сначала публика была недовольна. Один пожилой господин так раскричался!..

— Дурак! он, верно, думает, что с него одного возьмут такую цену! Ну и не взял билета? Чего он хотел — ложу?

— Креслы!

Бенефициантка засмеялась и сказала:

— Чем дороже пустить билеты в бенефис, тем более можно надеяться на полный сбор, потому что каждому льстит, что он был в бенефисе. Да если бы пустить дешево в кассе, тогда что бы присылали на дом за билеты! — так рассуждала бенефициантка, а мрачного вида старик с удовольствием слушал ее, потирая руки.

В уборную вбежало несколько актрис и актеров с поздравлениями по случаю хорошего приема бенефициантки публикой. Но при виде денег все обступили стол и осыпали вопросами мрачного старика: «Сколько очистилось? Почем был пущен 1-й ярус лож?» — и так далее.

— Очистилось четыре тысячи, да на дому до трех тысяч,— небрежно отвечала бенефициантка.

Некоторые актрисы выразительно перемигнулись между собою. Один из актеров, в испанском плаще и с наклеенными усами, сказал:

— Вот это бенефис! не то что у Лапотниковой: всего было сто человек... и с детьми-то ее!

— Своих приплатила по расходу пьесы... ха-ха-ха! — заметила молоденькая актриса.

И смех сделался общим, но от стука в дверь уборной замолк, и многие из присутствующих закричали:

— Войдите, войдите!

— Любская здесь одевается? — раздался сиповатый, дрожащий голос за ширмами, которыми была отгорожена дверь уборной.

— Здесь! здесь! — отвечали все в один голос, и любопытство озарило их лица.

— Можно войти? ее нет здесь? — опять раздался сиповатый голос.

— Я здесь! — отвечала бенефициантка, выступая вперед.

Из-за ширм показалось лицо, знакомое уже читателям: то был Остроухов, который, очутясь в ярко освещенной комнате, с минуту озирался кругом, ничего не видя.

— Ты, кажется, меня не узнаешь,— подходя к Остроухову, сказала бенефициантка.

Немудрено, что Остроухов не вдруг узнал Любскую. Между той, которая оставила город NNN, и теперешней почти ничего не было общего. Года не сделали большого влияния на красоту ее. Нет, она, казалось, в эту минуту была во всем блеске. Но выражение лица до того изменилось, что Остроухов глядел во все глаза на Любскую, как бы стараясь отыскать в ее лице хотя одну черту, глубоко запечатлевшуюся в его памяти.

— Неужели я так изменилась? — ласково и в волнении спросила Любская.

Остроухов, как бы узнав ее теперь только, радостно кинулся к ней, обнял ее и с жаром поцеловал в щеки, в губы и в лоб, бормоча:

— Так это ты? Наконец-то я тебя опять вижу!

Любская вырывалась из его объятий, сердито крича:

— С ума сошел! дурак! что с тобой?

Присутствующие с ужасом глядели на Остроухова, которого оттолкнула Любская, крича своей горничной:

— Белил, румян!!

Остроухов пугливо вытирал рукой губы и с ужасом смотрел на румяны, как будто бы то была кровь. Потом он робко взглянул на Любскую, озабоченно забеливавшую свое лицо.

Остроухов нашел, что в красоте Любская очень много выиграла; может быть, костюм и сильное освещение способствовали немало этому. Но он не мог не сознаться, что

это не та Любская, с ласковым взглядом, с кротким голосом. И, как бы рассуждая сам с собой, он произнес, глядя на Любскую:

— Да, много, много изменилась!

— Небось, ты мало изменился! — смеясь, отвечала Любская.

— Что я? Но знаешь ли: ведь ты лучше стала!

На лице Любской заметно показалась улыбка гордости и самодовольствия, и, продолжая подрумяниваться, она сказала:

— Лучше не лучше... а знаешь ли, ты попал на мой бенефис?

— Я бы, может быть, и не так скоро нашел тебя, если бы не твой бенефис. Я спал у себя и слышу впросонках: читают афишу за перегородкой... прислушиваюсь: твое имя. Я вскочил да сломя голову! взял извозчика, говорю... Ах, я и забыл его... дай-ка мне гривенник!

Любская обратилась к мрачному старику, продолжавшему считать деньги, и сказала:

— Дайте ему гривенник!

Мрачного вида старик злобно посмотрел на Остроухова и грубо кинул ему гривенник по столу.

— Скажи, зачем ты приехал в Петербург? и каким образом? — спрашивала его Любская.

— Я приехал для тебя! — отвечал печально Остроухов.

Колокольчик, раздавшийся у двери уборной, привел всех в волнение. Все побежали из комнаты. Любская, подбирая шлейф своей мантии, сказала Остроухову:

— Для меня?? зачем же? скажи-ка!

— Нет, после, после! — отвечал в волнении Остроухов.

— Какие глупости! да разве что-нибудь ужасное? Я, право, не знаю ничего, что могло бы меня огорчить. Мы так давно не видались, у меня там никого нет близких!..— в недоумении говорила Любская, как бы стараясь разгадать причину приезда Остроухова, и нетерпеливо прибавила: — Да говори: я ведь не ребенок, как была прежде.

Остроухов сначала не решался, но при повелительном жесте Любской он нагнулся к ее уху и шепнул что-то. Любская быстро отшатнулась назад, поглядела с минуту на Остроухова и потом засмеялась, сказав:

— Напрасно хлопотал из-за пустяков. Ну и только?

Остроухов молчал, глядя странно на Любскую, которая на звон колокольчика быстро пошла к двери, сказав Остроухову:

— Ты подожди меня!

И она скрылась.

Остроухов и без ее приказания остался бы. Он долго стоял на том месте, где его оставила Любская, перебирая губами:

— Ну только-то? гм!! только-то!!

Вздохнув тяжело, Остроухов сел на стул, стоявший против трюмо, и, увидев в нем свою фигуру, с грустью покачал головой и с презрением произнес:

— Господи, господи! как же глупа эта старая башка!

И он, с силою ударив себя в лоб, отвернулся с сердцем от трюмо и устремил глаза свои на старика мрачного вида, совершенно углубленного в счет денег.

— Вы ее кассир сегодня? — спросил у него Остроухов после некоторого молчания.

Старик вместо ответа сухо кивнул головой.

— А хорош сбор?

Старик опять кивнул головой.

Остроухов искоса поглядел на него и начал ходить по уборной.

Его изношенное, старого покроя платье, размашистые манеры, покрытое морщинами лицо, всклокоченные волосы очень были странны в ярко освещенной комнате, убранной с роскошью, и посреди денег, брильянтов и других дорогих вещей, разбросанных на столах.

Горничная неутомимо следила за его движениями, и когда Остроухов подошел к столу, где были разбросаны вещи, она без церемонии стала их убирать в ящик и заперла на ключ. Остроухов не замечал этого; он разглядывал дорогой несессер и спросил горничную:

— Это чей?

— Наш-с! — отвечала горничная и тоже стала его укладывать.

Остроухов, казалось, только теперь понял, в чем дело; однако ж без гнева и без гримасы он быстро отошел от стола и спросил горничную:

— А что, скоро кончится это действие?

— Я не знаю-с: пьесу в первый раз дают.

— Гм! Ну а как — билеты сама она развозила? или не в моде? а?

— К нам-с сами все приезжают или присылают за ними,— с гордостью отвечала горничная.

— Вот! оно и лучше, чем самому мерить лестницы да по часу ждать в передней, да еще вышлют сказать с лакеем, что, дескать, убирайся восвояси. А не то велят оставить билеты, а деньги, мол, после! Нет, так, как я вижу, лучше. И актер не унижается, да и публика свободна — взять билет или нет.

— Что город, то норов, что деревня...

— То обычай... так! — перебил Остроухов старика мрачного вида и продолжал: — Уж коли есть в крови способность низкопоклонничать, так хорошо жить; не посмотрит и на обычай. Я вот знавал одного актера: дрянь был, ну а везло,— полный бенефис, да еще цену какую соберет. Вот целый год вьется да увивается около какого-нибудь театрала. И куплетцы ему сочиняет, и детей своих всех нарядит шутами да разыграет с ними комедию на его празднике; ну вот, придет бенефис его, а он и бух в ноги милостивцу, говорит: жена, малые дети, помоги! Как так? А вот увидишь, только созови побольше гостей. Обед задает театрал, созовет весь город. Подают суп, а пирожки несет по-поварски одетый будущий бенефициант и потчует усердно гостей, упрашивает кого два, кого четыре взять. Гости берут, едят, а к концу обеда мнимый повар возьмет серебряную тарелку, да и ну обходить да собирать деньги за пирожки, а билеты в руки. Вот как деньги достают! — ораторствовал Остроухов.

В это время впопыхах вбежала Любская, срывая с себя платье, вещи и крича:

— Переодеваться, переодеваться!

Платье трещало, брильянты летели на пол, волосы если запутывались, то клоками вырывались или отрезывались. Минуты скорого переодеванья имеют что-то лихорадочное. Остроухов принимал такое сильное участие в переодеванье Любской, что повторял почти все жесты, какие делала она.

— На сцену, на сцену! — раздался запыхавшийся голос у дверей.

— Сейчас, сейчас! — кричала Любская и топала ногами на свою горничную, замешкавшуюся с вуалем.

Любская кинулась к дверям и остановилась, сказав:

— Войдите, вы можете подождать, я сейчас вернусь.

— Вы играли превосходно! — отвечал чей-то голос за ширмами.

— Извините, я спешу,— сказала Любская и исчезла.

В уборную вошел Тавровский. Увидав Остроухова, он нахмурил брови.

— Вы меня не узнаете? — кланяясь, сказал Остроухов.

— А-а-а! старые знакомые! Это как вы сюда попали? Даша! не скрываете ли вы сюрприз публике, какой-нибудь дивертисемент из него?

Даша, горничная Любской, залилась смехом.

— Нет-с, я в дивертисементах никогда не участвовал: мое амплуа — драма,— несколько обиженным голосом отвечал Остроухов.

— Это, впрочем, сейчас видно: у вас и наружность драматическая.

— Зато я в жизни никакой драмы не устроил и никого не заставил проливать слезы.

— Я замечаю, что вы очень смелы в уборной! — с презрением и не без досады проворчал Тавровский.

— Может быть, потому, что здесь я не боюсь никого, кто бы, зная мою слабость, воспользовался ею,— понизив голос, отвечал Остроухов.

Тавровский гордо взглянул на него и сказал:

— Вы очень ошиблись, если думали, что я принимал какие-нибудь меры...

— Не вы, а ваш верный слуга.

— Я не виноват, что вы имеете привычку дружиться с лакеями.

Остроухов весь вспыхнул и, едва сдерживая свой гнев, с расстановкой сказал:

— А у вас, верно, вошло в привычку оскорблять людей, ниже вас стоящих, не краснея! Это доказывает, сколько мало вас воспитывали, и если бы не...

— Прошу не продолжать!! — крикнул грозно Тавровский и, подойдя к столу, у которого сидел мрачного вида старик, сказал:

— Кажется, полон театр и цена очень дорогая, мне говорили.

— Пустяки-с,— возразил мрачного вида старик.

— Возьмите кстати и за мои креслы.

И Тавровский положил на стол ассигнацию в двести рублей.

Остроухов неожиданно кинулся к столу: бумажка очутилась в руках его. Старик с ужасом сказал:

— Что вы? как вы смеете чужие деньги трогать?

— Возьмите назад! я отдаю их вам от нее. Она не захочет...— крикнул Остроухов; но его слова были заглушаемы голосом мрачного старика:

— Вы ее разорвете! оставьте!

— Я не хочу, чтоб он платил ей! — выходя из себя, сказал Остроухов.

Он рванул бумажку, и половина ее осталась у него в руке, а другая у старика, из груди которого вырвался дикий крик.

Остроухов подал деньги Тавровскому, который стоял у трюмо и оттуда следил за борьбой. Тавровский отклонился от Остроухова и сказал:

— Я советую вам лечиться, потому что такие вещи можно делать только в белой горячке.

И Тавровский пошел к двери, но остановился. Любская, усталая, вошла в уборную и спросила:

— Что за шум?

— Да вот здесь есть господин в белой горячке,— отвечал Тавровский.

— То, что я сделал... я уверен, она будет довольна мною! — перебил его Остроухов.

— Посмотрите, что он наделал! — чуть не плача, говорил мрачного вида старик, прилаживая половинки бумажки.

Любская, взяв ее, спросила:

— Это как он ее разорвал?

— Брось ее: эти деньги от него! он вздумал оскорблять меня; ты...— голос Остроухова задрожал, и он замолк, глядя на Любскую, которая, усмехнувшись, положила ассигнацию в несессер свой.

— Прощайте! — сказал Тавровский.

— Погодите; два слова! — отвечала Любская.

— Нельзя ли отложить?

— А-а-а! вы, верно, уже догадываетесь, в чем дело! — подходя к нему, сказала Любская.

— Этот сумасброд, кажется, сделался моим трубадуром и везде расславляет...

— Имя вашей красавицы!

— Знаете ли, ужасно смешно видеть вас под защитою этого ярмарочного актера! — смеясь, сказал Тавровский.

— Но, я думаю, вы еще смешнее в роли жениха.

— Вы, я вижу, за серьезное приняли всё, что наболтали вам?

— Я столько раз, по вашим уверениям, считала за шутки вещи очень важные, что теперь я наоборот делаю.

— То есть всё, что я ни скажу серьезно, вы принимаете за шутку, и наоборот?

— Да!

— Тогда я вам скажу серьезно, что я женюсь! и скоро! Как вы это примете?? — принужденно смеясь, сказал Тавровский.

— Я шутя вам буду отвечать, что этому не бывать. Ведь вы давно бы женились; но вы чувствуете, что неспособны к семейной жизни, что сделаете несчастной ту, которая свяжет с вами жизнь свою... ха-ха-ха!

И Любская смеялась очень весело.

— Вы, кажется, горячитесь! — заметил ей Тавровский.

— Нисколько!

Весь их разговор происходил за ширмами очень тихо; особенно те слова, которые были многозначительны, произносились чуть слышно. Звонок, раздавшийся опять у двери, заставил их разойтись. Любская приветливо сказала Тавровскому:

— Я надеюсь, после спектакля вы ко мне ужинать?

— Непременно! непременно! — уходя, отвечал Тавровский.

Когда кончился спектакль, Любская, после нескольких вызовов, переодетая в капот, считала деньги и укладывала их в маленький ящик; горничная ее убирала костюмы в картонки, а Остроухов скорыми шагами мрачно ходил по комнате.

Любская прервала молчание:

— Ну, долго ли ты здесь пробудешь?

— Не знаю!

— Однако что тебе здесь делать?

— О, я знаю... нет, я уеду, я очень скоро уеду отсюда! — как бы в отчаянии говорил Остроухов.

— Карета готова,— сказал мрачного вида старик, войдя в уборную в шинели.

— Возьмите несессер! — надевая салоп, отвечала Любская.

Мрачного вида старик исполнил приказание и вышел.

— Кто это у тебя? — спросил Остроухов.

— Неужели не догадался?

— Кто?

— А, Федор Андреич! — равнодушно отвечала Любская.

— Так этот! — вскрикнул Остроухов и с удивлением глядел на Любскую, которая, взяв ящик с деньгами и озираясь кругом, сказала, уходя к дверям:

— Даша, не забыли ли мы чего?

— Нет-с, всё взято.

— Да! прощай! — повернув голову к Остроухову, сказала Любская и прибавила: — Ты сегодня не приходи ко мне: у меня гости; а завтра поутру мы еще раз переговорим.

И она вышла.

Остроухов как пригвожденный стоял на одном месте и смотрел в дверь, куда удалилась Любская.

Кучер вынес корзины и картоны из уборной. Женщина с ключами всё прибрала в ней, погасила лампы и, готовясь гасить последнюю, грубо сказала:

— Ну, что стоите? здесь ночевать нельзя.

Остроухов вышел из уборной на сцену, которая быстро темнела; смрад от загашенных ламп разливался всюду; таскали кулисы, ставя их по местам. Мужики шумели между собой. Занавес взвился, и темный партер открылся, как пропасть. Сцена, не застановленная кулисами, казалась огромною. Остроухов, прижавшись в угол, следил машинально за всем, что происходило вокруг него. Наконец полили сцену, чтоб потушить искру, на случай, если б она как-нибудь попала в щель, и всё замолкло. Остроухов очнулся; но было поздно: сцена была пуста и темна. Вдруг показался вдали огонек, вот ближе и ближе: мужик пробирался по сцене с фонарем в руке. Остроухов кинулся к нему, спрашивая, как выйти.

— Эх, как засиделся! кругом заперто! иди через люк! — отвечал мужик.

И Остроухов скрылся с ним в люке.

На другой день мужчина и женщина не очень смело вошли в прихожую Натальи Кирилловны и спросили: «Дома ли Любовь Алексеевна Куратова?»

— Дома-с; а как доложить об вас? — спросил швейцар.

— Скажи, что госпожа Любская и господин Остроухов желают ее видеть,— отвечала поспешно дама.

Через минуту они были приведены в приемную комнату к Любе.

ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Глава LXIV

ОТСТУПЛЕНИЕ

К одной из глухих станций *** губернии, в полдень летнего дня, подъехала дорожная коляска со стеклами. Лакея при ней не было, и, пока ямщик выпрягал лошадей, никакого движения не замечалось в экипаже.

Но когда ямщик, сняв шапку и держа усталых, взмыленных своих лошадей, подошел к завешенному окну коляски и сказал: «На водочку!», женская рука высунулась из окна и подала ямщику монету.

— Вели скорее запрягать,— послышался приятный женский голос.

— Лошадей нет-с! — крикнул полный, краснощекий мужчина, лежавший животом на окне и в своих пухлых, красных руках державший чубук с бисерным чехлом.

Очень красивая женская головка выглянула из коляски и с ужасом спросила:

— Как нет лошадей?

— Только курьерские; вот-с и генеральское семейство ночевало по этой же причине: сегодня всех лошадей обобрали,— отвечал краснощекий мужчина.

— Боже мой! да как же это сделать? Ради бога, нельзя ли? — умоляющим голосом говорила путешественница.

— Никак-с не можно-с! — хладнокровно отвечал краснощекий мужчина и стал курить.

— Что же мне делать? — в отчаянии воскликнула путешественница.

— Извольте обождать: вон тут насупротив хороший есть трактир,— успокоительным голосом заметил краснощекий мужчина.

— Когда же будут лошади? — спросила путешественница, выходя из коляски.

— А вот-с как будут, сейчас и дадим,— отвечал он улыбаясь.

Путешественница была женщина лет двадцати трех, очень красивая, стройная, очень хорошо одетая; но с ней не было никого.

Несмотря на страшную пыль по всей дороге, от станционного дома до трактира была ужасная грязь, как будто ее искусственно поддерживали.

Путешественница призадумалась, как ей пройти; вдруг до нее долетел голос краснощекого мужчины:

— Полевей: там есть доска.

— А мои вещи в коляске?

— Не тронут-с; а не то извольте приказать внести к себе.

— Неужели не скоро лошади будут? — как бы всё еще не веря, спросила путешественница.

— Как-с будут, сейчас заложим! — с любезностью отвечал краснощекий мужчина.

Путешественница обошла грязь и с большим трудом взошла на лестницу трактира, встречая почти на каждой ступеньке какое-нибудь препятствие: то собаку со щенками, скалившую зубы, то наседку с цыплятами, то корыто с месивом, щетки сапожные в ваксе, корзину с сальными огарками,— всё было тут. Она вошла в большую комнату почти без мебели; в ней никого не было. Постояв с минуту, путешественница пошла далее и в соседней комнате, тоже не отличавшейся ни чистотой, ни избытком мебели, увидела белокурого парня, босого, в розовой грязной рубашке, сидевшего за круглым столом, на кожаном диване с деревянной спинкой, украшенном медными зеленоватыми гвоздями. Парень играл сам с собою в шашки и так был погружен в игру, что не заметил появления путешественницы, которая окликнула его. Парень поднял голову, и путешественница увидела сонное, бледное и пухлое лицо.

— Комнату почище, да внеси мои вещи из коляски! — сказала она.

Парень лениво встал с дивана и мерно постукивал шашкой о шашку.

— Вон там коляска! да скажи, чтоб сейчас же закладывали лошадей, как будут.

Парень, продолжая постукивать шашками под такт своей походки, медленно вышел из комнаты.

Вещи из коляски были внесены в комнату, где ждала путешественница.

— Дайте же мне комнату,— сказала она белокурому парню.

— Да вот-с! других нет-с! — отвечал парень и стал собирать шашки.

Путешественница пугливо обвела глазами грязную комнату и тяжело вздохнула.

В самом деле, комната имела вид очень неприятный. Стены ее были забрызганы, стекла грязны. Из мебели кроме рыжего дивана в комнате находились еще круглый стол, несколько сломанных стульев, зеркало, испещренное точками и так высоко повешенное в простенке, что если б кому пришла охота в него посмотреться, то нужно было бы подставить стул, шкап со стеклами и с комодом; на полках красовалась посуда, почти вся изувеченная.

— Что у вас есть кушать? — спросила путешественница.

— Ку-шать! — протяжно повторил парень.

— Ну да! что у вас есть?

— Да у нас ничего нет-с: мы не готовили сегодня.

— Как же у вас трактир, а ничего не готовили?

— Да-с, ничего-с! — флегматически отвечал парень.

— Ну приготовьте что-нибудь!

— Огонь-с надо разводить.

— Ну так что же?

— Да провизии никакой нет.

— Дай хоть чаю! — горячась, сказала путешественница.

— Чаю-с?

— Ну да!

— Не знаю-с! кажись, хозяин взял самовар! — пробормотал парень и пошел из комнаты.

Лицо путешественницы вспыхнуло; она сказала насмешливо:

— Хорош трактир — ровно ничего нет!

— Вино есть-с, и хорошее,— с гордостью отвечал парень.— Хозяин еще недавно на восемь тысяч купил на ярманке.

— А есть нечего! — с упреком заметила она.

— Помилуйте-с, здесь проезжающих на редкость, а в этакой жар всякое съестное портится. Ну-с а вино дело

другое. Коли гостей не будет, так и сам хозяин выпьет. Не пропадет! — улыбаясь, сказал парень.

— Как хочешь, достань мне самовар! я хочу чаю! — повелительно произнесла путешественница.

— Ветчина есть, да только...— нерешительно сказал парень.

— Ну так дай! — радостно перебила его путешественница.

— Да маленько пахнет! — вопросительно глядя на путешественницу, сказал парень.

Она отвечала:

— Ну хоть самовар достань!

Парень вышел из комнаты, притворив за собой дверь, и путешественница услышала следующий разговор парня с краснощеким мужчиной; оба они лежали на окнах. Парень кричал:

— Флегонт Саввич! а Флегонт Саввич!

— Асинька, Тихоныч? — позевывая, протяжно спросил краснощекий мужчина.

— Просят самовара, а хозяин унес свой.

Ответа не было, потому что Флегонт Саввич собирался чихнуть.

— Просят самовара?

— Да!

— Да!

— Желаю здравствовать!

С минуту длилось молчание; потом зевота раздалась с обеих сторон.

Путешественница нетерпеливой рукой раскрыла окно и закричала Флегонту Саввичу:

— Дайте хоть вы самовар. В этом трактире ровно ничего нет!

Флегонт Саввич закричал повелительно:

— Мошка, Мошка!

Как бы из земли выскочил мальчишка из-под яслей и поднял голову кверху.

Мальчику было лет десять; он был бледен, худ; белые его волосы были всклокочены; толстая дырявая рубашка с поясом составляла всё его одеяние.

Флегонт Саввич важно произнес:

— Пошел, отнеси самовар Тихонычу!

Мошка кинулся на крыльцо станционного дома и через минуту, жилясь, тащил огромный самовар совершенно изумрудного цвета.

Путешественница, завидя самовар, пугливо закричала:

— Не надо! не надо!

— Мошка, назад! — крикнул, как бы обидясь, Флегонт Саввич.

— Мошка, давай скорее! — в то же время крикнул Тихоныч.

Мошка мялся, не зная, куда идти и кого слушаться.

— Мошка! — грозно крикнул Флегонт Саввич.

Мошка кинулся с самоваром к нему.

— Дурак, тащи его назад!

— Давай сюда, Мошка! я его почищу!

Мошка вопросительно глядел на Флегонта Саввича, который, указав головой на трактир, сказал:

— Ведь не желают?

— Давай!

— Ну неси!

Мошка понес в трактир самовар.

Ровно через час путешественница, соскучась ждать, вышла узнать о своей участи — будет ли она хоть пить чай? В большой комнате не было никого, и она раскрыла дверь в сени.

Смрад был страшный в сенях от самовара, наружность которого нисколько не изменилась. Он клокотал у самой головы спящего парня, растянувшегося на лестнице. При виде путешественницы собака выскочила из корзинки и, скаля зубы, кинулась на нее, как бы охраняя сон парня. Как ни кричала путешественница, выглядывая из двери, ей не было другого ответа, кроме сильного храпения парня и рычания собаки.

Слезы досады выступили на глазах путешественницы, и она, возвратясь в свою комнату, подошла к окну, в надежде пригласить на помощь Флегонта Саввича, чтоб разбудить спящего полового. Но, увы! Флегонт Саввич, засев плотно в окне, тоже сладко спал, свеся голову через сложенные руки, отчего его красное лицо посинело.

Путешественница стала звать дремавшего на крыльце мальчика; она долго звала его безуспешно, наконец крикнула:

— Мошка!

Тогда мальчик пугливо вскочил и поднял голову кверху, где висела голова Флегонта Саввича.

— Мальчик, ко мне! — маня его, сказала путешественница.

Мошка кинулся через дорогу, вмиг очутился в дверях и, высунув свою косматую голову, спросил:

— Чего нада-с?

— Разбуди... как его зовут? ну, что спит на лестнице... собака кидается на меня!

— Его таперича не разбудишь!

— Отчего?

— Коли он захрапел, так ничем, кроме холодной воды! Уж его так завсегда хозяин будит.

— Ну облей его водой.

— Как же-с, я боюсь!

— Кто же мне даст самовар?

— Да я подам.

— Где тебе! ты и без воды-то его едва принес. Нет, лучше я положу в чайник чаю, а ты и налей там кипятку.

Мошка подставил стул к шкапу, достал с полки чайник с отбитым и почерневшим носком. Засаленный шнурок придерживал крышку его.

— Ты вымой его сперва,— сказала путешественница и прибавила: — Да как тебя зовут?

— Мирон!

— Отчего же тебя называют Мошкой?

— Знать, так им хочется!

— Есть у тебя мать, отец?

— Нет, мать давно-давно умерла, а батька убился зимой.

— Как?

— Он был ямщик: ну и убился.

— Где же ты живешь?

— А вон там.

И мальчик указал на крытый двор.

— И зимой? разве тебе не холодно? — с ужасом спросила путешественница.

— Иной раз так ночью прикрутит, что плачу, плачу... А сливочек достать? — спросил Мирон и потянулся на вторую полку.

— Отчего же тебя не пускают спать, где тепло?

— А как же — я должен будить Флегонта Саввича: кто приедет аль почта! — не без гордости отвечал Мирон.

Мальчик был так услужлив, что даже где-то достал путешественнице свежих яиц и черного мягкого хлеба, за что получил очень хорошее награждение. К ужасу

своему путешественница узнала от Мирона, что не ранее завтрашнего дня ей дадут лошадей.

Часа через три сонный парень втащил самовар в комнату путешественницы, которая не могла не улыбнуться его удивленному лицу, когда он узнал, что она уже давно напилась чаю. Путешественница хотела было прилечь отдохнуть на диване, но парень сказал ей:

— Уж вы не извольте на нем ложиться — никак!

— А что?

— Да один приезжий чуть в окно не выскочил: так его закусали!

Путешественница с ужасом соскочила с дивана и села у окна.

Наблюдая за всем, что делается на улице, она убедилась, что действительно не для кого готовить кушать в трактире. Проезжающих совсем не было. Парень и Флегонт Саввич валялись на окнах, лениво перебрасываясь словами; драка петухов занимала их, словно какое-нибудь необыкновенное представление.

Путешественница принимала все меры к сокращению времени: работала, читала, пробовала дремать, и очень обрадовалась, когда солнце село и стало смеркаться. Она послала спросить о лошадях у Флегонта Саввича и получила ответ, что, «как будут лошади, сейчас заложат». И, покорясь своей участи, она решилась провести ночь в комнате, откуда кто-то покушался выброситься через окно. Страшный стук телеги, крики, плач Мирона заставили ее выглянуть из окна. Она увидела приезжего господина, в усах, в серой шинели, в фуражке набекрень: он страшно кричал, наступая на Мошку:

— Так нет лошадей? нет? А куда же они девались?

Путешественница крикнула:

— Флегонт Саввич! — и голос у ней замер от взгляда, брошенного на нее приезжим. Он расшаркнулся и, приподняв фуражку, сказал:

— Коман ву порте ву?

Путешественница пугливо заперла окно. Через минуту она услышала страшный шум в соседней комнате и умоляющий голос парня:

— Да нельзя-с, ей-богу, нельзя-с: занята-с.

— Пошел дурак! пошел! — кричал приезжий.

И дверь раскрылась настежь: сначала влетел в нее сонный парень, а потом бойко вошел усач; расшаркавшись, он сказал путешественнице:

— Экскюзе пур деранже! — и, крутя усы, пошатываясь и улыбаясь, он глядел на путешественницу, которая, вся вспыхнув, сердито сказала:

— Эта комната занята!

— Я не буду, сударыня, вас беспокоить. Эй, вина! да смотри, хорошего! — крикнул усач, усаживаясь на диван и набивая себе трубку из кисета, висевшего на пуговице его шинели.

Путешественница пошла к двери.

— Куда-с? Я, кажется, вас не обидел и не мешаю вам? — вскочив с дивана, сказал усач.

— Напротив, очень. Я первая заняла эту комнату; но если... Я уступаю ее вам.

— Помилуйте, сударыня! да я за честь почту услужить такой прелестной... Вы изволите ожидать лошадей?

— Я устала и прошу вас оставить мою комнату! — нетерпеливо и повелительно сказала путешественница.

Но усач расставил широко ноги; крутя усы и лукаво поглядывая на путешественницу, он продолжал:

— Вы откуда-с?

— Вы слышали мою просьбу — оставить меня в покое! — выходя из себя, сказала путешественница.

— Извините, извините, сударыня! — шаркая, говорил усач, но не двигался с места.

Не спуская глаз с нее, он спросил:

— Вы одни-с изволите путешествовать?

— Оставьте мою комнату! — крикнула путешественница.

— Экскюзе, мадам! Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?

— Очень, если вы оставите мою комнату!

— Вы здесь изволите ночевать?

— Да!

Усач закрутил усы, зашаркал, бормоча: «Экскюзе», и важно вышел вон.

Путешественница радостно кинулась запирать дверь — и с ужасом вскрикнула: замок был испорчен, ни крючка, ни задвижки не было. Бледность разлилась по ее лицу, когда она услышала голос усача:

— Вели отложить! я здесь останусь ночевать.

Путешественница открыла дверь и сказала слуге:

— Вели мне их заложить!

— Экскюзе, мадам! — радостно подскочив к ней, сказал усач.

Путешественница захлопнула дверь. Сердце у ней сильно билось, руки дрожали, и она в отчаянии искала убежища в своей комнате, пока усач бранился с парнем, осмелившимся ему заметить, что в комнату нельзя входить, потому что она занята. От страха у путешественницы как бы явилась сверхъестественная сила: она притащила диван к двери, поставила на него стол, стулья, даже бросила свой платок и салоп, воображая этим увеличить тяжесть. Потом она раскрыла окно и крикнула Мирона, которому велела принести гвоздей и молоток. Пока она связывала полотенцы и спускала за окно, чтоб Мирон навязал ей гвоздей, усач стучался в дверь, говоря:

— Сударыня, отворите! отворите!

Мирон так был догадлив, что даже навязал доску. И не успела она втащить всё это, как усач, высунувшись из окна своей комнаты, закричал:

— А-а-а! здравствуйте, здравствуйте! зачем вы прячетесь от меня? а?

Путешественница скрылась от окна, затворив его, и принялась заколачивать дверь.

Усач продолжал кричать, стуча чубуком в стекло:

— Не прячьтесь! выгляньте-ка! мне очень нравятся ваши глазки: держу пари целую дюжину, что лучше их не найдется во всем свете. Эй, вина! — заключил он, как будто уже выиграл свое пари.

Слезы ручьями текли по щекам бедной путешественницы, вколачивавшей бесчисленное количество гвоздей в доску, из которой она сделала нечто вроде запора.

— Что вы там стучите, а? да взгляните! — продолжал кричать усач, ударив с силою чубуком в стекло так, что оно треснуло.

Путешественница открыла окно, вырвала чубук из рук усача, который никак не ожидал этого, и бросила его на улицу, в грязь.

— Браво, браво! вот молодец! браво! — аплодируя, кричал усач и, высунувшись до половины из окна, сказал: — Слышите, я теперь должен получить награждение!

И усач стал стучать в дверь и грозился выломать ее, догадавшись, что дверь заколочена. Он стал бить посуду, выбрасывая стулья за окна и страшно бранился.

Ночь провела путешественница в страшной тревоге, не смыкая глаз. Усач неутомимо бушевал.

Лишь только стало рассветать, к станционному дому подъехала отличная дорожная коляска; на козлах и на-

зади сидело по лакею, которые стали, горячась, спорить с Флегонтом Саввичем о лошадях, потому что он более четверки не давал, а они требовали шесть. Однако наконец стали запрягать шесть; тогда путешественница раскрыла окно и сказала Флегонту Саввичу:

— Помилуйте! как вам не стыдно держать меня целые сутки здесь, когда есть же у вас лошади?

— Нельзя-с! — грубо отвечал Флегонт Саввич.

Из коляски высунулось мужское лицо и поглядело на путешественницу, которая в ту минуту вскрикнула, потому что усач, высунувшись из соседнего окна, хотел схватить ее за плечо.

Путешественница ловко уклонилась и в отчаянии произнесла, обращаясь к новому приезжему:

— Это ужасно, что они со мной делают!

И она заплакала.

Приезжий поспешно вышел из коляски. Он был мужчина средних лет, высок, довольно полон. Лицо его было рябо, черты правильны и не лишены ума и приятности. Поговорив с Флегонтом Саввичем, он обратился к усачу и сказал:

— Милостивый государь, извольте-ка выйти вон из трактира и оставьте в покое даму!

— Спасите меня! я сойду с ума! — умоляющим голосом сказала путешественница.

Усач залился смехом.

— Успокойтесь: вы сейчас будете освобождены от невежливого вашего соседа,— отвечал приезжий и пошел в трактир.

Путешественница дрожала, прислушиваясь к разговору, происходившему между усачом и ее защитником. Сначала усач кричал, горячился, потом стал тише, наконец кто-то слегка постучался в дверь к путешественнице и сказал:

— Теперь вы можете выйти: его нет здесь. Велеть заложить вам лошадей?

Путешественница так заколотила дверь, что не могла вытащить гвоздей.

— Я не могу выйти! — сказала она.

— Отчего?

— Я так заколотила дверь от него...

— Ах, боже мой! и давно вы находитесь в этом положении? — с участием спросил приезжий.

— Со вчерашнего вечера!

— Я сейчас распоряжусь: велю снять с петель дверь.

— Погодите! я, кажется, отворю!

Через несколько минут дверь уступила общим усилиям, и путешественница предстала, с пылающими щеками, пред лицом своего покровителя.

Они раскланялись. Путешественница подробно рассказала свое горестное положение и с чувством благодарила своего избавителя, который пригласил ее сделать ему честь пить с ним чай. Вместо зеленого самовара Флегонта Саввича и грязного чайника с отбитым носком чай был сервирован на серебре, и уже не босой парень и не грязный Мошка услуживали путешественнице, а ловкие лакеи. Всё окружающее показывало, что покровитель ее был человек благовоспитанный и с достатком; а сам он к этому прибавил, что он человек семейный. В его голосе и манере было столько солидности, что путешественница чувствовала себя совершенно свободной. Он сказал ей свою фамилию, но не любопытствуя узнать ее. Лакеи называли его Марком Семенычем.

Когда лошади были готовы в обоих экипажах, Марк Семеныч усадил путешественницу в ее старомодную коляску, простился с ней, и она поехала. Дорога, видно, им была одна, потому что Марк Семеныч ехал сзади. Путешественница, не спавшая целую ночь, сладко заснула, убаюканная мерным покачиванием своей высокой коляски. Когда она проснулась, глаза ее встретились с глазами Марка Семеныча, который стоял на ступеньках коляски и смотрел к ней в окно.

— Я вас разбудил?

— Мы приехали? — покраснев и оправляя свой туалет, спросила путешественница.

— Давно. Уж одиннадцать часов.

— Как?

— Я рассудил, что вам надо отдохнуть.

— И это вы меня ждали? — почти с упреком воскликнула она.

— Встреча ваша с этим грубым человеком, кажется, поселила в вас сильное отвращение к мужскому обществу,— смеясь, сказал Марк Семеныч и прибавил с утонченною вежливостью:— Если вы меня не причисляете к числу людей ветреных и не уважающих женщин, то позвольте мне вас высадить из коляски и провести в комнату, где нас ждет чай.

Путешественница смело подала руку Марку Семены-

чу и почувствовала легкое пожатие, сопровождаемое словом «Merci»,* тихо произнесенным. Марк Семеныч привел ее в комнату, где нашла она всё уже приготовленным для туалета. Эта внимательность тронула ее, и она, освежая свое лицо, невольно сравнивала все свои встречи в дороге. Переменив свой туалет, путешественница явилась в комнату, где ее ждали самовар и Марк Семеныч, который, указывая на диван, сказал:

— Не откажите мне в моей просьбе: позвольте мне пить с вами чай? Я так привык к семейной жизни, что пить чай одному для меня страшное наказание!

Она с готовностью поспешила разлить чай, желая хоть чем-нибудь отплатить своему покровителю за всю его внимательность к ней.

Они продолжали дорогу вместе. Чай, обед, завтрак были продолжительны. Марк Семеныч был так любезен, что упрашивал путешественницу останавливаться ночевать, боясь за ее силы; но она не согласилась.

— Я, право, боюсь, чтоб вас не утомила дорога,— говорил Марк Семеныч.

— О нет! я теперь очень покойна и отлично сплю в коляске.

— Позвольте мне сделать вам один нескромный вопрос; но я потому осмеливаюсь его сделать, что завтра, может быть, он будет еще более некстати. Мы приедем в Москву; у вас, верно, есть там родственники, близкие знакомые?

— У меня нет ни тех, ни других.

— Какая же цель вашего путешествия? — с живостью спросил Марк Семеныч и прибавил:— Извините мое... любопытство... вы, верно, так поймете мой вопрос.

— Только два дня, как мы знакомы, и вы столько сделали мне одолжений, что имеете полное право сделать мне такой вопрос. Я смело решаюсь вам открыть мое положение,— искренно сказала путешественница.

— Я буду очень счастлив, если вы удостоите меня вашей доверенности.

— Мой отъезд был неожидан; как вы видите, со мной даже нет горничной. Цель моего путешествия неопределенна. Я не могу жить независимо. И я решительно еще не знаю, что буду делать.

Марк Семеныч сказал:

---

* Благодарю *(франц.)*.

— Может быть, с моей стороны будет нескромно, если я изъявлю мое участие?

— Напротив, я очень буду вам благодарна! — с чувством отвечала путешественница.

— Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен? Я очень много знаю людей с весом в Москве. Не желаете ли какого-нибудь места?

— Я боюсь должности гувернантки.

— Почему?

— Во-первых, я получила домашнее воспитание.

— Тем лучше! Я гораздо более предпочитаю...

— Во-вторых, мне кажется, что обязанность слишком щекотливая для самолюбия...

— Ваше самолюбие не может страдать: тот, кто вас увидит, в каком бы вы ни были звании, всегда оценит и...

— Я никогда не пробовала заниматься с детьми, хотя я их очень люблю.

— Любовь к ним есть самый верный залог, что вы можете быть наставницей их.

— Всё так; но это занятие меня пугает...

— Будьте покойны: я отыщу вам порядочный дом, где вы, верно, измените ваше мнение об этом занятии. Люди образованные понимают, как высоко значение быть второй матерью их детям...

— Если б я нашла таких людей, то мне было бы совестно, что я не буду уметь выполнять как следует своих обязанностей.

— По вашим летам и красоте?.. Но это ничего не значит! — как бы опомнясь, заметил Марк Семеныч.

Женщине нетрудно угадать, какое она произвела впечатление на мужчину, и путешественница ясно видела, что почтительность и внимание к ней Марка Семеныча доходили до высшей степени. Но его солидная наружность, ежеминутное воспоминание о детях и жене разрушали всякое сомнение путешественницы. Она смотрела на всё его участье к ней как на плод необыкновенно сострадательного сердца, каким обладал Марк Семеныч. Его слова, казалось, подтверждали это. Он сказал путешественнице, заметив, что она избегает его заботливости:

— Я сам отец и представляю себе весь ужас положения беззащитности, в каком вы находитесь. Моя обязанность, как мужа и отца, оказывать помощь беззащитным женщинам. Да, я научился уважать их вполне только тогда, как сделался их покровителем. У меня три дочери,

и очень хорошенькие; я ужасно огорчен, что должен поручать их разному сброду, приезжающему сюда из-за границы. Их жизнь тайна для нас, а мы между тем смело вверяем им своих детей,— с грустью говорил Марк Семеныч.

Они приближались к Москве и на другое утро должны были приехать; но неожиданный случай замедлил их приезд.

Вечером, когда они остановились пить чай, Марк Семеныч вошел озабоченный в комнату и с досадой сказал:

— Надо же быть такому случаю!

— Что такое? — спросила путешественница.

— Ось лопнула! это просто как на смех!

— Вас ждет завтра ваше семейство и будет беспокоиться...

— Нет! оно в деревне, и я возвращусь ранее срока. Но как же вам ждать?

И Марк Семеныч вопросительно глядел на путешественницу, которая сказала:

— Теперь так близко, что, я думаю, со мной не может ничего случиться.

— Не лучше ли послать вперед одного из моих лакеев: пусть вам приготовит нумер, и...

— О нет, это лишние хлопоты!

— Я должен вам сказать откровенно, что также имею цель: мне хочется известить о моем приезде семейство. А вы пока отдохните, поговорим о ваших намерениях,— что вам предпринять...

Лакей был послан на перекладных; а путешественница с Марком Семенычем, в ожидании починки экипажа, отправилась гулять.

Вечер был очень хорош; они незаметно зашли далеко. Стемнело совершенно, когда они возвращались. Марк Семеныч крепко сжал руку путешественницы; она не отнимала ее, потому что всё, что он говорил, далеко было от волокитства. Дети, семейство, обязанности отца — вот предмет его разговора.

Ужин был уже готов, когда они возвратились с гулянья. Они весело сели за стол.

Марк Семеныч был любезен. Из строгого отца семейства он превратился в самого тонкого дамского угодника. Ужин был великолепен. Налив бокал вина, Марк Семеныч встал и почтительно сказал:

— Позволите ли вы мне выпить за ваше здоровье и за ту минуту, когда вы решились почтить меня вашей дружбой? Да, я прошу у вас дружбы...

Путешественница что-то проговорила, благодаря Марка Семеныча, который, протянув к ней руку, с жаром сказал:

— Вашу руку! у вас есть теперь самый искренний и преданный друг и защитник. Я смело мог бы поспорить с вашим братом или отцом в чистоте моих чувств. Итак, мы друзья!

И Марк Семеныч поцеловал руку путешественницы.

Ужин длился долго: почти за полночь они встали из-за стола, чему путешественница была очень рада, потому что ей стало как-то неловко от пристальных, даже увлаженных слезой взглядов Марка Семеныча и от вопросов: точно ли она его друг?

Усаживая ее в коляску, Марк Семеныч опять поцеловал у ней руку.

Путешественница не скоро заснула: лошади скакали во весь дух, как бы желая наверстать время, потерянное за починкой оси. Марк Семеныч на каждой станции отворял дверцы коляски путешественницы и, стоя на ступеньках, обращался к ней с заботливыми вопросами: спокойно ли ей? не хочет ли она пить чего-нибудь?

— Вам, кажется, неловко лежать? — спросил ее Марк Семеныч на одной из станций.— Не дать ли вам подушку?

— Не беспокойтесь: у меня есть! — отвечала путешественница; но Марк Семеныч спрыгнул со ступенек и через минуту возвратился с подушкой.

— Мне, право, не надо: у меня есть своя! — говорила путешественница.

— Ложитесь, ложитесь! дайте вашему другу позаботиться об вас. Ну, так хорошо ли?

И Марк Семеныч, взяв голову путешественницы и положив ее на подушки, сам сел на второе место в коляске.

— Что же мы не едем? — спросила путешественница, прервав неприятное для нее молчание.

— Верно, лошади не готовы.

— Вот они, готовы! — выглянув из коляски, заметила путешественница.

— Вы гоните своего друга! вы кажется, не верите искренности моей? — с упреком возразил Марк Семеныч.

— Помилуйте! — сконфузясь, произнесла путешественница.

— Да, да! Я так в жизни был несчастлив, что даже ни лета мои, ни обязанности не уничтожают преград к простым чувствам дружбы, о которой я с детства мечтал. Знаете ли, что я, бывши ребенком, чуть не умер оттого, что дружбу мою отвергли. Я женился по любви и очень счастлив до сих пор. Но дружбы, дружбы — этого тихого, кроткого чувства — я желаю теперь!

— Говорят, что между женщиной и мужчиной не может быть дружбы,— заметила путешественница.

— Это вздор! Одни скептики да люди, истратившие всю искренность чувств и попирающие свои обязанности, так говорят. Нет, я был дружен с одной женщиной: всё кругом толковало, судило в том роде, как вы сейчас заметили, что между женщиной и мужчиной не может быть дружбы. К счастию, домашние ее и мои слишком хорошо знали меня и смеялись над толками. Я должен сознаться вам, что часто спешил ей первой сообщить какое-нибудь мое горе или радость.

— Может быть, вы, сами не зная, любили эту женщину?

— Помилуйте! если б я любил эту женщину, разве бы я мог радоваться и способствовать ее браку? Нет, я ревнив, и страшно ревнив! Но она! она была мне искренним другом.

— Где же она теперь?

Марк Семеныч в волнении произнес:

— Она умерла!.. Вы напомнили мне живо о моей Вере. Я был поражен сходством вашим с ней. Когда я смотрю на вас, мне кажется, что передо мной моя Вера, мой искренний друг! — И Марк Семеныч взял руку путешественницы и умоляющим голосом прибавил: — Замените мне мою Веру!

Путешественница пришла в такое волнение, что пугливо сказала:

— Успокойтесь... Нас ждут лошади...

— Извините! я забылся: мне казалось, что я сижу с моим другом; а воспоминание о ней наводит на меня страшную тоску. Я сам не понимаю, что со мной делается.

И Марк Семеныч ударил себя в грудь; слезы ручьями текли по его щекам, и он, ломая руки, повторял тоскливо:

— Вера, Вера!

Путешественница с удивлением глядела на порывы отчаяния человека в летах, с наружностью, по которой нельзя было подозревать такой сильной сантиментальности.

— Марк Семеныч, если б было в моей власти заменить вам вашего друга, я была бы очень счастлива!

— О, будьте добры, не оставляйте меня в такую минуту! — рыдая, говорил Марк Семеныч.

Слезы и просьбы его были так искренни, что путешественница, забыв неловкое положение свое, стала утешать его.

Через несколько минут Марк Семеныч как бы пришел в себя, стал извиняться и сказал:

— Эти припадки у меня с детства, и я могу показаться очень странным и смешным тому, кто меня не знает. Я лечился много; но еще не открыто средство против сильной впечатлительности сердца. Достаточно малейшего потрясения моим нервам, чтоб я впал в такое состояние, в каком вы меня сейчас видели... Я думаю, я вам надоел? извините меня...

И Марк Семеныч вышел из коляски и более уже не беспокоил путешественницу, которой долго еще слышался его молящий голос, с тоскливой нежностью взывающий к Вере.

Рано утром они остановились пить чай уже близко от Москвы. Марк Семеныч был по-прежнему почтительно-вежлив с путешественницей; но грусть была разлита в его словах и взгляде. После чаю он серьезным голосом сказал ей:

— Не можете ли вы мне пожертвовать десятью минутами вашего времени?

— С большим удовольствием!

— Имеете ли вы ко мне настолько доверенности, чтоб принять мое предложение?

— Какое?

— Я всё время обдумывал, что бы вам предпринять, и мне пришла мысль...

— Какая?

— Предложить вам, так, для пробы, взять на себя обязанность следить не за учением моих детей, а за их нравственностью. Я прошу вас не обижаться моими словами... Вы будете в порядочном семействе, под защитою моей жены, во всех отношениях достойной...

— Благодарю вас... но я... право...

— Согласитесь на мою просьбу: докажите, что вы не обиделись моим предложением.

— Я ничуть не обиделась, но...

— Значит... я имею ваше согласие? я счастлив, что дети мои будут под присмотром такой женщины, как вы.

— Но как же,— в недоумении заметила путешественница,— ваша жена? она не знает...

— Будьте покойны, положитесь на меня! В память той, с которою вы имеете такое сходство, я готов жертвовать всем!

— Ради бога!.. если только нужны какие-нибудь жертвы... я...

— Успокойтесь: их и тени нет в моем предложении. Но я говорю, что если бы оказалась надобность доказать искренность моих слов...

— Позвольте мне подумать...

— Значит, вы сомневаетесь?

— Нисколько; но я боюсь, захочет ли ваша жена иметь при своих детях женщину, которой она вовсе не знает.

— Боже мой! Как же мы берем в дом француженок и других гувернанток?

— К ним более снисходительны.

— Я занимаюсь воспитанием моих детей и потому смело делаю вам предложение. Оно не очень лестно для вас; зато для меня ваше согласие будет самым приятным доказательством вашей ко мне доверенности и дружбы.

И Марк Семеныч красноречиво доказывал высокую роль воспитательницы.

— Извольте: я согласна, но прошу вас не требовать от меня никаких других обязанностей, как только учить их русскому языку,— сказала путешественница.

— Это самый важный предмет! Я был молод и не вникал сначала в важность воспитания; но как же я потом ужаснулся, заметив, что мои дети выходят не русские, а иностранцы — всех наций. Дочери лучше говорят по-английски, чем по-русски, один сын по-немецки, а старший — чистейший француз. Не правда ли, это непростительно? И я краснею за свою небрежность.

Пожав друг другу руки, они простились очень чувствительно. Путешественница благодарила Марка Семеныча за все его хлопоты и защиту, он же — за ее доверенность к нему. Марк Семеныч поскакал вперед.

У заставы путешественницу встретил лакей, который был послан вперед, и проводил ее в гостиницу, где были приготовлены для нее комнаты. Нумер был взят очень дорогой, так что путешественница заметила лакею, зачем он не взял дешевле.

— Так приказывали Марк Семеныч,—отвечал лакей.

Путешественница с нетерпением ждала Марка Семеныча, который не являлся дня три. Обед, чай, завтрак — всё было сервировано отлично. Экипаж стоял у подъезда, на случай, не пожелает ли она куда-нибудь проехаться. Путешественницу видимо беспокоило, что Марк Семеныч не едет; она хотела уже писать к нему, но отдумала, решась на другой день перебраться в нумер поскромнее.

На четвертый день ее приезда, рано утром, она еще лежала в постели, как кто-то постучался к ней в дверь. Путешественница тотчас догадалась, кто стучится, и, позвонив горничную, велела ей принять гостя в другой комнате. Она не ошиблась: то был Марк Семеныч.

Сделав наскоро утренний туалет, путешественница вышла к гостю, который не скрывал своей радости, что наконец видит ее. Он поцеловал у ней руку и с участьем спрашивал: «Покойно ли ей? хорошо ли? как она провела время?»

— Очень хорошо! благодарю вас; но я одним недовольна,— отвечала путешественница.

— Это чем? вы меня пугаете!

— Слишком дорогой нумер взят по вашему приказанию.

— Полноте! как можно говорить о таком вздоре! — обиженным голосом воскликнул Марк Семеныч.

— Однако я не хочу бросать деньги,— смеясь, отвечала путешественница.

— Да вы и не имеете права; я ваш друг: я вам не позволю на пустяки тратить деньги! — шутливо сказал Марк Семеныч.

— Так я под опекой?

— И очень строгой.

— Скажите, пожалуйста, мой опекун, отчего я вас так давно не видала? — садясь на диван, сказала путешественница не без некоторого кокетства.

Марк Семеныч ничего не отвечал и глядел ей прямо в глаза.

— Что же вы не отвечаете?

— Я... я стараюсь удостовериться, точно ли это сказано искренно.

— Что я вас хотела видеть?

— Да.

— Повторяю, что очень.

Марк Семеныч схватил руку путешественницы и, с жаром поцеловав ее, сказал:

— Я постараюсь заслужить ваше расположение ко мне.

— Я хотела с вами поговорить.

— Я счастлив: я вижу, что вы поняли меня.

Марк Семеныч говорил с чувством и с жаром, а путешественница слушала холодно и не без лукавой улыбки.

— Я переменила свое намерение быть гувернанткой,— сказала она.

Марк Семеныч привскочил на своем месте и, глядя с ужасом на путешественницу, сказал:

— Это невозможно! вы шутите!

— Отчего это вас так поразило?

— Потому... потому что я вижу в этом недоверчивость ко мне с вашей стороны.

— Какой вздор! Я просто боюсь обязанностей гувернантки.

— В моем доме вы будете совершенно свободны.

— Благодарю вас! но я именно боюсь вашего дома.

— Вы меня оскорбляете! чем мог я это заслужить! — с горячностью воскликнул Марк Семеныч.

— Какое же тут оскорбление для вас? Я не решаюсь взять обязанности, для которой не готовилась...

— Что же вы думаете делать?

Путешественница задумалась и потом отвечала:

— Я хотела бы, чтоб вы мне дали этот совет.

— Что могу я сделать! доверчивость ваша ко мне слишком слаба! Я буду просить одного от вас: это не предпринимать никаких мер для средств к жизни без моего ведома. Могу ли я надеяться хоть на это? — сказал Марк Семеныч обиженным голосом.

— Очень! тем более что я вам скажу мои планы... Я хочу ехать в Петербург.

— Как! уехать отсюда! — почти вскрикнул Марк Семеныч и прибавил с сердцем: — Что же вы намерены делать там?

— Право, не знаю... но мне кажется, я...

Путешественница запнулась. Марк Семеныч прервал ее, сказав:

— Впрочем, я, кажется, слишком дерзко поступаю. Я не имею права слишком далеко простирать свое любопытство и советы.

— Отчего? я вам даю полное право,— задумчиво отвечала путешественница.

Лицо Марка Семеныча прояснилось, и он наставительно сказал:

— Если у вас и в Петербурге нет никого близких, к чему бежать отсюда? тем более что здесь у вас есть человек, преданный вам и принимающий живое участие в вашем положении. Разве вы не можете испытать себя на этом поприще и потом уже искать другого? К тому ж я переговорил с своей женой: она очень довольна и ждет вас к себе.

— Как, вы уже сказали обо мне?

— Я всё говорю своей жене: мы очень откровенны.

— Вы ей рассказали о нашей встрече? — поспешно спросила путешественница.

— Нет... я этого не говорил... потому что я не знал, понравится ли это вам. Я не люблю ничем стеснять других. Нет! я сказал моей жене, что желаю иметь детей русских и потому возьму им русскую наставницу.

Путешественница насмешливо слушала Марка Семеныча. Он продолжал:

— Вы видите, что я всё уже обработал. От вас теперь зависит успокоить меня уверенностию, что у моих детей будет такая наставница. Докажите, что у вас есть ко мне хоть маленькая доверенность. Вы свободны всегда оставить наш дом, если обязанность эта вам покажется тяжела. Согласитесь!

— Я готова... но на одном условии.

— Всё, что вам угодно.

— Чтоб, кроме детей, на меня не была возложена обязанность развлекать...

— Болтать по-русски с детьми, гулять с ними,— перебил Марк Семеныч,— вот и всё! Жалованье, может быть, покажется вам ничтожно...

— И должность моя у вас в доме...

— Вы убиваете меня! Я должен наконец высказать то, что я от всех скрываю. Слушайте! Вы заставляете меня прикасаться к моей страшной ране,— в волнении сказал Марк Семеныч.

— Замолчите: я не хочу, я...— пугливо воскликнула путешественница.

— Теперь поздно! слушайте: я люблю мою жену, она женщина добрая, благородная, но... воспитание или, может быть, характер... но она мало занимается детьми. Впрочем, ей и некогда: она живет в свете... Я страдаю жестоко, видя, что дети мои отданы в руки наемщицам.

— Разве я не то же самое буду у вас в доме? — спросила путешественница.

— Вы? о нет, нет! Я буду покоен и счастлив, когда увижу вас около моих детей. Они, я замечаю, тоскуют, что нет около них нежного и любящего человека. О, сделайте их счастливыми; у вас столько теплоты и чувства, что вы замените им многое!

Марк Семеныч говорил долго и очень красноречиво в этом роде, так что путешественница видимо была тронута. Марк Семеныч продолжал:

— Я понимаю, что для всякой женщины эти обязанности тяжелы, тем более в ваши года; но вы, верно, не откажетесь помочь отцу в воспитании детей. Я прошу у вас этого, как благодеяния.

Путешественница согласилась через два дня явиться к жене Марка Семеныча с рекомендательным письмом, которое он ей доставит.

В назначенный день и час путешественница села в наемную карету четверкой, потому что летом семейство Марка Семеныча жило в двадцати верстах от города, в своей деревне. По волнению путешественницы можно было заключить, что новое звание, в которое готовилась она вступить, слишком ее тревожит.

Приехав к богатому дому с разными аристократическими затеями, она вышла на лестницу, которая вся была уставлена цветами. Ее отвели в небольшую гостиную, убранную роскошно. Большие двери с зеркальными стеклами, начинавшимися с самого пола, выходили на огромную террасу, обтянутую полосатым холстом и всю уставленную цветами. Терраса вела в огромный густой сад; вдали виднелся большой луг, по которому бегали дети. На столе у кушетки был приготовлен прибор для кофе из дорогого севрского фарфора.

Через несколько минут в комнату вошла высокая женщина, лет тридцати, очень стройная, несмотря на роскошь плеч. Черты ее лица были строгой правильности. Цвет его был белизны необыкновенной, тонкость кожи поразитель-

ная. Глаза у ней были серые, очень строгие и быстрые, опушенные густыми темно-красноватыми ресницами, так что издали они казались черными. Несколько бледных веснушек было на ее лице. Но ни красноватость ее волос, ни бледные веснушки не портили ее красоты, а, напротив, делали ее очень оригинальною. Одета она была по-утреннему: вся в белом; дорогой кружевной вуаль накинут был на ее голове; передние волосы были в папильотках. Она быстро окинула с ног до головы путешественницу, или, лучше сказать, новую гувернантку, которая поклонилась ей с большим достоинством и подала письмо.

— Садитесь,— сказала хозяйка дома и стала читать письмо. Окончив чтение, она смело взглянула в глаза своей гувернантки и сказала: — Очень рада, mademoiselle Анет, что буду иметь вас в доме. Об вас так много пишет madame Андерсон...

И она опять окинула с ног до головы mademoiselle Анет, которая довольно смело вынесла этот обзор.

— Хотите видеть своих будущих учениц и учеников? — спросила хозяйка дома после некоторого молчания.

— Очень рада!

Хозяйка позвонила: вошел лакей, и ему велено было привести детей. Дети вошли через террасу в сопровождении желтой, сухой, вертлявой француженки с талиею в рюмочку. Ее впалые желтые щеки прикрывались взбитыми большими пуклями, как бы из тафты.

Дети, сделав реверанс и расшаркиваясь, поцеловали руку у своей матери, которая гладила кого по щеке, кого по плечу.

Француженка, сделав хозяйке почтительный реверанс, спросила, как ее здоровье, и устремила с жадностью свои черные глаза на mademoiselle Анет.

— Дети, вот вам папа́ взял еще гувернантку; познакомьтесь с ней, проводите ее в сад,— сказала хозяйка дома.

Дети отрекомендовались новой своей гувернантке и повели ее в сад. Уходя, mademoiselle Анет слышала следующий разговор между хозяйкой дома и француженкой, происходивший вполголоса на французском языке.

— Какой гордый взгляд, какие манеры! как будто она вовсе не гувернантка! — сказала хозяйка дома.

— Ваш муж, верно, недоволен нами?

— Нисколько! Он странный: боится, что дети забудут говорить по-русски.

— Да на что им русский язык? они будут жить в порядочном кругу! — возразила француженка.

— Это его упрямство одно!

Mademoiselle Анет очень скоро подружилась с детьми. Старшую дочь звали Софи: ей было лет десять; меньшую — Ольгой; сына старшего — Эжень, а других двух — Серж и Андре.

Эжень вовсе не походил на одиннадцатилетнего ребенка, а скорее на взрослого юношу: он не бегал, говорил отборными фразами и вообще имел повелительный тон старшего над сестрами и братьями.

В полчаса дети успели всё рассказать своей новой гувернантке — когда встает папа́ и мама́, как зовут их гувернанток: англичанку — мисс Бетси, француженку — mademoiselle Клара, а нянюшку — mademoiselle Шарлот.

Mademoiselle Анет, гуляя по саду с детьми, которые показывали ей редкости его, заметила в нижнем этаже угловых комнат чьи-то глаза, выглядывавшие из-за ширм, стоявших на окнах. Она спросила, чья это комната.

— Это папа́,— отвечали дети.

— Он дома?

— Он поздно встает, даже позже мама́! — поспешила ответить Софи.

Через несколько минут явился в сад Марк Семеныч. Дети радостно и шумно кинулись к нему: стали вешаться ему на шею, целовать его; даже преждевременно созревший Эжень превратился в ребенка. С минуту Марк Семеныч был весь в детях: он их ласкал, шутил с ними и потом, взяв дочерей на руки, поднес к mademoiselle Анет и сказал:

— Честь имею рекомендовать вам моих резвушек.

Mademoiselle Анет поклонилась Марку Семенычу, приняла из его рук дочерей и, поцеловав каждую, поставила их на землю.

— Любите их,— тихо произнес Марк Семеныч растроганным голосом, собрав в кучу всех детей около mademoiselle Анет, которая тоже растрогалась и с чувством перецеловала их. Эжень весь вспыхнул и как бы обиделся такой фамильярностью.

— Будьте строги к нему,— шепнул Марк Семеныч mademoiselle Анет, указывая на старшего сына.— Они

успели его испортить... Дети, дети! — прибавил он громко: — Ну, кто скорее добежит до той скамейки?

Дети с криком пустились вперегонку.

— Как она вас приняла? — спросил Марк Семеныч и, не дождавшись ответа, продолжал: — У ней несколько холоден прием, но в душе она очень добра. Вы были в своей комнате? Я боюсь, не покажется ли вам тесно. Вот ваши окна.

И Марк Семеныч указал на второй этаж над окнами его комнаты.

Дети, запыхавшись, возвратились, крича:

— Папа́, Софи, опять Софи добежала!

Софи кинулась к отцу и радостно сказала по-английски:

— Я возле тебя буду обедать сегодня?

— Дети, слушайте: когда вы будете со мной и с mademoiselle Анет, извольте говорить по-русски. Слышите! ни слова на другом языке,— строго произнес Марк Семеныч.

— Maman велит говорить с ней по-французски,— заметил Эжень.

— Прекрасно! значит, следует говорить с ней по-французски, когда она желает.

— Да мне трудно говорить по-русски!

— Учись! Mademoiselle Анет будет так добра, что станет поправлять твои ошибки.

— Зачем нам говорить по-русски, папа́? и с кем? у нас все гости говорят по-французски,— заметил Серж.

— Ты русский: значит, должен хорошо говорить по-русски; а не то над тобой будут смеяться: скажут, что ты не русский...

— Мисс Бетси говорит, что по-русски одни мужицкие рожи говорят,— перебил его Андре.

— Вы видите, чему их учат эти иностранки! — с тяжелым вздохом сказал Марк Семеныч.

Mademoiselle Клара, припрыгивая, бежала к ним.

— Вот идет любимица моей жены,— самая хитрая из женщин, каких я только видел. Держите себя осторожнее с нею.

— Я притворюсь, что не понимаю по-французски.

— И прекрасно сделаете!

— Monsieur, ваша жена желает вас видеть,— делая реверанс, сказала по-французски mademoiselle Клара.

— Bonjour, mademoiselle, * — отвечал на поклон Марк Семеныч и пошел к террасе, где лежала в креслах особенного устройства хозяйка дома и покачивалась.

Марк Семеныч подошел к жене и поцеловал у ней руку.

— Bonjour, — сказала хозяйка дома, продолжая качаться.

Молчание длилось с минуту.

— Ты дома обедаешь сегодня? — спросила она.

— Дома, Надинь.

— Скажи, пожалуйста, что это за лицо, новая твоя гувернантка?

— А что? не правда ли, она похожа на Веру?

— Не заметила. Она какая-то странная! Ее манеры, голос, взгляд... как будто она что-нибудь важное... Где ты отыскал такую?

— Ты знаешь, что у madame Андерсон пансион и очень часто из ее бывших воспитанниц идут в гувернантки. Я ее просил давно.

— Интересно знать, как жила она, в каком доме, — я уверена, что не на правах гувернантки, — как бы рассуждая сама с собой, говорила Надинь.

Марк Семеныч искоса взглянул на жену, которая продолжала раскачивать креслы.

— Если ты недовольна, ей можно отказать, — заметил Марк Семеныч.

— О нет, пожалуйста! я не вмешиваюсь в эти дела: делай как знаешь. Я так только заметила, что гордая осанка этой женщины или девушки мне показалась смешна. Но она очень недурна всё-таки. Я люблю хорошеньких женщин вокруг себя.

Марк Семеныч молчал, рассматривая цветы, стоявшие на террасе.

— Да, я забыла тебе сказать, что серые лошади мои никуда не годятся. Я хочу вороных.

— Друг мой, давно ли я купил для тебя серых потому, что вороные не нравились тебе?

— Мне это нравится! Вы купите мне хороших серых, а не...

— Но ты знаешь, что просили с меня за двух орловских рысаков, а тебе еще нужна четверка.

---

* Здравствуйте, мадемуазель! *(франц.)*

— Вы знаете, что я не люблю вмешиваться в ваши дела,— небрежно отвечала Надинь.

— Я тебе бы это советовал, потому что тогда ты, может быть, не была бы так требовательна, тем более что у нас дети.

— Вот ваш припев ко всему! Ну что могут иметь общего с орловскими рысаками дети? ну какое сравнение? — горячась, говорила Надинь.

— Граф Тавровский! — доложил лакей, явясь в дверях террасы.

Надинь в минуту приняла самое беспечное выражение лица, грациозную позу, и, качнув с силою креслы, которые быстро стали качаться, она повернула голову к двери, где стоял Тавровский (тот самый, с которым мы уже знакомы; но тогда он был моложе, в самом расцвете лет). Он раскланялся с хозяйкой и с хозяином дома и сел возле Надинь, которая сказала:

— Что нового?

— Ничего... впрочем, я думаю, это будет ново: я ужасно устал и хочу спать! Представьте, мы вчера скакали верхом вместо жокеев,— отвечал Тавровский.

— Какие фарсы вы всё придумываете! и от этого вы не были на даче у князя? — спросила Надинь.

— Кто же выиграл приз? — спросил в то же время Марк Семеныч.

— Я,— ответил Тавровский.

— Значит, целая ночь прошла в поздравлениях?

— Угадали, и я, как видите, только переменил туалет — на лошадь и к вам!

— Браво! — смеясь, сказал Марк Семеныч.

— Да вы так превратитесь в самом деле в искусного жокея,— тоже смеясь, подхватила Надинь.

— Это кто стоит с mademoiselle Кларой? Неужели мисс Бетси превратилась в такую худенькую и стройную? — заметил Тавровский, глядя на луг, где бегали дети.

Надинь оправила вуаль на своей голове и довольно резко сказала:

— Это новая гувернантка, русская.

— Это что значит? зачем русская? — спросил удивленный Тавровский, смотря на Марка Семеныча, который с досадою отвечал:

— Я надеюсь, что моим детям надо уметь говорить по-русски?

— Mademoiselle Клара, mademoiselle Клара! — кричала Надинь, махая платком.

Француженка подбежала к террасе и раскланялась с Тавровским.

— Позовите детей и... как ее...

— Mademoiselle Анет?

— Да!

Разговор, разумеется, был на французском языке, на котором Надинь и продолжала, обращаясь к Тавровскому:

— Я должна вас предупредить, что эта mademoiselle Анет очень смешная особа; она держит себя, как будто она член нашего семейства.

И Надинь засмеялась.

— Ты привыкла к mademoiselle Кларе и ее манерам, и потому она тебе такой кажется! — с горячностью возразил Марк Семеныч.

Надинь подняла брови, как бы удивленная чем-то; и, улыбаясь иронически, сказала:

— Ты так преследуешь mademoiselle Клару, что я начинаю подозревать, что тебе не удалось приобресть ее расположение.

— Полноте! вы обижаете его! неужели у него такой вкус! — смеясь, сказал Тавровский.

— Шутки ваши слишком странны, Надежда Александровна! Вы очень хорошо знаете, что если бы гувернантка моих детей была и красавица, то и тогда бы я не стал заискивать ее расположение.

— Пуританин! — смеясь, подхватила Надежда Александровна и шепотом произнесла:— Тише: она близко.

Mademoiselle Анет в самом деле имела спокойно-величавую походку, которая при ее выразительно-красивом лице невольно бросалась в глаза,— тем более что возле нее, как угорь, вертелась mademoiselle Клара.

— Какая хорошенькая! поздравляю! Право, приятно иметь такую гувернантку,— шептал Тавровский.

Mademoiselle Анет медленно вошла на ступеньки террасы, пустив вперед детей, которые кинулись с распростертыми объятиями к Тавровскому. Mademoiselle Анет осталась на последней ступеньке, спокойно вынося взгляды сидящих.

Марк Семеныч подал стул mademoiselle Анет. Поблагодарив его, она села.

Надежда Александровна тотчас же встала и пошла в гостиную.

Тавровский, играя с детьми, не сводил глаз с новой гувернантки и шепнул Эженю:

— Ты, я думаю, очень рад, что у вас такая хорошенькая гувернантка?

— Еще бы! у ней отличные руки и уши. Я попробую снять с нее портрет,— важно отвечал Эжень.

— И подари мне.

— Граф! — кричала из гостиной Надежда Александровна.

Тавровский нехотя вошел в гостиную и сел в креслы, возле кушетки, на которой полулежала хозяйка дома. Она спросила язвительно:

— Вы, кажется, тоже были поражены ее надменностью?

— Она очень хороша собой.

— Как это скучно! Я вовсе не об этом хочу говорить,— не без досады перебила его Надежда Александровна.

— Извините!

С минуту длилось молчание. Надежда Александровна сказала:

— Ах, как шумят дети!

— Я скажу, чтоб они шли играть дальше.

— Не беспокойтесь... Mademoiselle Анет!

Mademoiselle Анет явилась в дверях.

— Потрудитесь увести детей в сад,— сказала Надежда Александровна.

Mademoiselle Анет молча пошла.

— Знаете ли, она у меня с утра, а я еще голоса ее не слыхала: она, кажется, боится говорить. Впрочем, у ней, может быть, дурные зубы.

— Посмотрите, какие отличные! вот она улыбнулась! — воскликнул Тавровский.

— Странно! я заметила, что женщины с дурными зубами все очень серьезны.

— Везде есть исключения. Вы так проницательны, что, верно, заметили, какая у ней маленькая ножка.

Надежда Александровна вспыхнула, и невольно ее нога быстро спряталась под платье.

Тавровский подошел к дверям террасы и стал глядеть на луг, где бегали дети, mademoiselle Анет и Марк Семеныч. Надежда Александровна тихонько подкралась к Тавровскому и тоже глядела на луг.

В самом деле, было очень любопытно видеть mademoi-

selle Анет, которая, отбросив свою гордую осанку, резвилась, как дитя. Она ловко изгибалась, обманывая детей, догонявших ее, и вдруг сделала такое движение, что гребенка выпала у ней из косы, и длинные, густые волосы, ничем не связанные, рассыпались по ее плечам. Она силилась вырваться из рук обрадовавшихся детей, чтоб привести свои волосы в порядок, но они не давали ей этого сделать.

— Какие волосы! как хороша она так! — сказал Тавровский.

Надежда Александровна кусала губы, щурясь, глядя на луг, и отвечала:

— Я держу пари, что эта гребенка упала с расчетом.

— И расчет был верен, потому что она так великолепно-хороша...

— Мне кажется, что она какая-нибудь колдунья. Посмотрите, как разбегался мой муж: хочет показать, что он еще молод! — смеясь принужденно, говорила Надежда Александровна.

— Я пойду тоже бегать! — сказал Тавровский и кинулся с террасы.

— Поль! Поль! — стиснув зубы, кричала ему вслед Надежда Александровна.

Но он не воротился, и лицо ее приняло такое злое выражение, что вся красота ее исчезла. Она кинулась в креслы и с силою стала качаться, потом вскочила, почти бегом пробежала комнату и дернула так сильно за шнурок колокольчика, что кисть осталась в ее руках. Отбросив ее от себя далеко, она сказала отрывисто вошедшему лакею:

— Мисс Бетси!

Через две минуты вошла, или, лучше сказать, вкатилась, толстая англичанка. Огненные ее волосы были взбиты в мелкие пукли; на голове ее был чепчик с лиловыми лентами, но и он не мог скрыть ее жидкой косы и таких жидких волос, что красная кожа на голове просвечивалась. Она была затянута в пестрое платье, и пышная ее талия была открыта.

— Детей за класс! — не отвечая на поклон мисс Бетси, сказала Надежда Александровна и нетерпеливо глядела вслед толстой англичанке. Потом она подошла к зеркалу, оправила вуаль на голове и, приняв спокойное выражение лица, пошла на террасу, мимоходом взяв какую-то книгу. Она уселась в креслы и стала качаться; но

покачивание на этот раз было медленно, выражение лица так кротко; ее серые быстрые глаза щурились и наконец закрылись.

В это время Тавровский возвратился к террасе; но голова его была повернута к лугу, где дети плакали, узнав, что им велят идти учиться.

Когда он подошел к ступенькам и увидел дремавшую в креслах Надежду Александровну, он остановился, посмотрел с улыбкой на спящую и повернул назад. Спящая быстро открыла глаза и крикнула:

— Поль!

— Я думал, вы спите...

— Вы куда идете?

— Назад. Я было пришел ходатайствовать за детей.

— Останьтесь! — повелительно произнесла Надежда Александровна.

— Вы, кажется, считаете меня тоже за ребенка? Но вам трудно будет сладить со мной; я очень капризен и...

— Разве это вежливо — убежать и оставить,— горячась, перебила его Надежда Александровна.

Тавровский, смеясь, в свою очередь перебил ее, сказав:

— Мы играли с детьми. Вообразите, я было догнал ее и взял за руку: как она на меня посмотрит... Я сконфузился даже.

— Вы, кажется, слишком много приписываете могуществу ее взгляда; чтоб вас привести в смущение, надо...

Надежда Александровна остановилась и, взяв неожиданно под руку Тавровского, повлекла его к лугу. Подходя к детям, она приняла такой строгий вид, что Марк Семеныч сказал:

— Надинь, ты не сердись; это я виноват.

Но Надинь не слушала его и строго спросила мисс Бетси по-французски:

— Что значит, что дети не уведены?

— Они заигрались! — подхватила mademoiselle Клара.

— Maman, позвольте! — со слезами бормотали дети.

— Надинь, дай им поиграть еще! — сказал Марк Семеныч.

— Вздор! голову мне вскружили своими криками,— отвечала Надежда Александровна и повелительным жестом приказала детям удалиться.

Мисс Бетси и mademoiselle Клара пошли за детьми.

Mademoiselle Анет тоже хотела было следовать за ними; но хозяйка дома остановила ее, сказав небрежно:

— Вы теперь им не нужны, можете идти в свою комнату.

Марк Семеныч подхватил любезно:

— Вы, я думаю, устали. Мы, кажется, слишком пользовались вашей добротой. Позвольте, я вас провожу.

— Mademoiselle Клара, mademoiselle Клара! — закричала Надежда Александровна, не выпуская руки Тавровского.

Француженка подбежала к хозяйке дома, которая сказала:

— Прикажите провести ее в ее комнату,— и, обратясь к Марку Семенычу, она поманила его к себе.

Он подошел; жена взяла его под руку и, глядя язвительно то тому, то другому в лицо, молча повела их на террасу.

Комнаты, назначенные для новой гувернантки, были очень милы и удобно меблированы. Одна выходила в сад и была перегорожена занавесью, так что из нее вышла спальня и маленькая гостиная. Другая выходила на двор; в ней была уборная. Из каждой комнаты был выход: из одной — на двор, из другой — в сад.

Явилась горничная, очень порядочной наружности, и стала разбирать чемоданы.

Mademoiselle Анет, сев у окна в мягкие креслы, так задумалась, что не замечала Марка Семеныча, стоявшего уже с минуту в дверях и пристально смотревшего на нее.

Mademoiselle Анет, наконец увидя его, быстро встала. Марк Семеныч кинулся к ней, взял ее руку и тихо, с волнением сказал:

— Простите, простите меня!

— Что вы, Марк Семеныч!

— Я виноват: вы...

— Полноте! — с принужденною веселостью перебила его mademoiselle Анет, и, придвигая стул к окну, она сказала: — Садитесь! — но, как бы опомнясь, улыбнулась, положила руку на спинку стула и продолжала: — Я еще не привыкла к своему новому положению; но я скоро совершенно войду в него. Эти комнатки очень миленькие, и я...

— Скажите, может быть, чего-нибудь недостает здесь?

— Нет, здесь всё так удобно!

— Я рад, что хоть комнатой вы довольны.

— Я всем довольна... Ваши дети очень милы.

Марк Семеныч тяжело вздохнул.

Молчание длилось с минуту. Марк Семеныч сказал:

— Для вас избрана горничная очень порядочная; вы можете быть покойны на этот счет.

— Благодарю вас.

— Может быть, вам не нравится, что ваши комнаты очень отдалены от других? Но всё занято, и я думал, что вам здесь будет свободнее.

— Вы очень добры.

— Я, кажется, вас стесняю! — как бы только теперь заметив, что mademoiselle Анет стоит, сказал Марк Семеныч и, раскланиваясь, прибавил: — Мы будем обедать в пять часов en famille. *

Не успел скрыться Марк Семеныч, как mademoiselle Анет вошла в уборную, думая застать горничную; но ее уже не было. Она подошла к окну и, взглянув в него, услышала топанье лошадей и свист бича. Тавровский сидел впереди в четвероместном шарабане, запряженном серыми лошадьми. Надежда Александровна и mademoiselle Клара усаживались на второе место. Шарабан уже двинулся, как Тавровский повернул голову к дамам, верно желая что-нибудь сказать, и его глаза встретились с глазами mademoiselle Анет. Он почтительно приподнял шляпу, отчего женские головы, как бы через электрический удар, повернулись к окну; но mademoiselle Анет успела скрыться.

Эжень был прислан отцом за mademoiselle Анет, чтоб вести ее в столовую. Комната была большая, освещенная сверху. Огромное зеркало вделано в простенке; с боков были этажерки с вазами и разными редкими сервизами. Громадный буфет занимал почти всю ширину стены столовой. Стол был уже накрыт. Все гувернантки и дети находились в ней. Марк Семеныч встретил новую гувернантку в дверях столовой и, приветливо улыбаясь, сказал:

— Эжень выпросил у меня позволение быть вашим кавалером сегодня. Позволите ли вы ему?

— Мне очень лестно иметь такого кавалера,— отвечала mademoiselle Анет и заметила выразительный взгляд, которым обменялись мисс Бетси и mademoiselle Клара.

Явилась Надежда Александровна, разряженная в пух. Рыжеватые ее пукли были распущены и взбиты. но вуаль не покидал ее головы. Слегка прищурив глаза, она окинула столовую и быстро спросила:

---

* по-семейному *(франц.)*

— А где Тавровский?

— Не знаю! — отвечал Марк Семеныч.

Хозяйка нахмурилась и с досадою села за стол; она очень мало ела и вдруг спросила Марка Семеныча:

— Это что значит, что ты на новом месте сидишь сегодня?

— Мне так лучше!

Надежда Александровна обвела глазами весь стол и остановилась на mademoiselle Анет, которая тоже переменила свой туалет и была одета просто, но с большим вкусом. Целый обед новая гувернантка находилась под взглядами хозяйки.

Mademoiselle Анет нечаянно взглянула в зеркало и встретила глаза Марка Семеныча, устремленные на нее. Она невольно вспыхнула, и яркий румянец не сходил с ее щек в продолжение всего обеда. Когда встали из-за стола, хозяйка тотчас удалилась к себе, mademoiselle Клара и мисс Бетси тоже, а mademoiselle Анет повела детей в сад; оттуда она видела Марка Семеныча, сидящего у себя в кабинете у окна с сигарою.

Дети играли до семи часов. Марк Семеныч явился к ним со шляпою, перецеловал всех, раскланялся с mademoiselle Анет и пошел к террасе. Mademoiselle Анет узнала от детей, что Марк Семеныч с незапамятных времен в семь часов уезжал в клуб, не только в городе, но даже и из деревни.

Должность mademoiselle Анет не была весьма трудна. Дети ее ужасно полюбили, потому что она от них ничего не требовала, кроме веселости. Она изобретала им игры, в которых, казалось, иногда сама не менее их принимала участье. Одно было ей неприятно: это пытливые взгляды и тон Надежды Александровны.

Mademoiselle Клара льстила mademoiselle Анет, навязывала ей свои сердечные тайны, коверкая в разговорах русский язык, перемешанный с французскими фразами. Мисс Бетси сохраняла полное равнодушие к mademoiselle Анет. По-русски она с ней ни слова не говорила; но в ее присутствии она еще сильнее пыхтела. Так что mademoiselle Анет никого не нашла в доме, с кем бы могла сблизиться. Одно существо ей очень нравилось: что mademoiselle Шарлот; но она вечно была занята, и притом, кроме немецкого языка, не умела ни на каком говорить, а mademoiselle Анет его очень плохо даже понимала, и они, встречаясь, только дружелюбно улыбались друг другу.

Бедная mademoiselle Шарлот была труженица в доме. Она разливала чай не только детям, но и всем гостям. На ее руках был весь гардероб детей, и за всякое упущение в нем Надежда Александровна очень строго взыскивала.

В несколько времени mademoiselle Анет обжилась в доме; но всё-таки она никак не могла покойно выносить свою роль в гостиной, когда были гости и она должна была присутствовать с детьми. Впрочем, на это была очень понятная причина. Надежда Александровна имела особый дар выискивать случаи делать ей вслух замечания, что она пренебрегла своей обязанностью.

Тавровского mademoiselle Анет видала всякий день и никак не могла иметь настолько власти над собой, чтоб не краснеть при его появлении. Впрочем, Тавровский так был красив собой, умен, любезен, что его внимание и для женщины, очень высоко стоящей в обществе, было бы лестно, не только для гувернантки: mademoiselle Анет в его присутствии чувствовала, что его внимание к ней ставит ее выше всех находящихся в гостиной, потому что все женщины искали одного его взгляда, ловили его слово и он был всюду первый.

Mademoiselle Анет замечала, что внимание его к ней оскорбляло многих и злило; но иногда мелочное мщение — такое сладкое чувство для женщины! Ее стал беспокоить Марк Семеныч своими наблюдениями за ней, особенно когда она говорила с Тавровским,— хотя он маскировал их,— как например: он садился против зеркала и оттуда глядел на mademoiselle Анет или, взяв книгу, делал вид, что читает, но вместо того следил за каждым движением ее. Раз mademoiselle Анет была свидетельницей очень неприятной домашней сцены. Надежда Александровна за столом стала подсмеиваться над Марком Семенычем, что он сделался домоседом и даже забыл клуб. Это была правда; но Марк Семеныч очень разгорячился, и они крупно говорили.

Марк Семеныч в семь часов вечера, каждый день после обеда, усаживал детей в большой шарабан, mademoiselle Анет и mademoiselle Шарлот брались для надзора за ними, и он, сам правя, возил их по парку своему, который был огромен. Раз, когда они катались, их встретил Тавровский верхом с жокеем сзади.

Марк Семеныч заметно был недоволен этой встречей и спросил его:

— Это как вы сюда попали?

— Я ехал к вам, и мне вздумалось прогуляться... А вы часто делаете такие прогулки? — спросил Тавровский, обратясь к mademoiselle Анет, которая отвечала:

— Всякий день; дети очень любят кататься.

— Где же они? — озираясь во все стороны, спросил Тавровский.

— Они с mademoiselle Шарлот собирают травы какие-то,— отвечала mademoiselle Анет и, любуясь лошадью Тавровского, прибавила: — Какая красивая у вас лошадь!

Тавровский ехал близко шарабана, со стороны, где сидела mademoiselle Анет, которая потрепала лошадь по шее. Он быстро остановил ее и, наклонясь, поцеловал то место, к которому прикасалась рука mademoiselle Анет. Это было сделано так быстро, что краска, бросившаяся ей в лицо, не успела скрыться, как Тавровский ехал опять возле и, трепля лошадь по шее, говорил вполголоса:

— Счастливица, счастливица!

И, обратясь к mademoiselle Анет, он спросил ее:

— Вы ездите верхом?

— Да! — отвечала она, не повертывая головы, чтоб скрыть свою краску.

— Вы ездите? что же вы мне не сказали? — с упреком подхватил Марк Семеныч.

— Нет, извините, я первый спросил! — воскликнул Тавровский и торопливо прибавил, обращаясь к mademoiselle Анет: — Вы мне позволите быть вашим кавалером?

— Да я вовсе не думала делать прогулки верхом.

— Если вы желаете, то каждый вечер можете иметь смирную лошадь и верхом с нами делать прогулку! — говорил Марк Семеныч, стараясь гнать своих лошадей.

— Вы напрасно мучите лошадей: моя три приза выиграла! — смеясь, сказал Тавровский, скача в галоп возле шарабана.

— С чего вы взяли, что я еду скоро от вас? — сухо отвечал Марк Семеныч.

И mademoiselle Анет заметила, что руки его дрожали.

Дети и mademoiselle Шарлот с травами ожидали шарабана, который остановился. Тавровский бросил повода своему жокею и высадил mademoiselle Анет, которая стала усаживать детей. Эжень сел с отцом, mademoiselle Шарлот на вторую скамейку, с Софи и маленькими детьми, а mademoiselle Анет на последнюю, с Ольгой.

Тавровский уже занес ногу в стремя, как вдруг кинулся к шарабану, уже двинувшемуся, ловко вскочил в него

и сел возле mademoiselle Анет, взяв Ольгу на руки. Марк Семеныч остановил лошадей и сказал:

— Угодно вам править?

— Нет, избавьте: вы знаете, я езжу неосторожно, а здесь столько драгоценностей сидит для вас.

— Я устал, возьмите! — бросая вожжи, сказал Марк Семеныч.

— Что вы делаете! — воскликнул Тавровский, кинувшись из шарабана и схватив под уздцы лошадей, которые хотели тронуться с места.

Марк Семеныч закрыл лицо руками и, повеся голову на грудь, сидел молча.

— Что с вами? — иронически спросил Тавровский, подавая ему вожжи.

Дети и гувернантка тревожно глядели на Марка Семеныча, который, подняв голову и тяжело вздохнув, сказал:

— Вдруг что-то голова закружилась!

И точно, лицо его было бледно.

— Извините, я не догадался и думал, что вы из вежливости предлагаете мне править.

— Садитесь возле меня! если опять у меня закружится голова, вы возьмете на себя труд править лошадьми,— отрывисто сказал Марк Семеныч.

— С большим удовольствием! — отвечал Тавровский и посадил Эженя к mademoiselle Анет. Он успел шепнуть ей: «Будьте осторожнее» — и сел возле Марка Семеныча.

Шарабан помчался. Дети снова заболтали.

Тавровский шутил и всё время ехал лицом к дамам.

В этот вечер хозяйка дома уехала куда-то в гости. Mademoiselle Клара и мисс Бетси ждали их пить чай в комнате, где стояло фортепьяно. Mademoiselle Клара не скрыла своего удивления при виде Тавровского.

Чай прошел очень весело. Дети шумели, играя с Тавровским. Когда окончился чай, он сказал:

— Mademoiselle Клара, сделайте одолжение, сыграйте англез.

— С большим удовольствием! Вы будете танцевать?

— Да, я буду просить мисс Бетси.

И он стал упрашивать ее идти с ним танцевать.

Мисс Бетси злилась, пыхтела, дети кричали, смеясь, под игру mademoiselle Клары.

Mademoiselle Анет стояла у фортепьян, разбирая ноты,

чтоб скрыть свой смех. Марк Семеныч подошел к ней и что-то вполголоса говорил ей.

Глаза mademoiselle Клары поминутно перебегали от клавишей на Марка Семеныча и mademoiselle Анет, которая смеялась, глядя, как Тавровский танцевал англез с Софи и, подражая толстяку, пыхтел и тяжело прыгал. По окончании танца mademoiselle Клара заиграла вальс и сказала:

— Эжень, ангажируйте mademoiselle Анет; мы еще не видали, как она танцует.

Начался бал. Дети и большие вальсировали. Марк Семеныч, по просьбе дочери, пошел тоже кружиться.

Тавровский ангажировал mademoiselle Анет, и они минут десять вертелись так, что Марк Семеныч шепнул mademoiselle Кларе:

— Перестаньте играть: он закружит ее.

Тавровский усадил свою даму, подошел к mademoiselle Кларе и сказал:

— Вы, верно, устали? извините! Но mademoiselle Анет так легко вальсирует, что я готов целый день с ней кружиться.

И Тавровский, сев за фортепьяно, продолжал играть вальс, тихо напевая его. Глаза его горели, и вся его фигура так была выразительна, что все как бы невольно смотрели на него. Mademoiselle Клара сказала:

— Спойте что-нибудь!

Тавровский, как бы опомнясь, встал со стула и, указывая на него mademoiselle Кларе, сказал:

— Подайте пример.

Француженка стала гримасничать, отговариваться, но когда ее перестали просить, она откашлялась и начала петь какую-то итальянскую арию. Голос у ней был очень плох и вовсе не для такого пения: она фальшивила и голос у ней сорвался раза два. Тогда она сказала Тавровскому:

— Лучше дуэт из «Монтеки и Капулети».

Тавровский согласился, и начался дуэт. Голос у него был сильный и удивительно приятный, метода пения отличная, так что mademoiselle Клару нельзя было слушать. В продолжение всего пения Тавровский не спускал глаз с mademoiselle Анет, стоявшей на другой стороне, против него. Тавровский как будто видел перед собою Юлию и к ней пел. Mademoiselle Анет находилась в

странном волнении и, как бы околдованная, не могла свести глаз с него.

Мисс Бетси слушала внимательно пение. Один Марк Семеныч скорыми шагами ходил по комнате. И когда кончился дуэт, он подошел к фортепьяно и сказал:

— Ну, дети, русскую песню!

Дети обступили отца и запели «Вниз по матушке по Волге...» Даже mademoiselle Клара и мисс Бетси подтягивали. Тавровский тоже пел. Наконец и mademoiselle Анет решилась присоединить свой голос.

— А-а-а! вы поете? спойте, спойте нам что-нибудь! — остановясь внезапно, сказал Марк Семеныч, обращаясь к mademoiselle Анет, которая пугливо отвечала:

— О, я не умею петь!

— Не может быть! Ну что-нибудь! — сказал Тавровский.

Дети тоже осыпали ее своими просьбами и поцелуями, так что mademoiselle Анет силою посажена была за фортепьяно.

— Только с хором! — сказала наконец mademoiselle Анет, взяв аккорд.

— Извольте, извольте! — отвечали ей.

В комнате настала тишина, и mademoiselle Анет, собравшись с силами, неполным голосом запела русскую песню, бывшую тогда в моде.

Хор аккомпанировал ей. Голос певицы всё становился громче, и наконец она запела с таким увлечением и так вела хор, что Марк Семеныч и Тавровский пришли в восторг.

— Спойте еще что-нибудь! — говорил Марк Семеныч, когда mademoiselle Анет окончила петь.

Mademoiselle Анет запела романс Офелии. Молчание сделалось страшное. Слезы блестели на глазах Марка Семеныча, мисс Бетси подошла ближе к стулу певицы и, освободив одно ухо из-под чепчика, напряженно слушала. Mademoiselle Анет уже без просьб запела романс Дездемоны из второго акта.

Посреди глубокой тишины вошла в комнату хозяйка дома, только что возвратившаяся из гостей. Кто стоял сзади, заметил ее присутствие и попятился назад, сообщив эту весть соседу; наконец все отошли от фортепьян. Одна mademoiselle Анет ничего не замечала и продолжала петь. Хозяйка дома в эту минуту очень походила бы на Отелло, если б не была рыжевата. Вместо кинжала она коснулась

ручкой зонтика до плеча mademoiselle Анет и строго произнесла:

— Довольно!

Mademoiselle Анет, вскрикнув, соскочила со стула, но опять села на него; страшно побледнев и закрыв лицо руками, она зарыдала. Тавровский кинулся к ней; голова mademoiselle Анет лежала на его груди, и рыдания наполняли комнату.

— Воды! воды! — кричал Марк Семеныч.

Все суетились в комнате, исключая хозяйки дома, которая стояла на одном месте и гневно на всех смотрела.

Освежась водой, mademoiselle Анет быстро встала, оглядела комнату и тихо сказала:

— Я испугалась... впрочем, ничего... это...

Надежда Александровна подошла к зеркалу и, срывая свои перчатки, сказала сердито:

— Мисс Бетси, уведите детей!

И, бросясь на стул, она нетерпеливо стучала ногой об пол.

Все двинулись из комнаты, исключая Марка Семеныча, который сказал:

— Надинь!

Но она не слыхала, потому что провожала глазами Тавровского, подавшего руку mademoiselle Анет. Они медленно шли, тихо разговаривая.

— Надежда Александровна! — опять сказал Марк Семеныч.

Надежда Александровна быстро повернула голову и так взглянула на Марка Семеныча, что он сделал нетерпеливый жест и, сев у фортепьян, стал барабанить по клавишам.

— Вы надоели мне с музыкой! — вставая, сказала Надежда Александровна и, позвонив в колокольчик, прибавила вошедшему лакею: — Вынести отсюда фортепьяно.

— Надинь! — воскликнул Марк Семеныч.

— Куда прикажете? — спросил лакей.

— На чердак!

— Помилуй, Надинь! как же дети будут учиться?

— Ну так в детскую! Скорее!

— Это слишком! Неужели для детей нет комнаты? — заносчиво начал Марк Семеныч; но его перебила Надежда Александровна:

— Не от детей, а от пения ваших гувернанток я избавляю себя.

— Напрасно! она поет очень хорошо! — сказал Тавровский, входя в комнату.

— Вы, верно, так заслушались, что забыли ваше слово приехать к Мари? — язвительно заметила Надежда Александровна.

— И вы не ошиблись: я так приятно провел время, что...

— Я не любопытна! прощайте!

И Надежда Александровна вышла из комнаты. Тавровский взял шляпу и сказал Марку Семенычу:

— Поедемте в клуб!

— Нет, я буду дома.

— Об вас все спрашивают, не знают, что думать, и решили, что вы влюблены! — натягивая перчатки, говорил Тавровский.

— Кому какое дело, бываю ли я или нет в клубе! — горячась, отвечал Марк Семеныч.

— Разве вы не знаете, что партнер так же любопытен, как ревнивая женщина. До свидания!

И Тавровский удалился, а Марк Семеныч долго сидел задумчиво за фортепьяно, склонив голову на грудь; несколько лакеев стояли у дверей и шептались между собой, готовые вынести фортепьяно...

Несколько дней Надежда Александровна не выходила к столу. Все в доме ходили на цыпочках. Марк Семеныч был озабочен и мрачен. Mademoiselle Клара целые дни сидела у больной и занимала роль лектрисы. Мисс Бетси водила к хозяйке дома здороваться и прощаться детей, так что mademoiselle Анет не имела случая видеть больную.

Времени оказалось очень много свободного у mademoiselle Анет, и она занялась чтением маленькой своей библиотеки, стоявшей у ней в комнате в красивом шкапу. Книги были большей частию назидательные, и поля их мелко исписаны карандашом. Писавшая свои заметки особа была очень мрачного настроения духа. Всё говорилось о необходимости жертв, о сладости дружбы; о том же были исписаны целые листы, вложенные в книги. Эти отрывки очень заинтересовали mademoiselle Анет, и она спросила Марка Семеныча, кому принадлежала маленькая библиотека ее.

— А что? — спросил он.

— Может быть, я поступила нескромно, но я прочла заметки в книгах.

— Как вы их нашли?

— Мне кажется, тот, кто писал, должен быть очень несчастлив.

— Вы жалеете о нем?

— Кто же писал?

— Это была комната Веры и ее любимые книги; но когда ее не стало, то я в тяжелые минуты часто приходил туда и...

— Так это ваши...

— Вас удивляет?

Анет молчала. Тогда Марк Семеныч наставительно сказал:

— Никто, кроме вас, мне кажется, не знает, какие глубокие раны в моем сердце. Сожаление пустых людей только растравляет их, и потому я стараюсь иметь личину довольную. Да, одни лицемерят, чтоб приняли в них участье, а я, я решаюсь на это, чтоб избегнуть его. Я горд и хочу только одного искреннего участья.

Марк Семеныч мог говорить свободно с mademoiselle Анет: это было после обеда, во время прогулок детей по саду; часто они выходили даже из калитки в поле.

Наконец Надежда Александровна сняла с себя карантин, потому что на ее наружности не было и тени болезни. Она небрежно отвечала на поклон mademoiselle Анет и оставляла ее без внимания, как будто она была невидимкою для нее.

Гостиная Надежды Александровны была полна молодых людей и дам, исключая Тавровского, который не показывался в дом с того дня, как пела mademoiselle Анет.

Однажды, когда садились за стол, лакей известил о прибытии Тавровского. Надежда Александровна так поспешно встала с своего места, на котором она уже сидела, что mademoiselle Клара закашлялась.

Вошел Тавровский. Он раскланялся с хозяйкой и хозяином дома, потом со всеми и сел возле Надежды Александровны, которая приказала поставить ему прибор. Она спросила:

— Что значит, что вас столько времени не было видно?

— Я был на охоте.

— Целую неделю? — язвительно воскликнула Надежда Александровна.

— Да.

— Странно! а Мари мне говорила, будто бы она вас видела...

— Ошиблась: приняла другого за меня,— отвечал Тавровский и, обращаясь к Эженю, продолжал: — Ну что? как идет твое рисованье?

— Очень хорошо! я теперь рисую головку...— отвечал Эжень.

— Портрет с mademoiselle Анет! — подхватила, смеясь, Софи.

— Неправда! — покраснев, перебил ее Эжень.

— Да, да! ты сам меня спрашивал, похоже ли.

Mademoiselle Анет покраснела.

Мисс Бетси запыхтела и сделала замечание Софи, что она стала говорить очень скоро.

— Да, это правда, и манеры у ней стали какие-то резкие! — подхватила Надежда Александровна.

Краска сменилась бледностью у mademoiselle Анет.

— Немудрено: живость mademoiselle Клары очень увлекательна. Она так грациозна...— смеясь, сказал Тавровский.

— Я не беру на себя выговора, потому что Софи, кроме класса, не бывает со мной,— отвечала mademoiselle Клара.

— И я тоже! — заметила мисс Бетси.

Слезы дрожали на ресницах у mademoiselle Анет. Она сидела потупив глаза. За столом вдруг воцарилось молчание.

Младший сын, сидевший возле mademoiselle Анет, вдруг сказал с грустью:

— Папа́, она плачет!

Глаза всех устремились на бедную, сконфуженную mademoiselle Анет.

— Какая чувствительность! — презрительно воскликнула Надежда Александровна.

Mademoiselle Анет не выдержала, и слезы ручьями потекли по ее лицу; она едва слышно произнесла извинение и встала из-за стола.

Марк Семеныч, подав ей руку, повел ее из столовой. Возвратясь на свое место, он с сердцем сказал:

— Надинь! это жестоко, это...— Надежда Александровна смеялась так весело и простодушно, что Марк Семеныч замолчал и нетерпеливо ждал, когда пройдет порыв этой веселости. Он строго продолжал: — Я вас не узнаю, Надинь.

— Потому что я вмешалась в воспитание моих детей; но я надеюсь, что имею на это право!

— Я был бы очень счастлив, если бы вы это давно сделали; но внимание не так должно выражаться.

— Вы знаете, что я морали не люблю ни читать, ни слушать.

— Однако! — возразил Марк Семеныч, весь вспыхнув.

— Скажите, пожалуйста, нельзя ли мне попробовать убитую вами дичь? — обращаясь к Тавровскому, сказала Надежда Александровна и этим вопросом прекратила свой разговор с Марком Семенычем, который тотчас после обеда, собрав детей, пошел в сад.

Mademoiselle Клара хотела ему сопутствовать; но Марк Семеныч сказал:

— Не беспокойтесь: mademoiselle Анет, верно, будет так добра, что исполнит свою обязанность,— и, обратясь к сыну, он продолжал: — Эжень, сходи к mademoiselle Анет и упроси ее хорошенько, чтоб она вышла в сад.

И Марк Семеныч тоже последовал с детьми за сыном. Он вошел в комнату mademoiselle Анет, которая сидела у окна и, закрыв лицо платком, горько рыдала. Эжень, прибежавший первый, робко стоял в дверях. Марк Семеныч сказал детям:

— Подите и упросите ее, чтоб она перестала.

Дети бросились целовать и обнимать mademoiselle Анет, которая поспешно вытерла слезы, поправила волосы и сказала:

— Я готова...

— Вы и на меня сердитесь,— сказал Марк Семеныч.

— Уверяю вас, что, кроме благодарности и удивления моего к вам, я ровно ничего не имею...

— Вы забыли, может быть, ваше слово разделить со мной тягость воспитания?

— И я сдержу его, потому что я должна же чем-нибудь заплатить вам за то участье...

— Боже мой! не говорите со мной так. Вы для меня принесли жертву.

— Однако зачем их делать свидетелями,— заметила mademoiselle Анет, потому что дети с большим вниманием слушали их разговор.

И они пошли в сад; но не успели они сделать круг, как к ним навстречу шла Надежда Александровна и ласково сказала, обращаясь к mademoiselle Анет:

— А я вас искала.

— Я была в своей комнате,— отвечала mademoiselle Анет.

Надежда Александровна молча пошла возле нее. Она, казалось, хотела что-то сказать ей, но как бы не решалась... и вдруг она торопливо сказала:

— Вы, mademoiselle Анет, извините меня, я не хотела вас обидеть! — И, сказав это, она быстро отошла в сторону и заметила своей дочери, шедшей впереди:— Как я не люблю на тебе, Софи, этого платья!

Тавровский шел навстречу, и когда он встретил Надежду Александровну, то пытливо взглянул на нее, потом на mademoiselle Анет, которой он сказал:

— Я к вам с предложением: не хотите ли попробовать мою верховую лошадь? она очень смирная. Mademoiselle Клара уже подпрыгивает на ней и страшно кричит.

— Благодарю вас! в другой раз.

— Отчего же вы не хотите? — заметила любезно Надежда Александровна.

И все пошли на подъезд, выходящий на большой двор, посреди которого был огорожен луг с зеленой травой; в центре его красовались солнечные часы. Mademoiselle Клара, скривив талию, подпрыгивала на аршин от седла, смеялась, поддерживая свою гребенку в косе. Лошадь вели под уздцы, и она шла легкой рысью.

Дети стали проситься тоже сесть на лошадь, когда mademoiselle Клара сошла с нее. Тавровский сел по-дамски и прокатывал поочередно детей; Марк Семеныч ходил возле и останавливал Тавровского, когда тот скоро ехал. Mademoiselle Анет в это время крепче увернула свою косу, на что не без зависти смотрели Надежда Александровна и гувернантки; потом она надела длинную суконную юбку и ожидала лошади, которую подвел к ней Тавровский, спросив ее:

— Вы как садитесь, с лестницы?

— Нет, я и так могу,— отвечала mademoiselle Анет. Тавровский так приподнял ее, что она с секунду стояла ногой на его руке. Сев на седло, она взяла повода и, оправив платье, повернула лошадь прямо, пришпорила ее и перескочила через перегородку в луг.

Послышались разного рода восклицания.

Тавровский кричал «браво!», Марк Семеныч: «Осторожнее!», дети, прыгая, били в ладоши, а дамы с удовольствием следили за mademoiselle Анет, скакавшей рысью вокруг. Она, казалось, одушевилась, то ехала рысью

по-английски, то просто,— потом, подняв лошадь в галоп, сделала тур, пустила ее во весь карьер и неожиданно остановила перед Тавровским, стоявшим на лугу. Она бросила ему повода и спрыгнула на землю, так что дети вскрикнули, думая, что она упала с лошади. Похвалы сыпались со всех сторон mademoiselle Анет. Надежда Александровна сказала ей:

— Да, вы удивительная наездница! где это вы выучились так ездить?

— В деревне, один из моих родственников, хороший кавалерист, учил меня,— гордо отвечала mademoiselle Анет.

Надежда Александровна подняла брови и произнесла:

— А-а-а!

Марк Семеныч подошел в это время к mademoiselle Анет и сказал:

— Нет, я вам больше не позволю ездить верхом: вы ужасно смелы. Как можно, не зная лошади...

— Ах, как ты скучен с своими моралями! ну, читай их детям! — перебила его Надежда Александровна и закричала Тавровскому, скакавшему по-дамски: — Полноте! теперь вы нас не удивите своей смелостью.

Вечер прошел довольно весело. Приехали гости; но mademoisselle Анет удалилась, потому что детям было время идти спать. Прощаясь с детьми, Тавровский успел тихо спросить mademoiselle Анет:

— Извинялась?

— Кто? — невольно шепотом спросила mademoiselle Анет.

— Кому следовало.

Mademoiselle Анет ничего не отвечала.

Тавровский, взяв на руки Андре и целуя его, сказал ему:

— Поди и крепко поцелуй за меня мисс Бетси.

— Не хочу!

— Ну mademoiselle Клару.

— Не хочу, не хочу! — говорил ребенок.

— Ну а хочешь ли поцеловать mademoiselle Анет?

Ребенок протянул к ней руки. Mademoiselle Анет ждала его, только чтоб уйти, и когда брала Андре от Тавровского, то почувствовала легкое пожатие руки; она в волнении сказала:

— Вы, кажется, следуете общему примеру и тоже намерены мне делать оскорбления.

И mademoiselle Анет повела детей прощаться к Марку Семенычу.

Тавровский громко воскликнул:

— Неужели вы это серьезно думаете?

— Что такое? что такое? — кричала с другого конца гостиной Надежда Александровна.

— Mademoiselle Анет обижает меня,— отвечал так печально Тавровский, что вызвал смех детей.

— Бедный! а вы не умеете защититься! — насмешливо сказала Надежда Александровна, подходя к нему.

— Без вашей помощи — нет.

— Чем же она обидела вас?

— Не хочет ехать верхом завтра со мной.

— Какая обида! — с неудовольствием заметила Надежда Александровна.

Mademoiselle Анет гордо глядела на Тавровского и медленно удалилась с детьми.

Не без волнения пришла она к себе в комнату и, усевшись в креслы, о чем-то задумалась, что случалось очень часто с некоторого времени. Вошла горничная и подала ей записку.

— От кого? — спросила mademoiselle Анет.

— Мне подал Сергей, ничего не сказав,— отвечала горничная.

Mademoiselle Анет распечатала записку и стала читать. Лицо ее покрылось краской; разорвав, она бросила ее на пол и стала в сильном волнении ходить по комнате. Записка была от Тавровского, который писал:

«Вам показалось, что я хотел вас оскорбить. Я согласен, что, может быть, моя шутка была дерзка. Но клянусь вам честью, что в ней и тени не было того, что вы предположили. Это всё меня так поразило, что я чуть не наделал глупостей. Простите, простите меня! Если вы не сердитесь на меня, то покажитесь у вашего окна. Я буду стоять в саду у кустов и простою целую ночь за свою ветреность».

Mademoiselle Анет отослала свою горничную ранее обыкновенного и вышла из своей комнаты, выходящей в сад, в другую. Она пробовала читать, работать, но скоро всё бросала и поминутно ходила в смежную комнату. Она подкрадывалась к окну и, отскакивая от него с ужасом, повторяла:

— Боже мой, его увидят! что он делает!

Настала ночь. Волнение ее усилилось, тем более что Марк Семеныч, возвратясь к себе, имел привычку открывать у себя окно и долго сидел, мурлыча романс Офелии или Десдемоны.

Mademoiselle Анет, дрожа, прислушивалась к малейшему шуму, и сердце у ней забилось сильно, когда окно раскрылось внизу и послышался голос Марка Семеныча.

Mademoiselle Анет поспешно открыла свое окно, махнула платком и тотчас заперла его. Но не успела она это сделать, как чья-то фигура стояла на дорожке и глядела к ней в окно. Mademoiselle Анет, слабо вскрикнув, присела, стараясь скрыться. Она медленно подняла голову и робко взглянула в окно. Фигура всё еще продолжала прохаживаться взад и вперед.

— Господи, что он делает со мной! — почти рыдая, воскликнула mademoiselle Анет — и вдруг кинулась к себе на кровать, потому что кто-то застучал ключом у дверей другой комнаты.

То была горничная, которая, подойдя к двери, робко сказала:

— Если вы не почиваете, так вот-с записка.

— Боже мой, опять! — с сердцем сказала mademoiselle Анет, отворяя дверь.

— От mademoiselle Клары! — отвечала горничная. Но записка была от Тавровского. Он писал следующее:

«Я счастлив: вы простили меня; берегитесь: за вами подсматривают и ходят дозором около ваших окон. Чтоб отвлечь подозрение горничной, я велел сказать, что это от mademoiselle Клары. Дайте ей какую-нибудь книгу. Благодарю, благодарю вас».

Mademoiselle Анет отдала горничной книгу и сказала:

— Ты больше не входи ко мне: я хочу спать.

Но когда горничная ушла, она подкралась к окну и увидала всё ту же фигуру, расхаживающую под окнами.

Mademoiselle Анет пугало всякое сближение с Тавровским, и в то же время она не могла не согласиться, что внимание его льстило ей. Она заметила, что на нее стали обращать особенное внимание, когда она являлась в гостиную с детьми; да она и сама чувствовала, что взгляд и улыбка ее, даже каждое движение приняло какое-то особенно спокойное и гордое выражение. При всей своей живости характера она мало принимала участия в разговорах и очень редко улыбалась. От детей она узнала, что ее про-

звали гости: mademoiselle de Fierté.* Чем ни старались уязвить ее женское самолюбие многие дамы, внимание Тавровского всё выкупало. В ее присутствии, в гостиной, он бросал всех и постоянно находился с детьми, то есть находился около mademoiselle Анет. Шутки сыпались на него; особенно смеялась над ним Надежда Александровна. Раз, когда mademoiselle Анет удалилась с детьми, Тавровский подошел к кружку хозяйки дома, и она иронически сказала ему:

— Да вы совершенно превратились в ребенка: только с детьми и говорите.

— Я очень желал бы, но с условием, чтоб mademoiselle Анет согласилась быть и моей наставницей,— отвечал Тавровский.

— Вы ее так избалуете своими пошлыми комплиментами, что я буду принуждена ей отказать от дому,— тихо сказала Надежда Александровна.

— Эта мера с вашей стороны очень будет простительна.

— Это что значит! Неужели вы думаете, что я унижусь до того, чтоб бояться ее красоты! И что в ней хорошего!

— Всё: рост, взгляд, походка; а уменье держать себя в вашей гостиной — это показывает очень тонкий ум.

— Так это более сострадание вами руководит? — смеясь принужденно, перебила его Надежда Александровна.

— Может быть! Я очень желал бы ее видеть в другом положении: она произвела бы эффект в обществе.

— То есть вы сожалеете, что уже нет тех волшебников, которые жен рыбаков превращали в графинь! — изменясь в лице, шепотом проговорила Надежда Александровна.

— Разумеется, это жаль!

— И вы бы женились на ней? ха-ха-ха!

И Надежда Александровна громко стала смеяться, как бы желая скрыть свое волнение.

С этого дня она стала выезжать почти всякий вечер, и гостиная ее была пуста, чем Марк Семеныч, казалось, был очень доволен. Гуляя с mademoiselle Анет и детьми, он говорил:

— Не правда ли, что тихая семейная жизнь гораздо лучше этих пустых собраний, где каждый, являясь, дол-

* Гордячка *(франц.)*

жен запастись большим количеством принужденных улыбок и пошлых фраз. Мне кажется, вы не из числа тех тщеславных женщин, для которых блеск заменяет всё в жизни. Вот я заметил, что вы исключение: блеск не увлекает вас, а пошлые комплименты не удовлетворяют.

Марк Семеныч ошибался или не хотел замечать, каким огнем блестели глаза у mademoiselle Анет, когда она находилась в освещенной, шумной зале, какая гордая улыбка блуждала на ее губах, когда она замечала, что была предметом общего разговора. Нет! Марк Семеныч не понимал ее презрительной холодности ко всему, что ее окружало...

Приближался день рождения Марка Семеныча. Mademoiselle Клара и мисс Бетси учили детей разным поздравительным стихам к этому дню.

Mademoiselle Анет придумала другого рода сюрприз: она из детей и их знакомых составила кадриль в характерных костюмах. Хлопоты были большие для mademoiselle Анет. Она сама заказывала парики. Костюмы шились дома под ее руководством.

Марк Семеныч желал детского бала, а Надежда Александровна и слышать не хотела, и дом готовился к блистательному собранию. Накануне дня рожденья, за обедом, Надежда Александровна сказала mademoiselle Анет:

— Есть ли у вас платье для завтрашнего дня? Впрочем, вы не стесняйтесь, можете и передать свою должность.

— Это очень мило! Я уж просил mademoiselle Анет тоже на этот день быть гостьей у меня,— и, обращаясь к ней, Марк Семеныч продолжал: — Вы так молоды, что, верно, вам приятно будет потанцевать.

— Какой лестный комплимент вы делаете mademoiselle Кларе! — с досадой заметила Надежда Александровна.

— Я хотел просить mademoiselle Клару об этом же. Мисс Бетси, верно, будет так добра, что возьмет на себя все хлопоты.

— Я бы с большим удовольствием взялась, но mademoiselle Анет слишком слаба к детям, и я боюсь, что не слажу с ними! — отвечала мисс Бетси.

— Я небольшая охотница до танцев и потому могу не передавать своей обязанности,— сказала mademoiselle Анет Марку Семенычу. Вечером mademoiselle Клара явилась с советами к mademoiselle Анет, как ей следует хорошо одеться. Она сказала:

— Ma chère* mademoiselle Анет, вы не знаете, что хозяйка дома очень взыскательна: она не любит, когда гувернантки ее одеты, как гости.

— Я не условливалась насчет туалета, вступая в дом, и потому оденусь, как мне вздумается,— сухо отвечала mademoiselle Анет.

— Вы счастливы: вы можете поступать так,— со вздохом заметила француженка.

— А зачем вы делали такие условия, принимая на себя обязанность...

— Если бы я была на вашем месте, и мне бы легко было пренебрегать ими.

— Разве наши роли не равны: я гувернантка и вы?..

— Да, только я... не пользуюсь вниманием.

— Ни я особенным.

— Полноте! мы всё видим с мисс Бетси.

— Да я ничего и ни от кого не скрываю! — покраснев, с сердцем сказала mademoiselle Анет.

— С вами очень трудно говорить: вы скрытны и горды. Но это вам самим послужит во вред.

Раскланявшись, mademoiselle Клара ушла.

Горничная рассказала, как от нее выведывала она, какое платье готовит себе mademoiselle Анет для бала. Эти мелочи серьезно заняли mademoiselle Анет, и она долго обдумывала, как бы ей одеться, чтоб было к лицу и эффектно. У ней было приготовлено белое газовое платье; но она примерила еще несколько других и, утомленная, легла спать, верно вспомнив пословицу, что утро вечера мудренее. Она встала рано, потому что была разбужена детьми, вошедшими к ней с mademoiselle Шарлот. Mademoiselle Анет оделась и пошла с ними в поле собирать цветы. У каждого из детей было по пучку полевых цветов, когда они возвратились в сад. Подкравшись к окну кабинета отца, они стали петь, прыгать, крича:

— Пора вставать, папа́!

Марк Семеныч появился в окне: дети кинулись к нему с поздравлениями, подавая наперерыв свои букеты. Отец каждого перецеловал, прижав букеты к своей груди. Он протянул руку к mademoiselle Анет и со слезами сказал:

— Благодарю вас: вы одни могли только придумать такое милое поздравление.

---

* Моя дорогая *(франц.)*

И он поцеловал у ней руку.

— Вот вы всё собирались рано встать и идти гулять с детьми: мы вас разбудили,— говорила mademoiselle Анет.

— Вы... вы поняли меня вполне! — в волнении отвечал Марк Семеныч и продолжал, обращаясь к детям: — Я сейчас выйду к вам.

Через четверть часа он явился в сад, вновь перецеловал детей, и они пошли гулять. Марк Семеныч был ужасно весел и, вдыхая в себя воздух, говорил:

— Какое утро! такие редко бывают в жизни каждого человека.

После прогулки он пригласил mademoiselle Анет с детьми пить чай у него в кабинете. Тут только mademoiselle Анет увидела одного из лакеев, бывших в дороге. Кабинет Марка Семеныча был очень хорош и имел вид ученый и деловой в то же время.

— Вот креслы, где я в грустные минуты ищу силы и спокойствия для себя! — сказал Марк Семеныч, указывая на вольтеровское кресло с подушкой, той самой, на которой mademoiselle Анет спала в дороге, и прибавил: — Узнали вы эту подушку?

— Нет! — отвечала mademoisllee Анет, слегка покраснев от своей невинной лжи.

Марк Семеныч тяжело вздохнул.

Дети были совершенно счастливы. Они везде лазили, всё рассматривали, и Ольга сказала, подойдя к отцу:

— Папа́, пусть твое рожденье будет всякий день.

— Я бы сам желал этого! — целуя дочь, отвечал Марк Семеныч, и, обратясь к mademoiselle Анет, он прибавил с благодарностью: — Вы и их делаете счастливыми.

После чаю они все пошли на террасу, где ожидали выхода Надежды Александровны, которая очень поздно встала и вышла на террасу пить чай за общим столом, что она делала только в торжественные дни. Дети поздравляли ее и целовали у ней руку. Она дала знак mademoiselle Кларе и мисс Бетси, которые заставили детей поочередно читать поздравительные стихи рассеянно слушавшему Марку Семенычу. Он, однако, любезно благодарил гувернанток и поцеловал руку у жены, которая, увидя полевые букеты в вазе, сказала:

— Это что за дрянь?

— Это мы собрали с mademoiselle Анет для папа́,— отвечал Эжень.

— Разве вы не могли догадаться и заказать букет садовнику? — строго спросила Надежда Александровна у mademoiselle Анет.

— Я более доволен этими букетами, потому что дети сами их составляли,— отвечал Марк Семеныч.

Надежда Александровна с жалостью взглянула на него и, улыбнувшись, пожала плечами. Помолчав, она сказала:

— Я желала бы, чтоб дети не обедали сегодня с нами.

— Это отчего? — нахмурив брови, спросил Марк Семеныч.

— Потому что будет очень много гостей.

— Я просил не звать никого и желал этот день провести в семействе.

— Я желала бы знать, когда вы будете довольны, если я что-нибудь сделаю для вас?

— Благодарю тебя за внимание; но ты знаешь, что я не очень люблю такие важные обеды. Я прошу об одном, чтоб дети обедали с нами.

Целое утро Марк Семеныч был занят визитами, Надежда Александровна — туалетом, потому что к ней приехала модистка с бальным платьем. Стали съезжаться гости.

Mademoiselle Анет оделась к столу очень просто. Mademoiselle Клара была наряжена страшно и ходила как кукла, боясь измять свое платье. Мисс Бетси затянулась более обыкновенного, отчего еще сильнее пыхтела; а цвет ее лица до того был красен, что равнялся с пунцовой гвоздикой, которою был убран ее чепчик. Сама хозяйка дома была одета с такою роскошью, что трудно описать. Ее плечи и руки, алебастровой белизны, были открыты; но кружевной вуаль не покидал ее головы, в которой были живые розы. Мари, друг ее, была женщина лет двадцати пяти, очень маленького роста, с лицом очень обыкновенным, но зато с улыбкой до того язвительной, что вся ее фигура делалась замечательною. Она тоже была одета пышно, как и прочие дамы, так что mademoiselle Анет в простом кисейном платье своем бросалась в глаза между шелком и цветами. Мари имела привычку глядеть в лорнет, и mademoiselle Анет не раз чувствовала неловкость от уставленного на нее лорнета.

Гувернантки и дети уже собрались в столовой. Марк Семеныч, войдя в сад, с удивлением спросил лакея:

— Что значит, что я не вижу детских приборов?

— Сама барыня изволили так распорядиться,— отвечал лакей.

В это время все вошли в столовую и было уже поздно перекрывать стол. На лице Марка Семеныча резко выразилось неудовольствие. Все уселись за стол,— дети и гувернантки за особый, стоявший у большого зеркала. Не прошло и пол-обеда, как Тавровский взял свой стул и уселся с детьми подле mademoiselle Анет, с которой он всё время говорил.

Надежда Александровна поминутно поворачивала голову к детскому столу и не раз быстро отворачивалась, потому что mademoiselle Анет, против своего обыкновения, была говорлива.

Дамы, почти все, остались решительно недовольны Тавровским, и Мари, друг хозяйки дома, заметила, что он предпочел стол нянек.

В антрактах Марк Семеныч подходил тоже к детскому столу и говорил шепотом mademoiselle Анет:

— Да, у вас здесь гораздо веселее.

После обеда все пошли в сад. Тавровский принял участие в играх детей. Почти все гости сошлись посмотреть на них, и mademoiselle Анет с надменностью встречала насмешливые взгляды дам и их презрительные улыбки. Гувернантки, как бы сговорясь, отделялись от нее, и она стояла одна, как бы гордясь своим одиночеством. Она решилась бесить всех и даже слегка кокетничала с Тавровским.

Надежда Александровна наконец сказала:

— Mademoiselle Анет, вам пора переодеть детей.

Эта фраза была произнесена в ту самую минуту, как она говорила с Тавровским, и произнесена так, что досада заметно вспыхнула в лице mademoiselle Анет; но она тотчас приняла спокойно-гордую осанку и удалилась с детьми.

Когда смерклось, иллюминовали сад. Зала и другие комнаты были освещены. Кареты не переставали подъезжать.

Дети должны были открыть бал. Mademoiselle Анет одела их с такой тщательностью, с таким вкусом, что даже мисс Бетси изъявила удовольствие, когда дети попарно вошли в залу. Туалет mademoiselle Анет был очень эффектен, несмотря на простоту. Белое газовое платье, голова, убранная незабудками, у лифа такой же букет. На ней не было ни браслет, ни лент, ни кусочка блонд, а меж-

ду тем она казалась одетою роскошно. Она вошла в залу, окруженная детьми, пестро костюмированными, при звуках музыки. Всё, что было в зале, обратило внимание на нее, и общие похвалы посыпались со всех сторон. Mademoiselle Анет расставила детей, и началась кадриль под аплодисманы гостей. Дети танцевали развязно, выделывая разные трудные па; а mademoiselle Анет гордо смотрела вокруг себя, как бы сознавая сама свою красоту. Она была посредине залы одна, и когда кончилась кадриль, гости стали целовать и осматривать детей. Марк Семеныч подошел к mademoiselle Анет. Голос его был нетверд, и он сказал:

— Я не знаю, как мне благодарить вас.

— Не правда ли, Софи очень мила с мушками и в напудренном парике; а Серж так смешон маркизом, и как натурально он нюхает табак! Посмотрите, как кокетливо смотрит Ольга,— весело говорила mademoiselle Анет, окидывая залу.

Лицо ее приняло такое живое выражение, глаза так блестели, что Марк Семеныч глядел на нее с удивлением и сказал:

— Я вас не узнаю, я поражен!

— Чем? — рассеянно спросила mademoiselle Анет.

— Вы так хороши, вы...

— А-а-а! вы, кажется, намерены благодарить меня комплиментами.

— Это — истина.

— Бальная!

— Что же делать, когда...

— Позвольте вас просить на тур вальса,— подходя к mademoiselle Анет, сказал Тавровский.

Mademoiselle Анет подала руку; но вдруг она остановилась и спросила:

— Мне кажется, мы первые начинаем?

— Так и должно быть: вас все признали царицей бала! — кружась, говорил Тавровский.

— Я уверена, что есть много исключений, и Надежда Александровна...

— Ей же хуже, если она будет не в духе: красота ее требует большого спокойствия.

Они не замечали или не хотели заметить, но никто более не вальсировал. Посадив свою даму, Тавровский подошел к одному молодому человеку и сказал:

— Что же вы не танцуете?

— Да никто не хочет: я к трем подходил.

— Это забавно! они все обиделись! — смеясь, отвечал Тавровский.

В эту минуту его схватил за руку с волнением какой-то юноша очень приятной наружности и умоляющим голосом сказал:

— Ради бога, скажите, с кем вы сейчас вальсировали?

— Это гувернантка дома, mademoiselle Анет.

— Не может быть! Как ее фамилия?

— Ах, боже мой! да разве есть у них фамилии! — подхватила Мари, шедшая мимо, и с своей язвительной улыбкой спросила юношу: — И вас, барон, она пленила?

И, засмеясь, она пошла дальше.

Барон не спускал глаз с mademoiselle Анет, с которой только и танцевал Тавровский. В одной кадрили он сказал ей:

— Вы такой производите эффект, что посмотрите на этого несчастного юношу...

— Где? у дверей?

— Вы, верно, его заметили!

— Чем же он несчастлив?

— Он, увидев вас, сошел с ума.

Mademoiselle Анет засмеялась; но смех ее замер, и она изменилась в лице от следующих слов:

— Право, он помешался: уверяет, будто он вас видел на сцене.

— На какой? — тревожно спросила она.

— На провинциальной.

Mademoiselle Анет вздрогнула, побледнела и с ужасом смотрела кругом.

— Вам начинать,— сказал, делая фигуру, ее кавалер vis-à-vis.*

Mademoiselle Анет спохватилась, но не ту фигуру стала делать и сбила всех. Когда она возвратилась на свое место, Тавровский, взяв ее руку, чувствовал через перчатку, что она была холодна; лицо гувернантки было бледно как полотно.

Когда фигура была окончена, Тавровский, нагнувшись к ее стулу, шепнул:

— Что с вами? на вас все смотрят.

— У меня кружится голова.

— Оставим кадриль.

---

* напротив *(франц.)*

— Нет!

И она продолжала танцевать. Тавровский пытливо глядел то на mademoiselle Анет, то на барона, к которому он подошел по окончании кадрили и сказал:

— Ну что, вы еще уверены, что это она?

— Еще более; и когда она вдруг побледнела, мне так живо она напомнила Десдемону...

Тавровский взял его под руку, и они, разговаривая, удалились в сад, где долго ходили.

Марк Семеныч, по окончании кадрили, подошел к mademoiselle Анет и, задыхаясь, сказал:

— Что с вами? вы бледны... Ваш кавалер так дерзок, что от него всего можно ожидать... Что он сказал вам? О, он поплатится!.. Он не ожидает, что за вас вступятся.

— Право, ничего! — в смущении отвечала mademoiselle Анет.

— Вы скрываете! — стиснув зубы, сказал Марк Семеныч и с горячностью продолжал: — Нет, я не позволю никому оскорблять нашего дома. Я, я...

— Ради бога, не делайте сцены ему! — в испуге сказала Анет.

— А! вы испугались?

— Да, потому что мое положение будет смешно, когда вы потребуете отчета у него в том, в чем он вовсе не виноват. Он может подумать бог знает что обо мне.

— Вы говорите правду?

— Я никогда, кажется, не подала вам повода сомневаться в моих словах.

— Что с вами? вы как будто чего-то испугались, танцуя с Тавровским? — заметила Надежда Александровна, проходя мимо говоривших, и, не дождавшись ответа, ушла.

Mademoiselle Клара тоже подбежала к ней и пугливо, с участием спросила:

— Вам, верно, ma chère Анет, узко платье? Я вам устрою, что не будет заметно, если его расстегнуть.

— Благодарю вас. Мне платье не узко; а у меня, верно, от жару закружилась голова, но теперь уж всё прошло,— отвечала mademoiselle Анет и увидела по этому случаю, до чего за ней все следят.

Она спешила идти танцевать, чтоб прекратить толки, и по-прежнему смотрела спокойно, гордо; румянец появился у ней на щеках. Тавровский ангажировал ее на вальс, давал ей отдохнуть и снова пускался с ней кружить-

ся. Надежда Александровна остановила их, когда они вновь хотели вальсировать, и строго сказала:

— Mademoiselle Анет, вы, кажется, совершенно забыли о детях!

— Они с мисс Бетси.

— Мисс Бетси получает одинаковую плату с вами от меня, и потому...

Mademoiselle Анет быстро оставила Тавровского, сказав ему извинение, и удалилась из залы. Надежда Александровна, торжествуя, глядела ей вслед и улыбалась. Тавровский глядел на нее и сказал:

— Вы любуетесь ею? Не правда ли, какие у ней плечи, руки, талия!

Надежда Александровна быстро повернула голову и устремила сверкающие глаза на Тавровского, который спокойно продолжал:

— Вот это женщина! она не нуждается ни в каком прикрытии своих недостатков, она вся...

— Довольно, довольно! вы наконец выведете меня из терпения! — дрожа, сказала Надежда Александровна.

— Неужели вы ревнуете ваших гувернанток к мужу? — продолжал Тавровский шутливым тоном.

— Поль! — задыхаясь и побледнев, произнесла Надежда Александровна, и, завидя mademoiselle Анет, снова появившуюся в зале, она измерила с ног до головы Тавровского и кинулась к ней навстречу; но Тавровский загородил ей дорогу, взял ее за талию и силою увлек в круг вальсирующих. Они с жаром говорили во всё время, пока танцевали.

К ужину Надежда Александровна приказала детям идти спать. Они стали упрашивать отца, который сказал:

— Надинь, я прошу тебя оставить их для меня; я хочу, чтоб они ужинали со мной.

— Помилуйте! они болтаются между нами, гувернантки вертятся, прыгают.

И Надежда Александровна гневно посмотрела на стоявшую с детьми mademoiselle Анет.

Марк Семеныч воскликнул с упреком:

— Надинь!

— Я вами очень недовольна, mademoiselle Анет, и советую вам вперед более обращать внимание, что вы в доме не гостья, а нянька моих детей! — выйдя из своей гордой роли, говорила Надежда Александровна.

— Надинь! Надежда Александровна! вы забываетесь! — с равною горячностью сказал Марк Семеныч.

— Не я, а ваши гувернантки забываются! — отвечала Надежда Александровна и вышла из комнаты.

Эта сцена происходила в столовой в присутствии лакеев, накрывавших стол, и детей. Марк Семеныч совершенно потерялся; но mademoiselle Анет была покойна, и, взяв детей за руки, она тихо сказала ему:

— Не огорчайтесь! дети пойдут спать.

— Нет! не ходите, дети: подите ко мне.

И Марк Семеныч, перецеловав их всех, сказал им:

— Уважайте и любите mademoiselle Анет: она достойна глубокого уважения за свой кроткий характер. С каждым днем мое удивление к вам увеличивается. Я горжусь, что с первой встречи понял вас...

Ужин был накрыт в разных комнатах: в одной — председала хозяйка дома, а в другой хозяин; дети сидели около него, mademoiselle Анет и Тавровский возле них, а напротив — барон и другие гости, состоящие из детей и гувернанток. К концу ужина Тавровский поднял бокал и громко сказал:

— Барон, не хотите ли выпить за здоровье дамы вашего сердца?

— Извольте!

И барон залпом выпил бокал, смотря на mademoiselle Анет, сохранявшую спокойное выражение лица.

— Кто? за чье здоровье вы пьете? — спросил Марк Семеныч, за детским шумом не слыхав тоста.

— Да вот барон воображает, что здесь есть лицо, очень похожее...

Тавровский говорил протяжно, смотря на mademoiselle Анет, которая страшно изменилась в лице и слегка толкнула локтем Тавровского.

— Ну что же?..— с любопытством спрашивал Марк Семеныч.

Но Тавровский наклонился под столом, чтоб поднять салфетку свою, и записка очутилась в руках mademoiselle Анет.

— Я поражен сходством одной из здешних дам с одной актрисой,— сказал барон.

— С кем? на кого она похожа? — спросил Марк Семеныч.

Но когда отвечал барон, Тавровский поднял ужасный шум: он уронил свой бокал, отодвинул стул и, извиняясь

перед mademoiselle Анет, что испортил ее платье, тер его салфеткой, хотя ничего на нем не было. И весь разговор барона с Марком Семенычем был покрыт говором и шумом, производимым Тавровским. Mademoiselle Анет после ужина побежала в сад и при свете шкаликов прочла следующие две строчки, написанные карандашом:

«Я должен вас видеть. Горничная ваша вам очень предана...»

Mademoiselle Анет пугливо спрятала записку на грудь, потому что mademoiselle Клара подбежала к ней и язвительно сказала:

— Ах, ma chère, что вы здесь делаете? так сыро в саду.

— Я думаю, и для вас также.

— Но о моем здоровье некому хлопотать,— отвечала mademoiselle Клара, и не успела она удалиться, как Марк Семеныч бежал по аллее и озабоченно кричал:

— Mademoiselle Анет! какое безрассудство — после жару идти на сырость!

— Я сейчас уйду.

— Мне надо с вами переговорить.

— Завтра.

— Нет, непременно сегодня.

— Помилуйте, где же! народ кругом, и я должна вести детей спать.

— Я велел это сделать мисс Бетси.

— Марк Семеныч, вы подвергаете меня...

— Да... вы правы, точно; но, боже мой, целую ночь в неизвестности!... Это ужасно!

— Прощайте! я иду к себе.

— Одно слово! — И Марк Семеныч сделал умоляющий жест.

Mademoiselle Анет убежала бегом, сказав:

— До завтра, до завтра!

Войдя к себе в комнату, она заперлась кругом и свободно вздохнула. Стук в двери, выходившие на двор, заставил ее вздрогнуть. Она дрожащим голосом спросила:

— Кто там?

— Я-с, пришла вас раздеть,— отвечала горничная.

— Не нужно.

— Мне нужно-с...

— Иди спать и оставь меня в покое! — строго закричала mademoiselle Анет; но не успела она окончить фразы, как кто-то тихонько стукнул в дверь другой комнаты.

Голос замер у mademoiselle Анет, и она не знала, на что решиться. Наконец она тихонько подкралась к двери и приложила ухо: тихий стук повторился.

— Кто там? — дрожащим голосом спросила она.

— Это я; узнали ли вы мой голос?

— Что вы здесь делаете? вы хотите погубить меня! — в отчаянии воскликнула mademoiselle Анет.

— Отворите дверь! одно слово.

— Нет, нет.

— Для вашей безопасности! умоляю вас.

— Мне всё равно гибнуть! — решительно отвечала mademoiselle Анет.

— Слушайте, mademoiselle Клара всё слышала, что говорил барон: завтра для вас готовится сцена.

Mademoiselle Анет отчаянно вскрикнула и с чувством сказала:

— Благодарю вас! я скажусь больной.

— О нет! напротив, будьте веселы; надо отклонить их подозрение.

— Хорошо.

— Отворите!

— Ради бога, уходите! вы разве не знаете, как за мной следят! — умоляющим голосом сказала mademoiselle Анет.

И долго она оставалась у двери; потом она кинулась к окну, раскрыла его и увидела черную тень, рисовавшуюся в ночном тумане; а вдали бежала женская фигура, и что-то белое на голове довольно ясно отделялось в зелени.

Стук раскрывшегося окна внизу заставил ее вздрогнуть; голос Марка Семеныча послышался в тишине: он уныло напевал романс Десдемоны.

Рассвело, а mademoiselle Анет всё еще не ложилась спать. Эту ночь многие в доме провели беспокойно.

На другое утро бала все долго спали; одна mademoiselle Анет встала в обычный час и вышла с детьми в сад. Она была бледна и задумчива. Происшествия вчерашнего дня так потрясли ее, что она не могла ничего говорить, даже не понимала, о чем ее спрашивали дети, которых наконец упросила оставить ее в покое и заняться чем-нибудь.

— Я буду с вас рисовать портрет! — сказал Эжень, усаживаясь на траву против нее.

— Я — убирать ваши волосы! — подхватила Софи.

— Хорошо, хорошо! — отвечала рассеянно mademoiselle Анет.

Через несколько минут составилась удивительная группа. Mademoiselle Анет, в своем белом утреннем капоте, с распущенными волосами, в которые Софи, стоя на скамейке, вплетала разные травы и цветы; другие дети, окружив mademoiselle Анет, облокотясь локтями на ее колени, полные цветов и трав, и подпираясь рукою в щеку, смотрели на работу сестры своей. Эжень не рисовал, а внимательно глядел на склоненную голову mademoiselle Анет и на ее потупленные глаза. Во всей ее фигуре было столько страдания, что это даже пугало ребенка.

Этой группой любовались две особы: Марк Семеныч и Тавровский. Они друг друга не замечали, потому что их разделяли кусты. Марк Семеныч первый приблизился. Mademoiselle Анет сконфузилась, стала собирать волосы; но Марк Семеныч остановил ее, сказав:

— Останьтесь так одну минуту, и вы, дети! Покажи, Эжень, твою работу! — И он взял портфель от сына, сев возле него, и продолжал: — Позвольте ему поправить его ошибки.

— Вот картина, достойная кисти великого художника,— сказал Тавровский, явясь неожиданно из-за кустов посреди глубокой тишины.

Все вздрогнули, а mademoiselle Анет слабо вскрикнула. Марк Семеныч с сердцем заметил:

— Вы всех перепугали и...

— ...нарушил такую славную картину. Я завистлив и хочу тоже наслаждаться, как и вы,— сказал Тавровский, усаживаясь с другой стороны Эженя.

Mademoiselle Анет проворно завернула волосы; но их небрежность имела свою прелесть.

— Вы рано встали сегодня! — сказал Марк Семеныч Тавровскому, который отвечал ему:

— Да и вы не поздно.

— Я всегда так встаю.

— И очень понятно.

И они оба замолчали. Mademoiselle Анет встала и объявила детям, что пора идти в детскую. Марк Семеныч и Тавровский последовали за ней. Но каково было общее удивление, когда вдали показалась фигура Надежды Александровны. Все переглянулись, а дети с удивлением восклицали:

— Maman, maman встала!!

Марк Семеныч пошел вперед. Надежда Александровна сухо кивнула ему головой на его приветствие и не подала

ему руки. Она прямо шла к mademoiselle Анет, шедшей с Тавровским; и, не отвечая на поклоны, она заносчиво спросила:

— Отчего дети не в классе и не с мисс Бетси?

— Почему они не за классом? я думала, что дети устали после...— начала mademoiselle Анет, но ее перебила Надежда Александровна:

— А вы думаете, что они не устали быть ширмами?

— Надинь! — взяв жену за руку, сказал Марк Семеныч.

— Оставьте! мне надоело!

— Приди в себя! дети! — говорил Марк Семеныч, изменяясь в лице.

Тавровский напевал что-то и рассматривал паутину на кусте.

— Mademoiselle Анет, прошу вас прекратить утренние прогулки с детьми — задыхаясь, сказала Надежда Александровна.

— Дети, посмотрите, как паук наслаждается мучениями бедной мухи! Не правда ли, как он отвратителен? его надо раздавить! — сказал Тавровский.

Надежда Александровна побледнела. С минуту она стояла, как бы пораженная чем-то,— и вдруг она, зарыдав, побежала от аллеи. Странно было видеть эту гордую, насмешливую женщину с повелительными манерами, которая теперь бежала в слезах, как молоденькая девочка.

— Что с ней? — как бы не понимая, что делается вокруг него, пугливо произнес Марк Семеныч.

— Нервный припадок! — покойно отвечал Тавровский.

— Идите скорее к ней! — сказала mademoiselle Анет Марку Семенычу и Тавровскому, а сама быстро пошла с детьми из саду. Сдав детей мисс Бетси, mademoiselle Анет вошла к себе и застала Марка Семеныча совершенно убитого, который при ее появлении в отчаянии воскликнул:

— Друг мой!

— Марк Семеныч, я должна оставить ваш дом! — решительно произнесла mademoiselle Анет.

— Нет, нет, вы этого не сделаете! это невозможно,— с ужасом сказал Марк Семеныч.

— Однако после всего, что я слышала от Надежды Александровны, я разве могу остаться?

— Неужели я в вас ошибся? неужели у вас нет настолько сострадания ко мне? О нет, нет! я не пущу вас из моего дома! я заставлю уважать вас!

— Марк Семеныч! — пугливо вскрикнула mademoiselle Анет, потому что лицо его пылало, слезы текли по его полным щекам; он вдруг упал в кресла, стал рыдать, ломая себе руки. Припадок чувствительности повторился, только еще сильнее, чем в дороге.

Mademoiselle Анет сама плакала, подавая ему воды. Он схватил ее руки и, упав на колени, торжественно сказал:

— Я... я прошу у вас жертвы.

— Что могу я сделать?

— Забудьте всё и простите ей.

— Марк Семеныч...

— Сжальтесь! я начинаю терять рассудок!

И Марк Семеныч пугливо схватил себя за голову. Он полусидел на полу.

— Марк Семеныч! Марк Семеныч! я на всё согласна, придите в себя,— плача, говорила mademoiselle Анет.

Марк Семеныч медленно встал, оправил волосы; пройдясь несколько раз по комнате, он сел на диван и указал на место возле себя mademoiselle Анет, которая молча повиновалась. После некоторого молчания Марк Семеныч мрачно спросил:

— Я вчера еще желал спросить вас, считаете ли вы меня за человека, преданного вам искренно?

— Да!

— Значит, я могу надеяться, что вы будете отвечать мне откровенно?

— Да!...— не так утвердительно произнесла mademoiselle Анет.

Марк Семеныч тяжело вздохнул, лицо его покрылось бледностью, и он невнятно сказал:

— Вы... вам нравится Тавровский?

Mademoiselle Анет инстинктивно готовилась к такому вопросу, но не могла не покраснеть, услышав его, и молчала, потупив глаза.

— Это Дон-Жуан с холодным сердцем; я много знаю случаев...

— К чему вы мне сделали такой вопрос? разве я подала повод? — гордо перебила его mademoiselle Анет.

— О, сохрани вас боже! — пугливо проговорил Марк Семеныч и, подумав с минуту, продолжал: — Но вы сами сознаетесь, что этот человек имеет столько разных орудий для своих жертв, что трудно не попасть в его сети.

— Я не так молода и неопытна, чтоб не заметить этих сетей, если бы даже они были сотканы из паутины.

— О, не говорите мне этого! Я знал его победы над такими женщинами, которые его ненавидели и... Впрочем, к чему всё это я говорю! вашего слова для меня достаточно. Я покоен: ваша дружба ко мне теперь доказана...

И Марк Семеныч, почтительно пожав руку mademoiselle Анет, вышел из ее комнаты.

Не без страха вошла в столовую mademoiselle Анет и была очень довольна, что хозяйка дома не явилась к столу. Марк Семеныч был весел, но, к удивлению mademoiselle Анет, после обеда, в семь часов, поехал в клуб. Уложив детей спать, mademoiselle Анет возвратилась к себе и нашла на столе записку: она была от Тавровского; вот ее содержание:

«Принимая участие в вашем настоящем положении, я решаюсь известить вас, что есть лицо, способное наделать вам таких оскорблений, которые ничем нельзя загладить. Я беру на себя смелость дать вам совет. Оставьте немедленно этот дом; скажу еще проще: не выходите из своей комнаты ни к чаю, ни к столу... даже если за вами будут присылать. Будьте благоразумны: последуйте моему совету. Если же вы желаете меня видеть и лично услышать причины, почему я решаюсь давать советы, то вы можете меня известить, положив записку на вашу лестницу в сад, на шестой ступеньке внизу» и пр. ...

Эта записка привела mademoiselle Анет в совершенное отчаяние. Она долго думала, наконец написала записку и положила на условленное место.

Ночь она провела очень тревожно и рано утром, встав, оделась и вышла через садовую калитку в поле. Тавровский, спрятавшись за кусты, уже ждал ее. Он радостно пошел к ней навстречу и сказал:

— Я очень благодарен вам, что вы имели ко мне несколько доверия и решились...

— Ради бога, скажите, чего я должна ожидать от нее? — поспешно спросила mademoiselle Анет в сильном волнении.

Наружность Тавровского была встревожена, даже мрачна, и он, иронически улыбнувшись, сказал:

— Всего, что только может сделать женщина в порывах необузданного гнева.

— Что мне делать! — в отчаянии воскликнула mademoiselle Анет.

— Немедленно оставить этот дом... Я желал вас видеть, потому что хочу вам сообщить...

В это время mademoiselle Анет слабо вскрикнула, указывая на калитку, из которой вышла мужская фигура.

— Боже мой! что со мной будет! — побледнев, произнесла она.

— Идите смело назад. Я вечером буду здесь.

Сказав эти слова, Тавровский скрылся в кустах, а mademoiselle Анет чуть не бегом побежала домой. У калитки она встретила Марка Семеныча, который нисколько не удивился, увидав ее, и сказал:

— Вы, кажется, как и я, вышли подышать чистым утренним воздухом.

— Да, я...— в смущении произнесла mademoiselle Анет.

Марк Семеныч подал ей руку и с участием спросил:

— Что с вами? вы встревожены?

— Я скажу вам откровенно, что сначала испугалась, увидя, что кто-то идет ко мне.

— Бедная, бедная! как вы напуганы! Но я дождусь, что жизнь ваша будет течь тихо и спокойно... О, сколько наслаждения видеть друга своего счастливым и знать, что я один всё это сделал! В этих случаях простителен эгоизм, не правда ли?

Mademoiselle Анет была в таком волнении, что ничего не понимала, что говорил ей Марк Семеныч, и со всем соглашалась.

Она сказалась больной и не выходила к столу и чаю. Вечером она решилась идти опять в поле, но не успела она выйти из калитки сада, как чья-то фигура скользнула по забору и калитка заперлась изнутри. Слезы брызнули из глаз бедной mademoiselle Анет, которая напрасно силилась отворить ее. Прислонясь к забору, она простонала:

— Боже мой, я погибла!

— Не бойтесь: я здесь! — сказал Тавровский.

Mademoiselle Анет радостно кинулась к нему и, рыдая, сказала:

— Меня заперли!

— Спешите же оставить дом: вы видите!

— Куда я денусь?

— У вас есть человек, преданный вам...

Но mademoiselle Анет не слушала Тавровского... Она задрожала: кто-то раскрывал калитку, и скоро она услышала голос Марка Семеныча:

— Mademoiselle Анет! вы здесь? где вы?

— Я здесь! — в волнении отвечала mademoiselle Анет и, пожав руку Тавровскому, шепнула ему:

— Я оставлю завтра же этот дом.

И она пошла навстречу к Марку Семенычу, который с удивлением спросил:

— Что это значит? калитка заперта!

— Вообразите, я только вышла, как кто-то вошел в нее и запер.

— Вы пришли для вашего друга?.. Да, нам надо переговорить с вами! — с чувством пожимая руку mademoiselle Анет, сказал Марк Семеныч.

— Да, я хотела переговорить! — с замешательством сказала mademoiselle Анет и умоляющим голосом продолжала:— Пойдемте домой: за нами следят.

— Вы правы! против вас и так вооружены!

Вбежав к себе, mademoiselle Анет так была взволнована, что не вдруг заметила mademoiselle Клару, углубившуюся в креслах в темном углу.

— Что вы здесь делаете? — с сердцем спросила ее mademoiselle Анет.

— Меня прислала хозяйка дома за вами; я вас жду уже с полчаса. Где это вы были? — улыбаясь, спросила француженка.

— Скажите Надежде Александровне, что я не могу идти к ней... Завтра — когда угодно.

— Хорошо, я скажу ей.

И mademoiselle Клара, иронически улыбаясь, вышла из комнаты.

В страшной тревоге провела ночь mademoiselle Анет, решившись твердо оставить завтра же дом Марка Семеныча. На другое утро, выйдя в сад к детям, которые были с гувернантками, чтоб видеть Марка Семеныча, она была поражена следующей сценой. Дети хотели кинуться к ней, но мисс Бетси остановила их и тотчас увела, а mademoiselle Клара презрительно улыбалась, смотря на побледневшую mademoiselle Анет, лицо которой, однако, выражало столько решимости, что ей мог бы позавидовать каждый вождь в критическую минуту сражения.

В это время все собрались в гостиной Надежды Александровны, которая сидела в креслах, допрашивая, всю в слезах, горничную mademoiselle Анет. Несколько лакеев и девушек стояли у дверей. Вошел Марк Семеныч и с удивлением воскликнул:

— Это что за собрание? — и, поцеловав руку у жены, он смотрел на нее вопросительно.

— Очень простое: вы набираете к себе в дом таких гувернанток, что их по ночам нет в комнате,— язвительно улыбаясь, отвечала Надежда Александровна.

— Я вас не понимаю! — изменясь в лице, сказал Марк Семеныч.

— А вот вы всё поймете. Просите сюда mademoiselle Анет!

Один из лакеев вышел.

— Что за сцены вы делаете! к чему эти лакеи, горничные у вас в комнате? — с ужасом оглядываясь кругом, говорил Марк Семеныч.

— Я должна же позаботиться, кому поручены мои дети.

— Ваши дети, по-настоящему, не должны были бы никому быть поручаемы, кроме вас!

— Вы правы! я сегодня убедилась в этом.

Вошла mademoiselle Анет. Вид ее был так покоен и горд, что Надежда Александровна, обратясь к mademoiselle Кларе, стоящей сзади ее кресел, сказала по-французски:

— Какая наглость! — и продолжала по-русски вопросительным тоном: — Где вы были вчера вечером, mademoiselle Анет, когда с час вас ждали в вашей комнате?

— Я гуляла!

— Ха-ха-ха!.. слышите, гуляла!! как прилично — одной, ночью!

— Здесь деревня!..

— Но вы забыли, что живете не с мужиками.

— Я это очень хорошо вижу.

— А позвольте узнать, с кем вы гуляли?

— Надежда Александровна, удалите детей! — весь дрожа, заметил Марк Семеныч.

— Мисс Бетси, уведите их, пожалуйста.

— И лакеев! — перебил ее муж.

— Что до людей, они мне нужны, чтоб уличить вас, ослепленного ее лицемерством.

— Я запрещаю далее продолжать такие сцены: они — пятно на чести дома! — задыхаясь, говорил Марк Семеныч; но Надежда Александровна возвысила голос и сказала:

— Антон, ты видел ее вчера в поле?

— Видел-с! — отвечал Антон.

— Кто же с ней был?

— Надинь! — грозно крикнул Марк Семеныч.

— Господин Тавровский! — поспешно проговорил лакей.

— Лжешь, мерзавец! пошел вон! — в ярости воскликнул Марк Семеныч, поднял руку, но, как бы опомнясь, указал лакею выразительно на дверь и продолжал: —Все, все уйдите отсюда! и вас, mademoiselle Клара, прошу оставить комнату! — и потом, обратясь к Надежде Александровне, он с презрением прибавил:— Вот до чего вы довели меня, что я чуть в вашей комнате не ударил этого лжеца.

Надежда Александровна сидела потупив глаза. Марк Семеныч был даже страшен в эту минуту.

— Позвольте мне оставить вас! — сказала mademoiselle Анет, обращаясь к Марку Семенычу, который в негодовании воскликнул:

— Да, да, вам нельзя ни минуты оставаться здесь!

Mademoiselle Анет вышла из комнаты, а Надежда Александровна, оставшись одна с Марком Семенычем, как бы себе в оправдание, воскликнула:

— Она даже не простилась со мной!

— И имела полное право!

Когда mademoiselle Анет возвратилась к себе в комнату, Тавровский стоял у окна. При виде ее он радостно кинулся к ней, сказав:

— Боже мой, как они вас мучат здесь! всё готово: уезжайте скорее!

— Куда? — с удивлением спросила mademoiselle Анет.

— Доверьтесь мне! Коляска вас ждет. Вам не должно оставаться здесь ни минуты.

— Я должна проститься с Марком Семенычем.

— Этот человек опять вас поставит в затруднительное положение. Бойтесь его: под личиною дружбы...

— Прошу вас ничего не говорить мне о нем.

— Извольте! я скажу только одно: вы должны если не для себя оставить этот дом и удалиться от Марка Семеныча, то хоть для бедных детей!

— Что вы говорите! — побледнев, воскликнула mademoiselle Анет.

— Будто вы не замечали ничего!

Дверь с шумом раскрылась, и Марк Семеныч вбежал в комнату. Его взгляд был дик, и он, грозно подойдя к Тавровскому, сказал:

— Кто дал вам право распоряжаться здесь? к чему эта дорожная коляска?

— Mademoiselle Анет желает оставить ваш дом,— покойно отвечал Тавровский.

Марк Семеныч вздрогнул и сказал:

— Как! Я позволю увезти ее из моего дома!

— Я думаю, мы имеем равные права... то есть никаких... на mademoiselle Анет.

— Это по вашему желанию он приехал? — весь дрожа, спросил Марк Семеныч mademoiselle Анет, бледную и всю в слезах.

— Нет, я ничего не знала! — отвечала она.

— Извольте идти вон отсюда! вы лжец! — воскликнул Марк Семеныч.

Тавровский побледнел и, стиснув зубы, с минуту не мог ничего сказать, потом, вздохнув тяжело, подошел к Марку Семенычу, сконфуженному от своей горячности, и сказал тихо:

— Уйдемте отсюда: мы беспокоим mademoiselle Анет (которая сидела на стуле, закрыв лицо руками).

Она долго сидела в таком положении, как вдруг вбежала к ней с воплями Надежда Александровна. Волосы ее были в беспорядке, вуаль упал с головы. Бледная, задыхаясь, она бросилась на колени перед mademoiselle Анет и, хватая у ней руки, невнятно бормотала:

— Спасите, спасите... дети!.. Они хотят стреляться!..

Голос ее замер, и она упала без чувств на грудь mademoiselle Анет. Как ни был велик испуг гувернантки, но она заметила причину вечного вуаля на голове Надинь: красное родимое пятно было на затылке этой дамы.

Mademoiselle Анет смочила голову водой, натерла виски одеколоном и тем привела в чувство Надежду Александровну. Первое, что она произнесла, открыв глаза, было:

— Ах, бегите, бегите к нему, умолите его!

— К кому?

— К Марку Семенычу,— рыдая, говорила Надежда Александровна.

— Отчего же не вы?

— Я, я всему причиной: я не должна показываться ему на глаза.

Mademoiselle Анет кинулась в кабинет к Марку Семенычу, которого она застала писавшего. При виде ее Марк Семеныч поспешно встал.

— Вы стреляетесь? — спросила mademoiselle Анет.

— Кто вам сказал?

— Надежда Александровна. Она у меня в комнате.

— Несчастная...
— А ваши дети?
Марк Семеныч, закрыв лицо руками, кинулся на стул.
Mademoiselle Анет упала перед ним на колени и со слезами сказала:
— Откажитесь от вашего намерения.
— Я поступлю подло.
— Для пустых людей; а каждый порядочный человек, напротив, будет еще более уважать вас. Какого скандалу наделает ваша дуэль!.. Бедная ваша жена, дети... Нет, Марк Семеныч, нет, я, как ваш друг, я не допущу вас до этого!
— Друг, друг мой! вы требуете моей чести! — нагнувшись к mademoiselle Анет, говорил Марк Семеныч.
— Что выше для вас — честь или долг?..
— О! пожалейте меня... но что я могу сделать?
— Помириться!
— Нет, нет! я слишком оскорблен, я... ни за что первый!
— У вас будут просить прощенья.
— Хорошо! на одном условии.
— Какое?
— Чтоб вы остались в доме.
— Марк Семеныч! — с упреком сказала было mademoiselle Анет, но поспешно прибавила: — Хорошо, я согласна!
Марк Семеныч встал и, тяжело вздохнув, сказал:
— Я для вас жертвую моей честью.
— То есть для вашего семейства?
— Да...
Mademoiselle Анет вышла из комнаты, оставив в раздумье Марка Семеныча. Надежда Александровна встретила ее в сенях и тревожно сказала:
— Ну что?
— Он согласен на примирение, только первый не хочет просить...
— Благодарю вас, благодарю! — воскликнула Надежда Александровна, с чувством пожав ей руку, и пошла в кабинет к Марку Семенычу, ласково сказав: — Приведите, пожалуйста, скорее детей.
Mademoiselle Анет привела детей и, стоя у окна, плакала, смотря на радостные слезы Марка Семеныча при виде детей, тоже плакавших, не понимая отчего; а рас-

каявшаяся Надежда Александровна рыдала, спрятав голову на его груди.

Mademoiselle Анет удалилась, боясь быть смешной. Вечером у ней всё было готово к отъезду. Она в волнении кого-то ждала. Вбежал Марк Семеныч, запыхавшись.

— Что, что вам угодно?

И он, как бы ошеломленный, остановился, глядя на чемоданы.

— Вы уезжаете? — с упреком сказал Марк Семеныч.

— Я должна уехать! И вы, верно, сами будете согласны со мной, если я открою вам мою тайну.

— Что? вы пугаете меня! — едва устояв на ногах, произнес Марк Семеныч.

— Садитесь! — взяв его за руку, сказала mademoiselle Анет.

Они уселись на диване; после нескольких минут молчания mademoiselle Анет с замешательством сказала:

— Марк Семеныч, простите меня, я... я, поступив в ваш дом, скрыла от вас...

— Что такое?..

— Я... я была актрисой.

— Ну?

— Я хотела изменить свое занятие, избранное мною по необходимости, чтоб жить независимо...

— Так барон не ошибся?

— Вы видите, я не должна и не могу более быть в вашем доме. К тому ж положение гувернантки равно тяжело, как и актрисы. Последнее более независимо, и я решилась вновь поступить на театр.

— Ну что же! это очень умно! если у вас есть талант, то вы не должны заглушить его. Хорошая актриса так же всюду уважается, как и другие женщины, и их добродетели еще более удивляются, зная скользкий путь, по которому они идут.

— Итак, я имею ваше согласие оставить ваших детей.

— Для них будет большая потеря; но вы молоды, и вам надо жить. С богом, с богом, мой друг! Да, мы останемся друзьями... Вы не отнимете у меня права продолжать заботиться о вас?..

— Благодарю! я очень буду счастлива!

Mademoiselle Анет простилась с Марком Семенычем, который условился с ней видеться на другой же день в Москве, в той гостинице, где они уже виделись прежде. Но когда он приехал в Москву, в гостинице не было

mademoiselle Анет. Марк Семеныч был в отчаянии и через два дня поскакал в Петербург, но и там не нашел mademoiselle Анет. Он возвратился, убитый, в деревню. Надежда Александровна очень изменилась в лице и похудела. Она была в хлопотах, собираясь за границу. Передавая мужу новости, она, между прочим, сказала:

— А ты знаешь, что наша mademoiselle Анет провела всё это время в одной из подмосковных у Тавровского? и теперь куда-то уехала...

Через несколько дней Марк Семеныч проводил свою жену за границу в сопровождении mademoiselle Клары. Мисс Бетси и он остались с детьми на зиму в деревне.

ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

(Последняя)

Глава LXV

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Если читатель не забыл, по какому случаю и при каких обстоятельствах Любская оставила театр города NNN и самый город, то ему нетрудно будет догадаться о времени, когда она встретилась с Марком Семенычем. Огорченная смертью Мечиславского, испуганная появлением в городе NNN бывшего своего благодетеля, Любская уехала с такою поспешностью, что не успела даже запастись горничною. Она ехала в Москву, сама, впрочем, не зная, что будет делать. Встреча с Марком Семенычем решила выбор: она сделалась гувернанткой. Потом, оставив, по известным нам обстоятельствам, дом Марка Семеныча, Любская действительно провела в подмосковной у Тавровского всё время, пока Марк Семеныч искал ее в Петербурге. Трудно было бороться девушке, тогда еще неопытной, против пламенной любви, красоты и богатства человека, которого она любила. Притом, прожив несколько месяцев в новом, блестящем кругу, среди соблазнительной роскоши, она ужасалась одной мысли снова возвратиться к бедному существованию, к маленькой квартире с вечным запахом кухни, с грязной лестницей вместо лестницы, уставленной цветами и устланной коврами. А самолюбие, так взлелеянное Марком Семенычем и так раздраженное Надеждой Александровной? Всеми этими обстоятельствами достаточно объясняются воздушные замки, которые строила Любская, мечтая, что Тавровский сдержит свое слово и женится на ней. Тавровский действительно любил ее, сколько мог; но его молодость, его положение в обществе, родня — всё ясно показывало, как несбыточны надежды Любской, которым она предавалась с каждым днем более. Она, казалось, помешалась на этом предмете. Плакала, ревновала его

и требовала выполнения слова. Слезы и упреки ее могли бы смягчить другого, но не Тавровского, который никогда в жизни не плакал и удивлялся, как могут люди плакать. Его любовь к Любской сделалась гласной; и насмешки друзей, что он женится на провинциальной актрисе, бесили его. Нашлись добрые люди, которые не замедлили известить Наталью Кирилловну об этом намерении племянника. Гнев тетки был страшен. Тавровский с радостью принял ее предложение ехать за границу и уехал потихоньку, скрыв от Любской день своего отъезда.

Удар самолюбию был слишком силен, чтоб не сделать резкого потрясения в характере Любской. Она как бы переродилась: вместо слез и отчаяния, которых ожидали, она с улыбкою встречала знакомых Тавровского; начала выезжать в театр, на гулянья, смело смотря на всех. Она поступила на сцену, принимала блестящее общество, жила роскошно,— и всё заговорило о ней. В то время Федор Андреич снова случайно увидел на сцене свою прежнюю Аню. Как безумный кинулся он к ней на квартиру после спектакля. Он дрожал, ожидая ее в пышно убранной гостиной, и готовился умолять ее, чтоб она не вздумала снова бежать от него. Но он был поражен развязностью и любезностью приема, какой сделала ему бывшая его воспитанница. Добродушным и ласковым смехом она поспешила разогнать смущение Федора Андреича и сказала:

— А, наконец-то мы встретились!

— Вы бегали меня? — задыхаясь, произнес Федор Андреич.

— Будьте покойны: теперь я ни от кого и ни от чего не убегу. Да, Федор Андреич, благодарю вас: вы многое предсказали мне очень верно, когда я оставляла ваш дом...

— Он вас ждет! он ваш! всё, что я имею,— ваше, только не бегите меня! — перебил Федор Андреич.

— Куда бежать мне? и зачем? — насмешливо спросила Любская.

Федор Андреич был удивлен тоном голоса и взглядами Любской. Прежней Ани не было тени,— кроме лица, которого черты, казалось, сделались еще выразительнее и красивее. Он также был удивлен блеском общества Любской и роскошью жизни, какую она вела.

Всё еще влюбленный, Федор Андреич стал умолять Любскую бросить сцену и ехать к нему в деревню. Он обещал тотчас же отдать ей всё, что имел, лишь бы она согласилась на его предложение. Любская долго отказы-

валась. Наступило лето, и она объявила ему, что согласна сделать маленькое путешествие, чтоб посмотреть те места, где провела свое детство.

Как только они приехали в деревню, первым делом Любской было бежать в свою комнатку. Она оставалась в ней довольно долго одна, вероятно припоминая всё прошедшее. Потом она пошла по другим комнатам, и когда кончила обзор всего дома, лицо ее нисколько не смягчилось; напротив, что-то язвительное было в ее улыбке, во взгляде, в словах. Ни лакеи, ни горничные — никто не хотел верить, что приезжая барыня — та самая Аня, которая несколько лет тому назад скромно сидела за столом, с робким взглядом, полным нежности, и трепетала при одном звуке сурового голоса Федора Андреича. Теперь роли до того изменились, что Федор Андреич, некогда гроза всего дома, уничтожался перед капризами Любской. Довольно было одной ее недовольной мины за столом, и он готов был бросить тысячи, чтоб угодить ее вкусу.

Федор Андреич питал надежду, что Любская выйдет за него замуж, тронувшись его угождениями, и потому сорил деньгами. С неделю они прожили в деревне. Любская заметно стала скучать и поговаривать о своем возвращении. Федор Андреич пришел в отчаяние; он умолял ее высказывать прямо все свои желания, даже капризы, обещая всё исполнять, лишь бы она не скучала и осталась в деревне.

— Ваше состояние не позволит вам вести такую жизнь, к которой я привыкла,— равнодушно отвечала ему Любская.

— Мое состояние довольно значительно,— говорил Федор Андреич.— Я всю жизнь свою неутомимо занимался устройством его и в последнее время принял участье в откупах, и очень счастливо. Если же денег моих недостаточно, я снова займусь делами и оборотами; вы не будете ни в чем нуждаться. Только оставьте жизнь, какую вы вели... я считаю себя всему причиною!

— Скажите, пожалуйста, чем жизнь моя вам не нравится? Я артистка; следовательно, на меня все обращают особенное внимание. Я должна жить порядочно. И чем же лучше была бы моя жизнь теперь? В нищете, окруженная детьми? Нет! я очень благодарна вам, что вы неусыпно следили за мной и не дали мне пойти по ложной дороге, которая вовсе не в моем характере.

Федор Андреич не мог равнодушно слушать таких благодарностей от своей прежней воспитанницы: он выходил из себя и впадал в такое отчаяние, что пугал даже Любскую. В одну из таких минут Любская поспешно поставила на стол шашечную доску, села перед ней и, наивно-ласково глядя на Федора Андреича, с робостью сказала:

— Готово-с!

В эту минуту она не была Любская, но прежняя Аня, с веселой улыбкой, с кротким взглядом. Расставляя шашки, она говорила:

— Вы, пожалуйста, выпускайте меня: мне очень хочется выиграть у вас.

Федор Андреич как бы не верил себе: он машинально сел на свое место, не спуская удивленных глаз с своего партнера.

Действительно, наружность Любской так изменилась, что прислуга верно признала бы ее теперь за прежнюю Аню!

Федор Андреич передвигал шашки, сам не понимая куда и зачем. Наконец партия кончилась, и Любская с кокетливостью девочки сказала:

— Я выиграла!

— Что же вы хотите?

— Чтоб завтра же начали ломать этот дом,— простодушно отвечала Любская.

— Как! ломать дом?

— Вы по-прежнему с трудом исполняете мои просьбы! — надув губы, печально сказала Любская.

— Но для чего его ломать? Вы разве не знаете, что здесь умер мой отец, моя мать, жил я... он для меня дорог по воспоминанию.

— Кого и чего? — резко возразила было Любская, но тотчас продолжала с прежней кротостью: — Я по вашему же приказанию — всё говорить вам, что мне захочется,— объявила мое желание.

— К чему же ломать дом? где будем жить?

— Я для этого и хочу его ломать, чтоб было мне где жить! — таким вкрадчивым голосом произнесла Любская, что Федор Андреич чуть от радости не сошел с ума. Он тотчас же кинулся распоряжаться, чтоб на другой же день приступили к работе. Дворня уже и так дивилась выходкам своего барина, прежде всегда расчетливого и сурового; но последнее его намерение просто испугало всех,— и в застольной было решено, что гостит у них не Аня, а

какая-то колдунья, которая морочит бедного Федора Андреича. Любская перебралась в баню, недавно выстроенную, Федор Андреич — в садовую беседку, люди разместились по избам.

Приступили к сломке дома, и когда раздался первый треск рухнувшейся стены, Федор Андреич изменился в лице; но улыбка Любской успокоила его. Она сама следила за работой и торопила рабочих, говоря, что ей хочется как можно скорее отделать дом и поселиться в нем. Когда наконец дом превратился в какой-то хаос, стены были проломлены и только по краске, оставшейся на них, можно было узнать залу и другие комнаты, Любская вошла через окно в дом и, радостно оглядывая его, сказала Федору Андреичу:

— Ну вот и нет того кабинета, к которому я всегда с таким страхом подходила! ни той гостиной, где по вечерам я читала вам газеты, ни той залы, где ваша сестра читала мне длиннейшие наставления, ни комнаты моей, где я так часто плакала, ни комнаты дедушки,— и ничего, ровно ничего!!

И Любская тихо смеялась.

— Но всё будет новое! — как бы с испугом сказал Федор Андреич.

— Может быть; только не я буду жить в новом доме! — насмешливо отвечала Любская.

— Как? Я сломал дом! вы этого пожелали! Нет, я шутить так не позволю с собою! —с прежнею яростью и неумолимостью закричал Федор Андреич.

— Мне некогда, извините меня: я вечером еду отсюда,— спокойно отвечала Любская.

Федор Андреич в отчаянии воскликнул:

— Я прежде не понял вас: этот дом противен вам?

— Всё равно, вы поняли теперь! — и с этими словами Любская оставила Федора Андреича одного, на развалинах его дома.

В тот же вечер Любская уехала из деревни, очень веселая. Федор же Андреич был мрачен, расставаясь с ней, и тотчас сделал такие распоряжения по дому, из которых можно было положительно заключить, что он не намерен никогда более возвращаться в него...

Состояние Федора Андреича очень скоро исчезло в Петербурге. В доме у Любской иногда играли в большую игру, в которой принимала участие и сама хозяйка. Дав-

нишняя страсть Федора Андреича к картам, долго побеждаемая силою воли, вновь вспыхнула и гибельно разрешилась. Он проиграл всё свое состояние, проиграл и деревню свою, где росла Аня, и остался нищим. Любская не отказала ему в том, чем некогда была сама ему обязана: она давала ему ровно столько денег, сколько нужно, чтоб поддерживать существование, и в веселом расположении духа иногда спрашивала:

— Ну что, Федор Андреич, весело есть чужой хлеб?

С той минуты жизнь Любской потекла ровно и широко, как корабль, выплывший в открытое море и летящий на всех парусах, не страшась более встретить на своем пути подводных губительных скал и уверенный, что никакая буря не опасна ему.

Глава LXVI

ВИЗИТЫ

Читатели потрудятся припомнить, что Любская и Остроухов были введены в приемную к Любе. Актриса вошла гордо, с презрительной улыбкой, а ее товарищ — робко, не смея поднять глаз. Он остался у дверей.

Любу очень сконфузили гордо-насмешливые взоры незнакомой дамы; но, увидя Остроухова, она вздрогнула и пугливо-вопросительно глядела на своих гостей.

Любская, казалось, наслаждалась замешательством девушки; в лице ее еще резче отразилось самодовольно-гордое выражение. Оглядывая Любу с ног до головы, она язвительно улыбалась.

Люба, то краснея, то бледнея, едва могла проговорить:

— Что вам угодно?

Любская вместо ответа засмеялась.

Слезы выступили на глазах Любы. Остроухов, как будто покоробленный смехом Любской, печально сказал:

— Говори скорее: мы можем наскучить.

— Вы, верно, догадываетесь, кто я? — с важностью спросила Любская.

Люба молчала.

— Я та самая, которой по всем правам следовало поселиться в этом доме. Но я была бедна, одинока, за меня некому было вступиться,— продолжала актриса.

— Это правда: она была брошена на все соблазны,— шептал Остроухов у двери.

— Что же вы хотите от меня? — едва внятно спросила Люба, страшно изменясь в лице.

— Позвольте, я еще не докончила своей истории! — перебила ее Любская и, приняв драматическую позу, продолжала, возвышая постепенно голос: — Мне, как и вам, обещались жениться. Но...— насмешливо прибавила она,— я, может быть, не так была опытна и более доверчива...

— Говори дело, и скорей! — перебил ее Остроухов.

Но Любская не обратила на его слова внимания и с большею иронией продолжала:

— Может быть, ваша любовь дальновидна; но я, я любила просто, без расчетов... я...

— Господи!.. да говори порядочно! — умоляющим голосом опять перебил ее Остроухов.

На этот раз Любская резко ему отвечала:

— Прошу не перебивать! — и с горячностью обратилась к несчастной девушке, бледневшей от каждого ее слова всё более и более: — Любовь увлекла меня, или, лучше сказать, меня старались увлечь, чтоб моим падением воспользоваться и бросить безжалостно. Да, я была брошена, предана злословию, стыду, и всему этому, знаете ли, кто был причиной?

Остроухов кинулся к Любской, взял ее за руку и умоляющим голосом сказал:

— Довольно! посмотри, посмотри на нее, пожалей, она еще так молода!

В самом деле, Люба находилась в таком положении, что при взгляде на нее замирал дух. Она была бледна как полотно; полураскрытые губы усиливались говорить, но звуков не было. Глаза молили пощады, и она придерживалась за письменный стол, чтоб не упасть.

— Ах! оставь меня! — с сердцем вырвав свою руку, сказала Любская и язвительно спросила: — Кто, кто жалел меня? я тоже была молода! И ты это знаешь очень, очень хорошо!!

— Всё-таки это тебе не дает права мстить другим,— горячась, отвечал Остроухов.

— Разве я кому-нибудь мщу? нет, я пришла с добрым намерением...

Но вдруг она остановилась и так громко засмеялась, как будто была на огромной сцене, а не в комнате. Указы-

вая трагическим жестом на портрет Тавровского, стоявший на письменном столе, она сказала язвительно:

— Как жаль, что я не вижу в эту минуту самого оригинала!

Потом она близко подошла к Любе и, сняв с себя медальон, открыла его и поднесла к глазам отчаянной девушки.

То был миниатюрный портрет Тавровского в самом цветущем его возрасте.

Люба пошатнулась и села на стул.

— Вы видите, у меня такой же. Он был подарен с клятвами, что оригинал будет вечно принадлежать мне; но в моих руках осталось одно его изображение. Видите, как смешно доверять чему-нибудь и кому бы то ни было.

— Пойдем, пойдем отсюда! дай ей успокоиться! — говорил в волнении Остроухов, с ужасом глядя на Любу и дергая за платье Любскую, которая продолжала:

— Я с вами буду говорить коротко и прямо: вы обмануты; если я не принуждаю его быть моим мужем, то не позволю ему быть и вашим! Да, я надеюсь, вы не захотите сами быть женой человека, который даже в то время, как был вашим женихом, не оставлял своих старых связей, имел тысячу новых интриг, даже не одну сделал несчастною.

— Перестань! разве я тебя затем привел, чтоб ты оскорбляла ее? — в негодовании сказал Остроухов, кинувшись между Любой и Любской.

Последняя, выходя из своей важной, гордой роли, сказала:

— Ты с ума сошел! разве я не могла без тебя прийти?.. да я еще дождусь его здесь!

Люба слабо вскрикнула и, закрыв лицо, припала к столу.

— Иди, иди сейчас же отсюда! — почти шепотом, но грозно сказал Остроухов и в отчаянии продолжал, хватая себя за голову: — Пусть будет проклят тот час, когда я вздумал вмешиваться в это дело! Но кто же мог ожидать, что из тебя вышло! Я думал, что ты всё та же! — Остроухов с отвращением отвернулся от Любской и, почти плача, продолжал, не смея поднять глаз на Любу: — Это не она! нет, это не та женщина, для которой я скакал дни и ночи, не ел, не пил. Я сам отказываюсь от нее! — И Остроухов заплакал, как ребенок, бормоча:— Федя! Федя! ты хорошо сделал, что умер!

Любская ходила скорыми шагами по комнате; ее руки судорожно сжимались; она то пожимала плечами, то злобно глядела на Любу и Остроухова, который вдруг выпрямился и, повелительно указав ей на дверь, сказал грозно:

— Сейчас же оставь ее!! Ты знаешь меня очень хорошо! и если не хочешь истории, беги скорее!

Любская стиснула зубы и, грозя Остроухову, в гневе отвечала:

— Ты у меня поплатишься за эту выходку! — и язвительно прибавила: — Вы, кажется, вздумали разыграть роль защитника, надеясь, может быть, что вам заплатят за нее... ха-ха-ха!

— А ты роль леди Макбет начинаешь осуществлять в жизни, и только недостает кровью запятнать руки,— отвечал Остроухов, прибегая в своем возражении к театральным воспоминаниям.— Сердце, кажется, у тебя давно запятнано.

Остроухов выходил из себя и был страшен.

— Хорошо!.. я уйду,— задыхаясь, отвечала Любская и, обращаясь к Любе, прибавила грозно:— Но знайте, избранная из всех смертных, чтоб быть подругой самого развратного и безжалостного человека, я решусь на страшные вещи, но не допущу его быть ничьим мужем!

С этими словами Любская быстро вышла из комнаты. Остроухов кинулся за ней и захлопнул дверь, а сам остался на пороге, повесив голову, как преступник, ожидающий наказания.

Люба, казалось, ничего не видала. С минуту она оставалась всё в той же позе; но вдруг рыдания ее наполнили комнату.

Остроухов тоже тихо всхлипывал, бормоча жалобно:

— Простите, простите... Я, я всему виноват!

Люба пугливо отерла слезы и отчаянным голосом сказала:

— Чем же? я благодарю вас: вы раскрыли мне жизнь человека...

— О, не верьте, не верьте озлобленной женщине... нет! это не женщина, а фурия какая-то... Господи! если бы вы ее видели несколько лет тому назад, о, вы приняли бы в ней участие!.. Ради бога, выходите скорее замуж. Вы его любите... и где вы найдете мужчину без каких-нибудь проступков?.. Простите, простите меня!

И Остроухов весь дрожал и, казалось, готовился упасть к ногам Любы, которая кротко сказала:

— Я на вас не сержусь: вы любили ее...

— Как дочь! — подхватил Остроухов.

— Значит, вы ни в чем не виноваты.

— О, вы добрая!.. да, вы женщина, вы еще не испорчены, как она! Я скажу вам откровенно, я ехал сюда, чтоб расстроить вашу свадьбу; а теперь, теперь! — И Остроухов тоскливо рванул себя за поношенный черный фрак и печально продолжал: — Я готов отдать свою жизнь, хотя трудно, чтоб она что-нибудь стоила,— прибавил он иронически,— лишь бы успокоить вас и всё уладить... Прощайте! не думайте обо мне того, что недавно сказала безумная, испорченная женщина, будто я вступался за вас из... Ну да кто ей станет верить!.. Нет, вся вина моя в том, что я не износил вместе с своей наружностью привязанности и горячности к людям, которых я люблю. Но... я ее более не увижу!! Прощайте и простите великодушно старому и из ума выжившему ярмарочному актеру...

И Остроухов, почтительно поклонясь, печально вышел из комнаты.

Собирая свои растерянные мысли, Люба походила на женщину, упавшую с большой высоты и едва очнувшуюся, голова которой не пришла в порядок от сильного сотрясения.

Почти в то же самое время и Тавровский имел визит; но разница в том, что он вовсе не был потрясен.

Когда он сидел у себя в кабинете, Зина тихо вошла к нему, с потупленными глазами, и, как бы сконфуженная своей смелостью, робко сказала:

— Я, может быть, вас беспокою?

— Очень приятно! не угодно ли? — отвечал Тавровский, подавая ей стул.

Зина села и как бы задумалась.

Тавровский, смотря на нее, шутливым тоном спросил (впрочем, он всегда этим тоном говорил с ней):

— Вы о чем-то мечтаете?

— Да! я думала о своем положении — как ужасно быть одной, не иметь никого, кто бы принял участие, защитил...— печально отвечала Зина.

— Помилуйте! да вы мне кажетесь окруженною двадцатью опытными маменьками, тетушками и прабабушками, которые наперерыв дают вам советы, как вести себя и обработывать ваши дела.

— Ах! — тяжело вздохнув, с грустью отвечала Зина.—

Вот в сию минуту, когда я пришла к вам с открытым сердцем...

— Это должно быть очень любопытно — увидеть такое сердце! — перебил ее Тавровский.

— В нем, как и в других, есть очень много недостатков.

— Например?

— Излишняя привязанность...

— Немстительность, доброта, кротость... У! какое богатство!

— Зато я не имею денег!

— Да эти достоинства уравновешивают вас с первыми богачками на свете.

— Не все так думают, как вы; всего прежде требуют от девушки приданого.

— А вы собираетесь замуж? — быстро спросил Тавровский.

— Может быть! — лукаво отвечала Зина.

— Ну что же, очень умно сделаете: тетушка уже стара...

— И не так щедра, чтоб надеяться быть вознагражденною за все жертвы,— подсказала Зина.

— Да, она вас решительно не понимает!

— Вы всё шутите, Павел Сергеич, а я пришла очень серьезно поговорить с вами.

— За чем же дело стало? Я готов!

И Тавровский подвинул свой стул ближе к Зине, которая жалобно начала:

— Павел Сергеич, вы знаете, что я девушка бедная и...

— Знаю, очень знаю, что вы дочь дворецкого! — подхватил Тавровский.

Зина изменилась в лице, но подавила в себе злобу и, придав своему лицу вид угнетенный, продолжала:

— У меня нет никого, кто бы защитил меня, о моей участи некому позаботиться, я сама должна быть себе и матерью и защитником.

Тавровский, покачивая головой, произнес:

— Ну-с?

— Я пришла... к вам... с маленькой просьбой.

— С какой? — с удивлением воскликнул Тавровский.

— Вы не догадываетесь? — лукаво смотря на Тавровского, спросила Зина.

— Нет! — серьезно отвечал Павел Сергеич.

— Говорят, будет очень скоро ваша свадьба?

— Да, я постараюсь устроить ее как можно скорее.

И Тавровский вопросительно глядел на Зину, которая, приняв плаксивую мину и потупив глаза, спросила:

— А вы обо мне не подумали?

— Что же мне думать об вас?

— Павел Сергеич! я надеялась на вашу деликатность! — обиженно отвечала Зина.

— Нет ли у вас еще каких других надежд?

— Да! и на вашу щедрость,— незастенчиво и любезно улыбаясь, сказала Зина.

— На мою щедрость? Гм!.. нет! я стал скуп.

— С тех пор как женитесь на миллионерке.

— С чего же вы взяли, что она миллионерка? — смеясь, спросил Тавровский.

— Не притворяйтесь; я видела сама с вашей тетушкой документы в руках ее братца!

На последнем слове Зина сделала сильное ударение.

— Прибавьте: молочного! — резко заметил Тавровский.

— Да, молочного.

И Зина рассказала Тавровскому подробно о богатстве его невесты, что было совершенной новостью для Павла Сергеича и, разумеется, очень приятною. Зина продолжала:

— Вот видите, какой вы богач, и не хотите бедной девушке дать средства к существованию.

— А-а-а, так вот к чему всё клонилось! Зачем же вы столько лавировали? а? Я люблю прямоту.

— Извольте! я скажу вам прямо, что надеюсь получить от вас сумму денег, которая вас не стеснит, а мне будет очень кстати,— говорила шутливо Зина, как будто дело шло о самой ничтожной вещи.

— Позвольте узнать, какие вы имеете права просить у меня денег? — запальчиво спросил Тавровский, отбросив совершенно шутливый свой тон.

Зина как бы сконфузилась, потупила глаза и потом, быстро подняв их,— вероятно, чтоб более придать им эффекта,— устремила их печально на Павла Сергеича и тихо сказала:

— Спросите вашу совесть...

— Она мне говорит, что гроша не следует давать! — презрительно отвечал Тавровский.

Зина побледнела. Злоба, казалось, душила ее; но она победила ее и через минуту молчанья кротко, но твердо сказала:

— Если вы так бесчеловечны, что не хотите признать моих прав, я... я обращусь к другим: может быть, в бедной девушке и примут участие.

— К кому же вы намерены обратиться?

— Говорят очень много хорошего о вашей невесте... Она...

— Ну нет-с! вы ее должны оставить в покое. Слышите: не сметь!! — энергически произнес Тавровский.

Глаза его засверкали; он гордо глядел на Зину, которая с наивностью спросила:

— Почему?

— Я этого не хочу!!

— Что же мне делать! — в раздумье говорила Зина, как бы рассуждая сама с собой.— Я так низко стою во мнении вашей тетушки, да, верно, и вашей невесты, что кого могу я обидеть, если обращусь с просьбой о помощи мне, бедной девушке. Павел Сергеич, подумайте, мне нечего терять. Я привыкла ко всему и, бывши еще ребенком, часто слышала, что меня могут выгнать каждую минуту из вашего дома.

— И хорошо бы сделали! — проворчал Тавровский.

Зина вздрогнула и, изменив тон своего голоса, язвительно сказала:

— Значит, я ровно ничего не теряю. Моя неопытность...

— Говорите скорее! во сколько вы цените ее? — сердито сказал Тавровский, подвинув свой стул к письменному столу, у которого они сидели.

Зина, злобно улыбаясь, отвечала:

— Я полагаюсь на вас.

— Я думаю, цена будет очень дорогая, если вы согласитесь на пять тысяч? — серьезно спросил Тавровский.

Зина закусила губы и, задыхаясь, сказала:

— Вы знаете очень хорошо, что такую сумму можно было бы предложить вашим нянюшкам.

— Сколько же? — бросая перо, спросил Тавровский.

— Я желаю пятьдесят тысяч! — отвечала резко Зина.

Тавровский вскрикнул с ужасом:

— Пятьдесят тысяч?!.. Я, верно, ослышался!

— Павел Сергеич, прошу без шуток! — горячась тоже, воскликнула Зина.

— Какие шутки! до шуток ли? я не могу опомниться! пятьдесят тысяч!!.. Полноте! согласитесь на половину!.. Да этак, я уверен, не запрашивают и на Щукином дворе!!

Зина вся задрожала и вскочила с своего места.

— Куда вы? — удерживая ее за руку, покойно спросил Тавровский.

— Оставьте меня! Я не могу более выносить подобные оскорбления.

— Садитесь.

И Тавровский усадил Зину на прежнее место и, взяв бумагу и перо, сказал:

— Вот вам пятьдесят тысяч, и надеюсь, что они с излишеством всё выкупят.

Тавровский стал писать. Зина сказала ему, встав и раскланиваясь:

— Не трудитесь: я теперь их не приму от вас...

Тавровский посмотрел на Зину, она на него; с минуту они любовались друг другом, и когда Зина насмешливо присела ему, Тавровский вскочил, запер дверь и, спокойно возвратясь с Зиной к столу, посадил ее перед ним, подвинул к ней чернила и бумагу, дал ей перо, а сам, подойдя к звонку, сказал очень решительно:

— Зиновья Михайловна, извольте написать ко мне письмо, что вы просите у меня прощенья за ваше намерение наделать мне неприятностей и что цель ваша была денежный расчет. Я вам не советую ссориться со мною,— продолжал Тавровский, заметив, что Зина отбросила перо:— Я поступлю жестоко. Я попрошу сюда сейчас же Наталью Кирилловну, которая...

Зина поспешно стала писать, а Тавровский, смеясь, стоял за ее стулом, следил за ней и одобрительно говорил:

— Хорошо! вот так! ваше имя теперь...

И когда Зина встала со стула, Тавровский взял записку, спрятал в карман и сказал:

— Вы знаете, Зиновья Михайловна, я не люблю сцен...

— Бог и добрые люди не дадут в обиду бедную девушку! — торжественно произнесла Зина.

— Всё-таки советую вам беречься. Вот вам записка: явитесь к моему управляющему, и вы будете удовлетворены.

Зина взяла записку из рук Тавровского и поспешно пошла к двери, у которой остановилась и сказала:

— Отоприте же!.. Да, я и забыла вам сказать,— будто сейчас вспомнив, наивно прибавила она,— что к Любови Алексеевне пришли гости.

— Это кто?

— Да какая-то госпожа Любская с отцом, а может быть, и мужем... Отоприте же!

Тавровский не двигался с места.

Зина, смеясь, глядела на него и пугливо сказала:

— Ах, господи, отчего же вы не отворяете! что еще хотите меня заставить написать?

Нетвердой рукой Тавровский вложил ключ в замок и первый выбежал из кабинета, а Зина, припрыгивая за ним, поддразнивала его запиской и делала ему нос.

Тавровский застал еще следы слез и отчаяния на лице Любы. Она старалась скрыть их, но напрасно: в ее голосе и взгляде были рыдания,— и при виде своего жениха она хотела убежать. Но Тавровский таким умоляющим, отчаянным голосом и вместе с упреком произнес: «Люба, Люба!», что она остановилась. Он подошел к ней, взял ее за руку; глядя ей в лицо, которое было склонено на грудь, с потупленными глазами, он от волненья долго не мог говорить, наконец печально сказал:

— Я надеялся, что ты поверила наконец в искренность моих слов, что я тебя, одну тебя люблю. Разве я отпирался от своих прежних увлечений? Я жалел твою чистоту и только потому не признавался в них. Сама рассуди, мог ли я жениться на подобной женщине? Ты видела ее и, несмотря на свою неопытность, я уверен, поняла, что двигало эту женщину, когда она вздумала изъявлять свои смешные права. Только к тебе, как девушке, полной чистоты и не знающей жизни, она могла явиться так смело. Кто бы другой допустил ее говорить? Одно ее присутствие здесь было уже большое оскорбление!

— Что же мне было делать? Я так испугалась ее.

— Люба, она на это рассчитывала. Не ты первая из невест, которые слышат ужасы про своих женихов, и, верно, не последняя. Я не буду выставлять себя примером скромности. Но знай, Люба, что всё дурное во мне развито от воспитания и людей, окружавших меня. Каждый дурной поступок в моей жизни верно найдет оправдание. Расставшись с тобой, я для испытания себя и своей любви вновь вел прежнюю жизнь — и глубоко сознал, что она недостойна порядочного человека. Я всё оставлю: все свои привычки,— я уеду отсюда, только вырви меня

из этой пустоты, которая погубит меня. Да, ты одна только можешь спасти меня!

Тавровский в подобные минуты имел столько энергии, говорил так убедительно и был так привлекателен, что не пламенно любящему сердцу Любы было устоять. Она колебалась. Павел Сергеич спешил воспользоваться этой минутой, и Люба невольно дала согласие ускорить свадьбу.

Тавровский поехал к Любской, желая как-нибудь запугать ее, задарить, уговорить — одним словом, как можно скорее покончить это дело. Он знал упрямство ее характера, но надеялся и на свою настойчивость. Однако ж, увидев Любскую и вспомнив ее дерзость, Тавровский забыл свое благоразумие; злоба душила его. Любская явилась перед ним расстроенная, вся в слезах, чем он был немного удивлен.

— Я думал найти вас торжествующей,— сказал он иронически,— и льстил себя надеждою уничтожить ваше торжество.

— Да вон тот дурак, помешанный, наделал мне таких сцен, что я как дура расплакалась,— говорила Любская, вытирая слезы и как бы стыдясь их.

— Ваш свирепый защитник? Это что-то худой знак. От вас все отступаются, как...

— Прошу вас умерить выражения! — перебила Любская.

— Это почему? Вы, кажется, не умеряли их, да еще в моем доме, в присутствии особы, на которую вам с благоговением следовало бы смотреть. Знаете ли, вы еще не взвесили вашего неблагоразумного поступка. Ну, если бы я вас встретил первый, то...

— Что бы вы сделали?

— Я?.. я сначала переломал бы ребра швейцару, потом вашему защитнику, а...

— Замолчите! вы забываете, что вы говорите! — в ужасе воскликнула Любская.

— Да! я нахожусь в таком состоянии, что не могу ручаться за свои слова; даже...

Лицо Тавровского было страшно, так что Любская пугливо сказала:

— Успокойтесь; я потом буду говорить с вами.

Тавровский долго ходил по комнате, как бы желая успокоиться, и потом, сев возле Любской на диван, серьезно, но уже покойно сказал:

— Я надеюсь, что между нами всё и давно было кончено?

— Я надеялась, что года, моя терпеливость тронут вас и вы исполните то, что несколько лет тому назад обещали.

— Это забавно, это мило!! ха-ха-ха! Вы просто шута из меня хотели сделать! — сказал Тавровский.

— Не говорите так со мной! вы знаете мой характер: за оскорбление я плачу тем же! — в негодовании отвечала Любская.

— Извольте! будем говорить иначе. Например: что вы надеялись приобрести вашим визитом? Вы подвергали себя страшной опасности. Ну что, если бы вы встретили не кроткую и робкую девушку, а опытную и знающую людей? вы были бы жалки и ваше положение было бы унизительно. И когда вы вздумали утолять ваше самолюбие? после таких огромных промежутков времени, разделявших нас! Я женюсь... что же такого ужасного для вас? Вы разве можете упасть во мнении ваших собраток и собратьев? напротив, новая квартира, мебель, экипаж — и вы стали выше в их мнении. Я хорошо знаю вас, и я надеялся на ваше образование, опытность, знание жизни. Сознайтесь, что наши отношения друг к другу вовсе не были такого рода, чтоб вы имели право являться ко мне в дом и делать сцены?

— Я глупо сделала! я сама себе удивляюсь! — искренно отвечала Любская, покраснев при воспоминании о своей ошибке.

— Вот теперь я вас узнаю! И к чему вам было выходить из вашей роли?.. Я рад, что вы сознались в своем проступке, и вы должны его исправить.

— Это как? и чего вы от меня требуете?

— Очень простой вещи: явиться опять ко мне в дом и сознаться той, которой вы наговорили глупостей, что всё вами сказанное — чистейший вздор...

— Ваше требование выходит из границ. Нет! я никогда не унижусь! придумайте другое средство,— гордо сказала Любская.

— Другого нет! советую согласиться, если вы не хотите нажить себе самого страшного врага! — таким угрожающим голосом сказал Тавровский, что Любская с досадой отвечала ему:

— Я не ребенок: не стращайте меня!

Но вдруг ее лицо озарилось радостью; она засмеялась и весело сказала:

— Извольте, я на всё согласна,— только на одном условии.

— Какое? — с любопытством и поспешно спросил Тавровский.

— Вы должны ужинать у меня накануне вашей свадьбы! — сказала актриса.

Павел Сергеич нахмурил брови, потом усмехнулся и сказал:

— Это только вам могут прийти в голову такие условия.

— Согласны? — кокетливо спросила Любская.

Тавровский подумал и сказал:

— Я готов! Мне ужасно надоели ссоры, объяснения. Я согласен!

— Вашу руку,— поспешно сказала Любская.

— Вот она.

— Я сейчас же еду.

— И умно сделаете!

Они расстались так дружно, как будто между ними и тени не было неприятностей.

Люба еще находилась под влиянием страшного визита, как ей доложили опять о желании Любской видеть ее. Люба в испуге не велела принимать; но Любская стояла уже в дверях и бросала умоляющие взгляды. Ее голос, взгляд, манеры, походка — всё выказывало женщину под тяжким бременем раскаяния. Она была бледна, глаза красны и впалы. Если бы не вечер и не сильное волнение Любы, может быть, она заметила бы, что всё это было искусственно.

— Я пришла у вас просить прощенья...— тихим голосом сказала актриса.

— Не у меня, а у него вы должны просить прощенья, если любите его,— нетвердым голосом отвечала Люба, верно припомнив слова Тавровского, что иначе надо было бы говорить с Любской.

— Слова, сказанные раздраженной женщиной, не есть оскорбление мужчине. Нет! я у вас должна просить прощения. Я обдумала свой поступок и ужаснулась его! Меня увлекла любовь; но я актриса и не имею тех прав, как другие женщины.

— Почему?

— Условия нашей жизни выходят из ряда; свобода, которою мы пользуемся в некоторых случаях, есть в то же время страшная преграда для нас. Я сама чувствую

смешную сторону моих надежд и спешу уверить вас, что счастье ваше с ним будет прочно. Он один из благороднейших людей, и я готова дать клятву, что он не сделал ни одного поступка в своей жизни, за который вам как жене его можно краснеть.

— Как же вы говорили утром? — воскликнула удивленная Люба.

— Повторяю вам, я говорила в бреду.

Люба свободно вздохнула.

— Простите раскаивающейся женщине... Вы можете заметить по моему лицу, что должна я была перечувствовать с той минуты, как оставила вас.

Люба испугалась бледности и страдальческого вида Любской, которая продолжала почти шепотом:

— Позвольте мне уйти: я... чувствую, что силы меня оставляют...

И она пошатнулась, идя к двери.

— Сядьте: вы упадете! — сказала Люба, подбежав к актрисе, которая зашаталась и облокотилась на ее плечо. Но она скоро очнулась; как бы удивленная, вспоминала, казалось, где она, глядела на Любу, осматривалась и наконец, заплакав, сказала:

— Как вы добры! вы простили меня, вы не испугались поддержать женщину, оскорбившую вас. О, возьмите, возьмите его! он вам одним должен принадлежать!

И актриса, сорвав медальон с своей груди, поцеловала его и, оставив в руках растроганной Любы, поспешно вышла. Лишь только она захлопнула дверь за собой, как поднесла платок к губам, заглушая свой смех.

Глава LXVII

УЖИН И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Тавровский так спешил свадьбой, что все в доме сбились с ног. Накануне дня свадьбы, начиная от Ольги Петровны до последней приживалки, все улеглись спать в папильотках, сделав такие приготовления, как будто каждая из них была невестой. Тавровский не желал пышной свадьбы; но Наталья Кирилловна и слышать не хотела о простоте и скромности: она созвала всё, что некогда ей было знакомо. Люба с трепетом ждала этого дня: она без ужаса не могла вспомнить, что должна будет предстать

всем родным Тавровского, которые, казалось ей, должны быть похожи на Наталью Кирилловну, и гостям. И к тому ж сомнение не совсем уснуло в ней. Она долго не ложилась спать, всё о чем-то думая. Поздно ночью кто-то тихо постучался к ней в дверь. Люба очень удивилась, кто мог бы прийти в такой поздний час; она отворила дверь — и в ужасе отскочила: перед ней стоял цыган, бледный, с сверкающими глазами.

— Что случилось с тобой? — воскликнула Люба.

Цыган не мог говорить.

— Ты весь дрожишь...

Цыган робко подал Любе маленькую записку. Пробежав ее, Люба помертвела и в отчаянии упала в кресла.

Записка была очень лаконическая, из двух строк:

«Стерегите его. Он дал слово ужинать у одной знакомой ему дамы, с которой давно уже довольно короток».

— Эту записку я получил час тому назад. Меня вызвали из моей комнаты, и незнакомый мне человек, подав ее, скрылся,— отчаянным голосом говорил цыган.

— Ну что же? он дома? он не ушел? — шепотом спросила Люба. Цыган глухим голосом отвечал:

— Я следил...

Люба вскрикнула в негодовании, быстро вскочила с своего места и, бегая по комнате, искала что-нибудь надеть.

— Ты знаешь, где он? веди, веди меня туда! — говорила она, перемешивая слова свои рыданиями.

— Я поступил бесчеловечно! — в отчаянии воскликнул цыган.— Пусть лучше ты была бы обманута!

Люба выпрямилась: в минуту слезы у ней исчезли, и она решительным голосом сказала:

— Нет! это последние слезы о нем. Веди меня, где он: я хочу, я должна сама увериться. И это будет мое прощанье с ним.

— Что ты хочешь делать?

— Вели закладывать дорожную карету! Но как же я выйду из дому?

— Той же дорогой, как он,— отвечал цыган и вышел.

Через пять минут он воротился к Любе. Она, уже одетая, нетерпеливо ждала его. Цыган повел ее темными комнатами, привел в свою, оттуда они вышли, через окно, в сад. Проводя ее мимо кабинета Тавровского, цыган указал на открытое окно. Люба, рыдая, воскликнула:

— Значит, нет более сомненья!

— К несчастью, нет! — отвечал цыган.— Я был даже в том доме, где он теперь пирует: я подкупил горничную, которая, если хочешь, проведет нас в комнаты. Ты сама всё увидишь...

Люба быстро и твердо пошла вперед. Из сада вышли они на улицу через калитку, ключ от которой был в кармане у цыгана. Идя по пустым и темным улицам, Люба вздрагивала, заслышав шаги пешехода или грохот экипажа. Они вошли в калитку одного небольшого дома и, пройдя двор, поднялись во второй этаж по темной лестнице. Цыган постучал в дверь и был впущен какой-то женщиной. Эта женщина повела их по темному коридору, потом отперла ключом какую-то дверь, и они очутились в комнате, тоже темной, но устланной коврами. Они прошли несколько таких комнат; в одной из них Люба вдруг вся вздрогнула, остановилась и шепотом сказала цыгану:

— Это его голос!

И она кинулась к занавеске, разделявшей ту комнату от соседней. Комната, которую увидела Люба, была большая зала, ярко освещенная люстрой и дорогими канделябрами, стоявшими всюду. За столом, богато сервированным, сидели: Любская, разряженная и веселая, и рядом с ней Тавровский, с нахмуренными бровями.

Как будто нарочно в ту самую минуту, когда Люба подошла к занавеске, Любская встала с бокалом в руке и громко и насмешливо сказала:

— Поздравляю вас со вступлением в новую жизнь, и дай бог, чтоб вы не забыли своих старых друзей!

Тавровский нехотя чокнулся.

— Вы, кажется, чем-то недовольны? О, черная неблагодарность! Я всё устроила: завтра вы будете счастливейший из смертных — и вы не хотите в последний раз быть веселым и любезным с старыми своими знакомыми.

Тавровский молчал. Любская, поглядывая на дверь с занавеской, продолжала:

— А знаете ли, что роль моя была очень трудная, когда я, разрисовав себе лицо, явилась кающейся и так напугала...

— Довольно! Я не сомневался в вашем таланте,— резко сказал Тавровский.

— Я непременно закажу пьесу к своему бенефису и велю вставить эту сцену: она будет очень эффектна.

— Мне пора! я сдержал свое слово,— вставая, сказал Тавровский; но Любская удержала его за руку и с любезностью сказала:

— Нет, я вас не пущу: мое условие было, чтоб вы отужинали у меня, а еще только два блюда подали.

— Может быть, вы их заказали сто!

— Какое нетерпение! Я так сговорчива, так уступчива, а всё оттого, что люблю вас!

— Благодарю! — презрительно пробормотал Тавровский; но Любская не обиделась и с тою же нежностью продолжала:

— Вспомните последний пример; сначала я хотела, чтоб вы в день свадьбы ужинали у меня; но я уступила. Вот отчего я много теряю в жизни: я не умею выдерживать характера!

— К вам нейдет роль угнетенной! — сказал Тавровский.

— Нетерпение делает вас очень нелюбезным; но завтра, завтра вы будете свободны — и на всю жизнь,— разумеется, в таком случае, если подруга вашей жизни останется всегда так простодушна, как теперь.

Люба отскочила от двери и почти выбежала из комнаты. Возвращаясь домой, она спотыкалась поминутно, как будто на каждом шагу под ноги ей бросали камни. Цыган поддерживал ее.

— Тише, тише! — говорил он.— Ты должна была быть готова ко всему!

Возвратясь в свою комнату, Люба стала бегать как помешанная, шарить в комодах, потом всё бросала и, ломая руки, умоляющим и раздирающим голосом повторяла:

— Ради бога, скорее, едем! едем!

— Полно! обдумай свое намерение, может быть, это только первый порыв гнева.

— О нет, нет! Я сойду с ума со стыда, если опять не устою и поддамся его словам и уверениям. Боже мой! что я сделала ему, чтоб так страшно обманывать!.. Ах, увези меня скорее!

Она рыдала. Цыган печально смотрел на нее и тихо шептал:

— Я никогда не ожидал, чтоб она могла быть счастлива с ним! — И потом он прибавил, обратясь к Любе: — Послушай: я очень хорошо знаю тебя — твоя любовь к нему слишком велика. Ты подумай, что всё готово,

всем объявлена свадьба его. И поступка твоего он не простит тебе никогда...

— Я его никогда более не увижу!

— Да станет ли у тебя настолько силы?

— Ты должен спасти меня!..

Через час из дома Натальи Кирилловны выехала дорожная карета.

Всё в доме спало, кроме Зины, которая, притаив дыхание, стояла за дверьми в сенях, откуда вышла Люба. Когда Люба села в карету и карета выехала из ворот, Зина, смеясь, побежала в спальню Натальи Кирилловны и дико закричала:

— Ах! убежала! убежала!!

Наталья Кирилловна была очень пуглива со сна, и потому вокруг нее обыкновенно сохранялась глубокая тишина, когда она почивала. Понятно, что стук дверьми, вопли Зины и свеча, сунутая ей под самые глаза воспитанницей, страшно испугали старуху. Вся дрожа, она быстро вскочила с постели и вопросительно глядела на Зину, которая, придав своему лицу дикое выражение, продолжала кричать:

— Убежала! срам всему дому! убежала!!!

— Кто? с кем? — едва могла пробормотать Наталья Кирилловна.

— С цыганом, сейчас уехала!!

Последние слова с таким ужасом были произнесены Зиной, что произвели на старуху необыкновенное впечатление. Наталья Кирилловна снова вся затряслась, потом села на кровать и стала закутываться в одеяла. Глаза ее блистали и расширялись; она долго смотрела на одну точку — и вдруг, сбросив с себя одеяло, сорвав чепчик, причем седые волосы ее рассыпались, быстро встала и отрывисто сказала:

— Скорей дай мне одеваться!

Зина пугливо подала ей капот.

— Дура, подай мне брильянты!... Мои брильянты — где, где они? их украли! а, украли? — сверкая глазами и сжимая кулаки, закричала Наталья Кирилловна и затопала ногами.

Зина уже с непритворным ужасом выбежала из спальни, сзывая людей. Весь дом сбежался, и каждый с трепетом отскакивал от дверей спальни, едва успев заглянуть туда.

Наталья Кирилловна, закутавшись в одеяло, с распущенными седыми волосами, в чепце, надетом задом наперед, в брильянтовых серьгах и колье, сидела у окна. Иногда она вставала, раскланивалась, как бы принимая гостей, и снова величаво садилась. Долго не знали, что делать. Наконец приживалки, сомкнувшись в каре, вошли в комнату под предводительством Зины, которая робко окликнула Наталью Кирилловну.

— А, это ты, Зина! вели скорее осветить комнаты; разве не видишь, что гости уж съехались?

И она, может быть в первый раз, с любезностию и вежливо поздоровалась с приживалками, просила их сесть, предлагала им вопросы касательно их детей, мужей,— так что приживалка с мутными глазами уже начала было своим сиплым голосом какую-то историю, соответственную вопросам, но свечи, внесенные в комнату, отняли у ней способность говорить, которою обладала она в такой великой степени.

— Свечей! больше огня! — кричала сердито Наталья Кирилловна.

И вот внесли несколько зажженных канделябр; но блеск их не мог сравниться с блеском сверкающих глаз Натальи Кирилловны.

— Где же невеста? невеста? — говорила старуха.— Зовите Павла Сергеича: я его благословлю... скорее!

Кинулись за Павлом Сергеичем. Он вбежал в спальню бледный, весь дрожа, и с ужасом отскочил от Натальи Кирилловны, которая, всплеснув руками, как бы желая его обнять, дико закричала:

— Где же твоя невеста?

И, шатаясь, она упала на пол.

Несмотря на скорые пособия докторов, паралич был сильный. Наталья Кирилловна лишилась употребления ноги, руки и языка. Павел Сергеич ходил как убитый; приживалки выли, приговаривая:

— Что с нами будет? куда мы денемся? О, наша голубушка, наша кормилица! зачем оставила ты столько сирот!

Зина тоже плакала, но при малейшем поводе едва могла сдерживать смех.

С рассветом дня, вместо радостей и поздравлений, в доме раздавались рыдания, крики отчаяния, происходила печальная суматоха.

Тавровский легко мог прекратить толки о бегстве невесты между приживалками, но прекратить их в городе было не в его власти. На другой день в Петербурге ни о чем более не говорили, как о бегстве его невесты с цыганом. Сплели такие истории, что Павел Сергеич не знал, куда деваться, где скрыть свой позор. Это был слишком сильный и страшный удар его самолюбию, которое привыкло к вечному потворству. Если б Люба думала о мщении, то и тогда ничего не могла бы придумать лучше этого неожиданного бегства накануне свадьбы, внушенного ей отчаянием. Тавровский пробовал уверять, что будто отвез Любу в Москву, чтоб она не была свидетельницей печального зрелища; но никто не верил ему даже из близких, благодаря Зине, которая встречному и поперечному пересказывала бегство Любы с надлежащими прибавлениями.

Действительно, в доме было печальное зрелище. Никто без тайного волнения не мог видеть теперь эту женщину, еще недавно столь гордую. Суровое лицо, бессмысленные глаза, а вместо высокомерных слов дикие звуки вроде мычанья — такова была теперь старуха! В ее спальне приживалки распоряжались, как у себя в комнатах: они очень скоро свыклись с мыслью, что Наталья Кирилловна не страшна им теперь, и всё свободно обнюхивали, шарили во всех уголках, а под вечер располагались у самой кровати, вокруг стола,— и Зина раскладывала карты, гадая, скоро ли будет в доме покойник и какая ждет ее перспектива?

— Ах, неожиданное и радостное письмо! — восклицала приживалка с мутными глазами.

— Что вы? что вы? какое письмо? Разве не видите — к несчастию? А вот хлопоты! — перебивала другая.

— Ну что же? чего удивляетесь! небось я не твердила вам всем, что будет страшная перемена в доме? а? что? не угадала? — радостно восклицала приживалка с мутными глазами. И потом, указывая своими огромными неуклюжими пальцами по картам, она продолжала: — Вот с дороги вести, дурные; у-у! хлопот-то по дому, хлопот! Огорчение в совершенстве всему дому! Значит, будет покойница! — всхлипывая, окончила приживалка с мутными глазами (она же и с зобом), забыв, что за минуту она радовалась, что ее предсказания на картах исполнились.

Остальные приживалки подтягивали ей хором, жалобно повторяя:

— Бедные, бедные мы! куда мы денемся?

И каждая читала надгробные панегирики, может быть, и не совсем потерявшей слух и сознание Наталье Кирилловне, которая отвечала им тоскливым мычанием.

Зина радостно слушала приживалок и, глядя на карты, посмеивалась. Она всех чаще и усерднее гадала, скоро ли будет покойник в доме; и наконец ей не нужно было более гадать.

Наталью Кирилловну, под великолепным балдахином, окруженную множеством лакеев с пестрыми лентами на плечах, с плачем приживалок в трауре и гостей, вывезли из дому.

Зина, в глубоком трауре, шла с Ольгой Петровной за гробом; они притворялись рыдающими, а между тем перебранивались между собой. Зина упрекала Ольгу Петровну в пропаже ключей от комодов покойницы, а Ольга Петровна упрекала Зину в пропаже ключей от шкапов с старинным серебром, платьями и мехами.

Глава LXVIII

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА

Ни дорога, ни возвращение в деревню, где родилась и выросла Люба,— ничто не облегчило тоскливого состояния несчастной невесты Тавровского. По возможности она скрывала от цыгана свое страдание, но он всё видел и готов был пожертвовать жизнью, лишь бы развлечь ее как-нибудь. Иногда он приходил в отчаяние и умолял Любу помириться с женихом.

— Я не могу видеть тебя в этой тоске,— говорил он.— Помирись с ним, если не хочешь, чтобы я упрекал себя каждую минуту, что расстроил твое счастье!

— Это как? — спрашивала удивленная Люба.

— Без меня ты многого не знала бы о нем и теперь была бы его женой.

— Тогда у меня отнято было бы последнее благо...

— Какое же?

— Я теперь могу располагать собой.

— Но на что тебе свобода?

— Погоди! дай пройти моей болезни... это не любовь: это болезнь какая-то во мне... и я сделаюсь прежней, веселой... и...

Но сомнение у ней самой выразилось в лице, и они оба замолчали.

Прошло довольно времени, и цыган с радостью стал замечать, что Люба с весной возобновила свои прежние прогулки. Она каталась по озеру, гуляла и по целым часам задумчиво сидела близ берега, на том самом скате, где сиживала с Тавровским. Это стало повторяться каждый день; задумчивость Любы усиливалась. Она как будто совестилась цыгана и стала кататься по озеру одна. Но часто цыган в беспокойстве, что ее долго нет, тихонько подсматривал за ней. Люба, думая, что никто не следит за ней, клала на колени медальон, склоняла голову и по целым часам смотрела на изображение Тавровского. Иногда она робко подносила медальон к губам своим, но тотчас же прятала его на грудь, как будто боясь, чтоб кто-нибудь не подсмотрел этого движения. Бывали минуты, когда она, глядя долго на портрет, что-то с жаром говорила ему, плакала, потом отбрасывала его с негодованием; но всегда кончалось тем, что медальон снова был в руках бедной девушки, и она глядела на него такими глазами, как будто просила у него прощения.

Раз Люба тихо плыла по озеру к обычному месту, припоминая точно такой же день, когда она, беззаботная и веселая, бегала по лесу с своей подругой. Этот день был слишком памятен ей: тогда в первый раз она увидела Тавровского. Подъехав к скату горы, Люба вышла на берег и села на привычное место... как вдруг в лесу раздался конский топот. Люба так привыкла к уединению, что сначала вздрогнула, но скоро успокоилась, подумав, что, верно, цыган едет к ней. Шорох заставил ее повернуть голову: она радостно вскрикнула и, вскочив, остановилась как окаменелая.

Тавровский стоял на высоте ската в эффектной позе; даже костюм на нем был точно такой же, как в тот памятный день.

Люба опомнилась, хотела бежать; но он с упреком сказал ей:

— К чему бежать? лучше я уйду! я не знал, что найду вас здесь... Я приехал еще раз увидеть мои любимые места, чтоб уехать потом далеко, далеко!

Люба не смела поднять глаз, но не двигалась с места.

Тавровский привязал лошадь к дереву и, подходя к Любе, сказал трогательным голосом:

— Могу ли я отдохнуть здесь и проститься с местом...

Люба взглянула на Тавровского и с плачем упала ему на грудь.

Счастлива была она, что не видала мрачной улыбки, мелькнувшей на лице Тавровского, когда губы его коснулись ее лба.

Люба долго не могла произнести ни слова: она, как безумная, то плакала, то радостно глядела на Тавровского.

— Ты забыла всё? да, да? ты простила мне всё? — спрашивал Тавровский, страстно глядя на Любу, которая с полной доверчивостью прятала свое лицо на его груди.

Много с той и другой стороны было высказано друг другу страданий, перенесенных во время разлуки.

Тавровский, между прочим, рассказал, как страшно было его положение, когда она бежала, намекнул о причине смерти его тетки, о слухах, которые ходили тогда по городу,— и роли изменились: Люба была виновной и умоляла о прощении, а Тавровский разыгрывал роль милующего.

— Я хочу знать одно, Люба: кто подал тебе совет сделать такую страшную вещь со мной? это он?

И лицо Тавровского изменилось. Он нетерпеливо ждал ответа.

— Нет! нет! я сама! Он даже еще недавно уговаривал меня помириться с тобой! — краснея своего поступка, отвечала Люба.

Тавровский посмотрел на нее с жалостью и тихо сказал:

— Я лучше желал бы, чтоб он был всему причиной!

Люба с жаром защищала цыгана, приписав злобное выражение лица Тавровского его подозрениям и давнему нерасположению к цыгану. В пылу счастья Люба не могла заметить разительной перемены в Тавровском. Постоянно презрительно-ядовитая улыбка мелькала на его губах, и слова его, манеры, взгляды не имели прежней открытой привлекательности.

Тавровский уговорил Любу не медлить свадьбой и обещался приехать к ней в дом вечером же, чтоб всё устроить.

Когда цыган встретился с Любой, ему не нужно было ни о чем спрашивать. Вся фигура девушки выражала столько блаженства, что он только мог сказать:

— Я этого ждал; дай бог, чтоб скорее всё кончилось!

Тавровский был любезен с цыганом. Он упросил его похлопотать, чтоб как можно скорее играть свадьбу, ко-

торую желал сделать как можно великолепнее. Люба хотела его отговаривать, но Тавровский сказал:

— Ты не хочешь войти в мое положение. Мое сватовство наделало столько шуму, столько времени я был пищей сплетен и болтовни, что надо же наконец всё разом исправить!

И, по его настоянию, сама Люба, как уже владетельница имения, пригласила всех соседей и соседок на свою свадьбу.

Наступил день свадьбы. Люба так была счастлива, что, глядя на нее, всякий бы позавидовал ей.

Гости съехались; дворня и крестьяне, в ожидании невесты и жениха, стояли уже у церкви. Люба торопилась одеться. Она надевала уже перчатки, когда ей принесли письмо. Она распечатала его — и смертная бледность покрыла лицо несчастной.

Письмо (от Тавровского) было следующего содержания:

«Я спешу вас уведомить, что я далеко, очень далеко теперь и уехал с тем, чтоб более никогда уже не видать вас. Да! я не ожидал быть так гнусно обманутым. Теперь мне всё ясно, почему вы так долго не решались выйти за меня и так были придирчивы к моим проступкам. Гости съехались, всё готово; советую вам скорее сделаться женой того, кто имеет право быть вашим мужем. Я же надеюсь, что поступаю, как следует порядочному человеку. Я не хочу мстить за обман. Живите счастливо».

Люба испугала окружавших ее диким выражением своего лица. Они кинулись к ней с пособиями, но она, вырвавшись из их рук, выбежала к гостям, хотела что-то сказать им, зарыдала и кинулась дальше, призывая цыгана. Они встретились в пустой комнате и долго с ужасом глядели друг на друга.

Люба подала ему письмо, но цыган, отклонив его, сказал:

— И я получил такое же!

— Значит, ты знаешь, в чем он обвиняет меня? — с негодованием воскликнула Люба.

— Я догнал бы его, и, если б он не захотел драться со мной, я задушил бы его; но я боюсь оставить тебя! — в отчаянии отвечал цыган.

Люба в своем свадебном наряде походила скорее на покойницу, чем на невесту.

— Что мне делать? куда бежать от стыда? — ломая себе руки, говорила она.

— Я пойду и объявлю им, что...

Цыган потерялся.

— Нет! я сама! — гордо сказала Люба.

— Ты не вынесешь этого! — удерживая ее, говорил цыган.

Но Люба твердым шагом пошла к двери и с трепетом остановилась у порога. Гости толпой стояли у дверей, и когда Люба приблизилась, они настежь распахнули обе половинки и прошли мимо несчастной невесты, насмешливо кланяясь ей и делая между собой замечания, из которых Люба поняла, что не она только знала о причине отъезда жениха: знали и все гости.

Оставшись одни, Люба и цыган с ужасом разбежались по своим комнатам.

Через несколько часов, когда утренний туман ревниво прикрывал еще озеро, посреди мертвой тишины слышался плеск весел. Потом он замолк. Наконец снова раздались два сильные удара; послышался плеск воды; пронесся над озером отчаянный, но слабый крик... И всё замерло...

Туман поднимался всё выше и выше над мрачным огромным озером; весеннее солнце медленно всходило, освещая гладкую и мертвую поверхность его, по которой одиноко носилась пустая лодка, как будто не решаясь пристать ни к которому берегу.

ЭПИЛОГ

I

В жизни некоторых людей есть эпоха, с наступлением которой они как будто ограждены от всех переворотов и случайностей. С той счастливой эпохи дни их начинают плестись однообразно и правильное течение их нарушается только изредка домашними незначительными происшествиями.

Точно так текла жизнь некоторых лиц нашего романа. День сменялся днем, месяцы месяцами, года годами, и наконец явилась к ним в свою очередь неумолимая старость. Красивое лицо Любской уже не было так привлекательно, как ни старалась она каждое утро придавать ему прежнюю свежесть, тщательно скрывая седину и морщины. Впрочем, надо отдать ей справедливость: долголетняя сценическая опытность много изощрила в ней способность поддерживать увядающую красоту. Для своих лет она казалась еще очень молода. Но ее талия не имела уже прежней стройности; тучность бросалась в глаза, несмотря на туго стянутый корсет. Любская оставила сцену вовремя, когда публика всё еще по старой памяти встречала ее аплодисманом, но другие актрисы, моложе и красивее, заняли в вечно любящих сердцах театралов место, прежде ей принадлежавшее. Она оставила сцену, но ее можно было видеть в театре, на гуляньях, в концертах,— в позе всегда очень эффектной; только в осанке, в движениях и взгляде оставившей свое поприще актрисы было уже чересчур много достоинства и величавости, так что торжественностью фигуры своей она невольно бросалась в глаза и повергала некоторых в недоумение. Ее сопровождал всюду почтенный, заслуженный человек с лысиной, лицо и манеры которого свидетельствовали о долгой службе в климате более жарком, чем петербургский. Он был довольно полон и любил дремать. То был супруг Люб-

ской. Вот каким образом произошло их соединение. С той поры как мы с ней расстались, еще лет пять жила она роскошно, окруженная поклонниками; но мало-помалу круг их стал уменьшаться,— бледнела и роскошь квартиры. Самолюбие Любской как актрисы также начало страдать: явились таланты и моложе, и лучше, которые с большим успехом заняли ее роли. Одним словом, Любская очутилась в самом неприятном моменте жизни сухой и самолюбивой женщины, когда она видит, что стареется. В это-то время, когда она однажды, лежа на диване, проходила роль, ей доложили, что какой-то полковник желает ее видеть, но не сказывает фамилии. Любская велела принять. Вошел пожилой мужчина с загорелым лицом, с белыми усами. Голубые его глаза были подернуты слезой, и он в волнении мял свою шапку. Одна нога его была короче другой, и крест георгиевский доказывал, что не простым случаем он лишился ее. Любская глядела на него покойно и даже улыбалась: она думала, что перед ней робкий сочинитель, плененный ее талантом и желающий поднесть ей для бенефиса свою драму.

— Вы меня не узнали? — трепещущим голосом спросил посетитель.

Любская тревожно впилась своими смелыми глазами в его лицо.

— Аня! — дрожащим голосом, нетерпеливо произнес он.

Любская пронзительно вскрикнула: «Петруша!» — и упала без чувств в его объятия.

Надо сказать, что Любская вовсе не узнала в почтенном посетителе того привлекательного Петрушу, о существовании которого она давно забыла. Но ее слезы, радость ее были так натуральны, что можно было ручаться, что она только за минуту до его появления думала о нем.

Петруша тоже горько заплакал,— и видеть такого почтенного человека в слезах было довольно умилительно,— и повторял радостно:

— Так ты не забыла меня? не забыла?

— Я? я забыла тебя?!.. о нет! мои чувства к тебе, несмотря на столько лет, на столько превратностей, всё те же... Нет, я не забыла. Отчего ты не писал ко мне?

— Я дал слово ему! а где он?

Любская сделала печальное лицо и торжественно сказала, подняв глаза к потолку:

— Он там! и умер на моих руках,— прибавила она.

— О, я узнаю тебя... Вот моя Аня, моя прежняя Аня! — в восторге воскликнул страстный служака, целуя руки Любской, которая спросила его:

— Ты где пропадал?

— Я... я сражался и сражался, был в плену у горцев несколько месяцев, умирал от страшной раны. Но бог спас меня! Ты не думай, Аня, чтоб я забыл о тебе: нет! я думал, и думал часто, о тебе. У меня был приятель,— убит он в одном деле,— мы были равно ранены. Я спасся. Вот он лучше бы тебе мог сказать, помнил ли я о тебе. Я был вчера в театре. И посуди, что было со мной... Сначала я не узнал тебя. Но что-то знакомое... глядел, глядел, стал расспрашивать у соседа (Любская при этом слове вздрогнула). Он ничего не знал. Да тут какой-то сзади стоял молодой человек, верно, актер,— он мне и скажи, как тебя зовут. У меня сердце застучало. Я еще узнал, что ты не имеешь никого родных, приезжая и из благородных,— вот они что рассказали. Ну, я целую ночь не спал, и вот теперь вижу свою Аню.

— А я... что могу я сказать? Ты сражался с дикими, а я защищалась против соблазнов общества, в которое кинули обстоятельства твою бедную Аню! О, сколько я выстрадала, сколько вынесла! Но, чтоб жить честно и не быть никому обязанной, я решилась сделаться актрисой.

— И как ты хорошо играешь!

— Нужда! одна нужда заставила меня пойти по такому поприщу! ты не знаешь, каково оно!

Петруша, проживший столько лет между солдатами и горцами, решительно походил на ребенка, чувствительного и романического; может быть, элемент мечтательности отца перешел к нему по наследству.

Любская описала страшную картину своей жизни и тех страданий, которые должна выносить по милости злословия, зависти и прочая... Одним словом, она искусно предупредила Петрушу не верить ничему, что бы он ни услыхал о ней.

Он, слушая ее, повторял:

— Господи! как ты страдала, сколько ты выстрадала!

Любская, впрочем, приняла строгие меры: она закрыла свои двери для всех, жила тихо, скромно, имела постоянно озабоченное лицо и всё твердила о трудности своих занятий. Утомленная, приезжала она после спектакля и часто плакала, что ее обидели за кулисами и за нее не-

кому заступиться. Петруша очень скоро предложил ей свою руку, сказав:

— Я беден; но у тебя будет хоть защитник. Я давно бы тебе предложил ту руку и сердце, которые давно принадлежат тебе, но боялся, нет ли у тебя чувства, которое могло бы...

— Нет! нет! я должна сознаться тебе, что никого не любила, но я встретилась с одним человеком, который обещал на мне жениться... Благодарение богу, что наша свадьба расстроилась! Вот моя исповедь.

Через несколько месяцев они обвенчались. Любская с гордостью окидывала своих прежних собраток и собратов, торжественно шествуя под руку с своим мужем. Она очень любила являться непременно с ним в публику, сделалась очень скупа в домашней жизни, запирала всё от мужа на ключ; хотя у ней у самой частенько являлись дорогие наряды, но она уверяла Петрушу, что они стоят только четверть настоящей цены. Петруша не мог не разочароваться несколько в Ане, но поэтизировал даже экономические наклонности своей супруги, направленные к тому, чтоб держать под ключом водку, к которой Петруша, впрочем, вовсе не был пристрастен; он только любил выпить перед завтраком и обедом, а пуще всего любил попотчевать гостя.

Любская всё и всех бранила и явно обижалась, когда при ней хвалили красоту той или другой женщины.

— То ли я была в ее лета! — завистливо говорила она.

Или, услышав похвалу игре какой-нибудь актрисы, она кричала:

— Это просто дрянь! вы бы посмотрели, какова я была в этой роли!

И, таким образом, наконец Петруша и Аня наслаждались счастием после стольких препятствий и переворотов в их жизни...

II

Жестокий поступок с Любой, которого ужасных последствий Тавровский не мог предвидеть, да он и не думал о последствиях, успокоил несколько прихотливую гордость жениха, брошенного, как говорили в городе, своей невестой. Возвратясь в Петербург, Тавровский снова предался своей прежней жизни и еще несколько лет прожил без оглядки, пусто — и невесело. Невесело потому, что

прошло уже для него время, когда шумная, праздная жизнь, отданная одной внешности, нравится и удовлетворяет благодаря избытку жизни в нас самих. Ему было уже под сорок лет, и пресыщение, давно сторожившее его, начало явно и гибельно обнаруживаться.

Около того времени до него случайно достигла весть о смерти Любы. Погибель невесты, не пережившей позора, которого он был причиною, поразила его сильнее, чем можно было ожидать. Он вспомнил детскую доверчивость, кротость и преданность бедной девушки, неразвитой и почти дикой, но которая так умела любить и прощать, и тогда только почувствовал всю бесчеловечную жестокость своего поступка. Любовь его к Любе проснулась с новою силою; он дошел до убеждения, что только одну ее любил и мог любить и что только она могла спасти его, наполнив страшную пустоту, которая подавляла его. И плодом его отчаяния, его хандры была поездка в имение Любы, которое он купил с целью провести остаток жизни у страшного озера, которое было могилою его невесты. И он действительно прожил там около трех месяцев, бродил около озера, по нескольку часов просиживал у ската горы, вспоминал свою первую встречу с Любой и счастливые часы, которые провел с ней. Но не такова была натура Тавровского, чтоб навсегда заключиться в тесном кругу прошедшего, отдавшись унылым воспоминаниям. В нем еще было довольно жизни, характер его требовал разнообразия и новых впечатлений,— и через три месяца он оставил имение Любы, подарив его своему родственнику. И когда он снова воротился в Петербург, то удивил даже людей, коротко его знавших, своими причудами и проказами, безумными издержками, чудовищным разгулом. Но уже не надолго стало ему силы, так долго и безрассудно расточаемой: энергия быстро падала, сменяясь апатией и желчной раздражительностью, которой не было ни видимой причины, ни исхода; изменяло и здоровье в свою очередь, красота блекла. И тяжело было ему видеть быструю утрату тех преимуществ, которые давали ему первенство в кругу, где он жил. В этом кругу стали появляться новые светила, на стороне которых была и молодость, и красота, и энергия, еще не растраченная, и богатство, которого только внешние признаки остались у Тавровского. Всего сильнее убивала его потеря красоты, которою он славился и которая доставила ему столько завидных успехов у женщин. По целым часам сидел он у своего портрета или

бюста, сделанных с него в цветущую пору молодости, и с горькой усмешкой сознавался, что он уже не тот. И дошел он до того, что стал красить свои усы и бакенбарды, а потом и волосы на голове, в которых начала уже пробиваться седина. Потом он стал румяниться и в странном ослеплении не замечал, что делается сказкой города. Когда, нарумянившись и подкрасив волосы, являлся он в публику, все невольно перешептывались, и самоуверенные манеры утонченного денди, которые прежде так шли к нему, теперь срывали невольную улыбку. Так жил он, возбуждая удивление одних, насмешку других, презрение третьих. Случайно или по расчету спустился он в круг, ступенью ниже того, к которому принадлежал, и в том новом кругу, как бывшее светило более блестящего круга, играл некоторое время первую роль: его носили чуть не на руках. Но и там нашлись люди, которые стали посматривать на него насмешливо и замечать ненатуральный блеск его щек. Он опять переменил общество, и так менял их часто, всегда стараясь окружать себя такими людьми, между которыми мог бы играть первую роль. Самолюбие некогда блестящего льва, возбуждавшего всеобщую зависть, не могло в нем угомониться, а внутренняя пустота отнимала всякую возможность обратиться к чему-нибудь другому, более приличному его летам и положению. Последний период его светской жизни прошел в провинции, где он еще довольно долго и не без успеха разыгрывал свою прежнюю роль. Но и там его раскусили. Потом его видели в деревне, где проводил он время в глубокой апатии. Всё так ему надоело, по его собственным словам, что он не сделал бы шагу, чтоб заслужить благосклонность первой красавицы в свете, не лег бы пятью минутами позже в постель, если б мог в течение их выиграть пять миллионов! Однажды, когда он сидел на крыльце с приятелем, случайно заехавшим к нему в деревню, приятель спросил его:

— Скажи, пожалуйста, кто та счастливая женщина, которая пользуется теперь твоим расположением?

— Вот она! — отвечал Тавровский, указывая на сгорбленную старуху в котах и повойнике, которая в то время переходила через двор.

И он не лгал.

Смерть его была так сообразна со всей его жизнью и в то же время так ужасна, что лучше умолчать о ней.

III

Зину постигла та же участь, как и Любскую: она постарела, вышла замуж, только не за человека хоть когда-нибудь любимого. После смерти Натальи Кирилловны Зина еще очень долго жила в доме в качестве неизвестно кого. Но Тавровский продал дом, и Зина съехала на квартиру. Переваленко-Зацепа усердно хлопотал при переезде, принес ей крендель на новую квартиру и сказал:

— Вот, матушка, вам хлеб-соль на новоселье. Ну вот, теперь зажили сами домком. Дай бог...

— Полноте, Афанасий Кузьмич,— отвечала Зина,— вы знаете, что я не могу долго жить на квартире: какие мои средства! Что за деньги оставила мне Наталья Кирилловна за все мои жертвы, заботы и слезы! Нет! я опять пойду в дом — мне предлагали уже — к одной очень почтенной вдове в компаньонки. Я уж, верно, и умру в чужом доме!

— Отчего же вы, матушка-сударыня, замуж нейдете? Известно, что честной девушке, да с таким добрым сердцем, как ваше, тяжеленько жить по чужим домам.

— Да! вы сами знаете, Афанасий Кузьмич, какова была моя жизнь.

— Как же-с, как же-с; я вот сам тоже-с до сих пор бьюсь как рыба об лед,— куда в какой нужде! А тружусь, как другие, еще и побольше; ни днем ни ночью покоя не знаю... да что толку! всё оттого, матушка-сударыня, Зиновья Михайловна, что правду-то больно мы с вами любим, честно ведем себя, добротой сердечной бог с излишком наградил нас. Чай, с голыми руками оставили дом-то Натальи Кирилловны?

— Помилуйте! я и так рада, что еще вырвалась... Ольга Петровна таких вещей наговорила обо мне...

— Ну вот и я тоже... Чем вознаградились наши добродетели! — заметил Переваленко.— Больно подумать!

Зина жалобно продолжала, тяжело вздохнув:

— Ну да бог с ними! я столько терпела от людей, что привыкла всё прощать им.

— Христианская обязанность, матушка! да-с! Я вот гляжу на вашу квартирку да себе и думаю,— извините простого человека,— и думаю себе, чего недостает вам в ней...

— Чего, Афанасий Кузьмич? — наивно спросила Зина.

— Да вещи видной, матушка.

— Н, полноте! ну где мне покупки делать? с моими ли средствами?

— Да вы можете не тратя денег приобрести...

— Да как же?.. И чего же недостает? — говорила Зина, оглядывая комнату и в то же время стараясь скрыть лукавую улыбку.

Переваленко-Зацепа отвечал не менее лукаво:

— Да недостает... муженька! да-с, муженька! и муженька солидного!

— Мужа?! — как бы удивленная, воскликнула Зина и с грустью прибавила: — Да кто захочет взять бедную девушку?

— Найдутся! отчего же? есть люди разумные: не смотрят на приданое, а смотрят на характер да доброту сердца. Да, например, вот я про себя скажу. Ведь я не стар, ну и не нищий, кое-что имею.

Зина засмеялась и сказала:

— Уж не вы ли хотите за меня свататься?

— А почему же и нет-с?

Зина молчала, потупив глаза.

Переваленко-Зацепа продолжал:

— Я человек простой, невзрачный, может быть,— да душа добрая, и уж как люблю правду! вот мои прегрешения. Деньги есть! Бог даст, прибавлю и еще. Не велика важность, что Павлу Сергеичу понаушничали, так раскудахтался и выгнал!

— Да и нечего жалеть: весь разорился! — заметила Зина.

— Найдем место! есть люди, которые любят честность да прямоту. А хоть и не найду, так сможем прожить, и без нужды, с семейством. А ну-ка, Зиновья Михайловна, вы девушка уж немолодая и...

Переваленко-Зацепа заикнулся: так смутил его взгляд Зины, которая сердито сказала:

— И небедная! Я могу себе найти жениха и через пять лет! С моими деньгами молодой возьмет, да еще из благородных.

— Ну-ну-ну... и раскудахтались. Я ведь так сказал, по глупой своей простоте. Ну что нам турусы на колесах плести! напрямик, матушка-сударыня, лучше. Сколько у вас денег?

— А у вас?

Теперь они стали хвастать друг перед другом своими богатствами, как недавно хвалились взаимною нищетою —

плодом добродетельного образа жизни. И оказалось, что добродетель их вознаградилась совсем не так плохо, как говорили они сначала.

— Я, Зиновья Михайловна, уважаю вас за прямоту,— сказал в заключение Переваленко-Зацепа.

— И я вас, Афанасий Кузьмич, за то же,— отвечала Зина.

И оба они лукаво улыбались.

— Ну что ж, матушка! — сказал изгнанный управляющий.— Угодно быть моей хозяюшкой — милости просим! не угодно — плакать не станем: найдем! ей-богу, найдем!

Зина, подумав несколько дней, согласилась вступить в брак с Зацепой, который, очевидно, горел нетерпением принять в свое распоряжение «крохи», вынесенные Зиной из дому Натальи Кирилловны, как выражалась Зина. Эти «крохи» состояли из весьма порядочной суммы денег, брильянтов, серебряных сервизов, белья, даже из хрупких вещей, как-то: хрусталя и фарфора. Но Переваленко жестоко ошибся в расчете: Зина, после долгого стеснения в доме Натальи Кирилловны, вырвавшись на свободу, походила на дикую лошадь, которая не терпит узды. Она не только не отдала своих «крох» мужу, но даже забрала его самого в руки, а с ним и «крохи», которые он успел скопить во время управления имением Тавровского. Зина оправдывала свои действия тем, что она же доставила ему случай собрать их, что было действительно справедливо, ибо место управляющего Зацепа получил у Тавровского через нее. С Зиной случилось странное превращение. Она во что бы то ни стало хотела разыграть в жизни роль Натальи Кирилловны, почему и набрала в квартиру свою приживалок; и если муж замечал ей о расходах, несообразных с их состоянием, она кричала:

— Я привыкла жить по-барски! я воспитывалась в барском доме!

И, вероятно вследствие своего барского воспитания, она целые дни проводила то в лакейской, то в девичьей, то в кухне, читая своей прислуге наставления вроде следующего:

— Я вас выучу, как отвечать барыне! я вас заставлю глядеть весело, а не хмуриться! Вас пой, корми, одевай, а вы чувствуете ли? а? Сапоги недавно вам купила, а чувствуете ли вы? С вами надо поступать иначе!

Зина часто служила сама у себя за столом, чтоб примером своим сообщить наемному слуге лоск барского ла-

кея. И странно было видеть ее, как она вела под руку своего лакея через залу, показывая ему, как он должен поддерживать ее при входе на лестницу. Она учила его, между прочим, прилично улыбаться, а также и своих горничных.

Она имела большой круг знакомых, которым без разбора придавала чин не менее генеральского,— даже кучеру своему приказывала отвечать, если спросят, чей экипаж: «Генеральши Переваленко-Зацепы». Она требовала, чтоб Афанасий Кузьмич поступил служить, и уже заранее грозилась, что будет жаловаться на него его начальнику; но если б Переваленко и удалось попасть в службу, то до генерала было бы ему очень, очень далеко. Нужно заметить, что Зацепа сначала принял было крутые меры к обузданию своевольства Зины, но она умела ловко защищаться своими острыми зубами и другими средствами. Раз она ранила себе руку и так громко кричала, прося помощи, что мог сбежаться весь дом. Такие средства защиты совершенно обезоруживали Переваленко-Зацепу, и он спешил обещаниями и ласками купить примирение. К тому же Зина была удивительно сведуща в делах и хранила несколько документов, найденных ею в тех счастливых процессах, о которых хлопотал Переваленко. Несчастный супруг сделался тише воды, ниже травы, и Зина делала что хотела...

Ольга Петровна часто навещала Зину и усердно льстила ей, что, впрочем, не мешало старой приживалке рассказывать знакомым и незнакомым разные домашние тайны Зины, как настоящие, так и прошедшие. Ольга Петровна жила в одном многочисленном и благородном, но бедном семействе, плату получала малую, вовсе несообразную с количеством раздора, который посеяла не только между членами семейства, но даже и между прислугой. Остальные приживалки Натальи Кирилловны разместились по разным углам Петербурга, обивая пороги у добрых людей, которые имеют привычку раздавать сколько-нибудь бедным...

Приживалка с мутными глазами (она же и с зобом) занимала угол в кухне какой-то мещанки, которой постоянно рассказывала о том, как ее все любят, как Зюзины приглашали ее на зиму погостить в Яковку, потому что надо было присмотреть за пустым домом, как она жила и была всеми любима в доме у Натальи Кирилловны, которая любила ее, как сестру, «и (заключала приживалка) если б не злые люди, то я теперь была бы в совершенстве

счастлива!» Она часто бегала к Зине, перешивала ей что-нибудь, гадала, льстила, хвалила всё, что у ней видела.

— Ах, Зиновья Михайловна! я как приду к вам, ну точь-в-точь как будто я опять у нашей благодетельницы в доме. Всё-то у вас по-барски, можно сказать, в совершенстве вы живете, как вельможа!

За такие панегирики приживалки Зина поила ее кофеем и очень редко дарила ей старые свои обноски, никуда не годные, так что приживалка с мутными глазами, встречаясь с Ольгой Петровной, жаловалась на неблагодарность Зины и рассказывала сокровенные тайны ее.

— И что он-то, дурак, не видит, что ли, что его добро-то по чужим рукам ходит! — говорила Ольга Петровна.

— Можно сказать, что просто жалости смотреть, как она сорит деньгами. Да вот что еще: вещи-то нашей Натальи Кирилловны все у Петра! Право, он теперь так нос поднял, что намеднись встретил меня — я ему низко поклонилась, а он, этакой холоп, отвернулся. Да со мной и не такие лица кланяются, а у Зюзиных генерал был, так целковый дал. А этот деревенщина! ведь я помню, как его привезли в нагольном тулупе,— с позволения сказать, насилу в бане его отмыли. А теперь нос воротит!

Трудно передать как силу гнева, так и лести приживалки с мутными глазами. Она также упражнялась в гадании, являлась в дома, знакомые ей еще через Наталью Кирилловну; поздравляла с большими праздниками, с именинами, принеся крендель и плачевно упомянув, что он куплен на последние деньги, и в каждом семействе непременно говорила, что у ней только они и есть одни благодетели, что она ими только и живет и, кабы не их доброта, она умерла бы с голоду.

Говоря о приживалках, должно сказать несколько слов об Остроухове. С приездом в Петербург он покончил свое сценическое поприще. Он постоянно собирался уехать из Петербурга, но каждый день вместо дальней дороги в NNN отправлялся в ближайший трактир, где, в облаках табачного дыма, при сильном кухонном запахе, с жаром декламировал стихи, даже целые сцены из своих ролей, уцелевшие в его памяти. Он превратился тоже в приживалку или приживальщика в своем роде, и приютом его был трактир. Посетители знали его, кормили, даже давали ему свои старые платья, и часто Остроухов посреди самых жестоких морозов являлся в трактир в летних брюках, светлом галстухе и в каком-нибудь летнем пальто, почему

и умолял буфетчика дать ему погреться. Он приходил в трактир рано утром и сидел в нем до тех пор, как гасили последнюю лампу. Если в трактире никого не было, он спал на диване и не обижался грубыми выходками лакеев, стараясь шутками и гримасами обезоруживать их гнев. Так шли годы. Остроухов, казалось, не замечал течения времени,— может быть, потому, что дни его текли слишком однообразно. Та же нищета, то же унижение и всё одна и та же неумолимая тоска. Когда случалось, что посетители слишком щедро угощали его за интересные рассказы о жизни кочующих актеров, он совершенно переносился в прошедшее и, по выходе из трактира, горячо размахивал руками, рассуждая сам с собой о Любской и Мечиславском. И, воображая себя в NNN, он искал своей квартиры, вследствие чего проводил ночь на улице или в будке.

IV

Бедная Люба была последнею жертвою страшного озера, которое суеверный народ окружил чудными рассказами и прозвал Мертвым. Нет уже опасных болот, которые делали недоступными его берега; огромный лес, которого часть превращена теперь в красивый парк, лишился своей мрачности; нет более и нелепых таинственных слухов о метрвецах, водяных и привидениях,— слухов, волновавших еще недавно воображение окрестных жителей. Озеро лишилось своей пугающей таинственности и только по преданию удержало свое мрачное название. Рыбак смело строит жилище поблизости его и спокойно закидывает сети в глубокие воды озера в твердой надежде хорошей добычи; охотник, преследуя дичь, без страха доходит до самой окраины его. Так же бесстрашно бродит он по лесу, стреляя зайцев и лосей. Окрестность переменила характер: нет уже той угрюмой безжизненности, которая прежде подавляла путника, случайно сюда заходившего. Всё кипит кругом постоянной и ровной деятельностью, и долгое пренебрежение, которое оказывал человек сокровищам, таившимся в глубине озера и леса, послужило ему же в пользу: нигде труд рыбака и охотника не вознаграждается так щедро, как здесь...

Кто же виновник такой перемены?

Приняв в свое владение деревню Любы, купленную Тавровским, Гриша передал ее в управление своему тестю.

И тут-то развернулись в полном блеске хозяйственные способности нашего старого друга. Он осушил болота около озера, окопал их канавами, нарушил неприступность леса, прорубив в нем широкие просеки и собственным примером показав, что в нем, как и во всяком другом лесу, можно охотиться, запасаться дровами, рубить строевые деревья, сбирать грибы. Часть леса, прилегавшую к господскому дому, управляющий искусно превратил в парк с извилистыми бесконечными дорожками.

Самый дом подвергся переделкам, с помощью которых лишился своего мрачного вида и приобрел удобства, необходимые в сельском быту. Большую часть его комнат занимал Гриша с своей молодой женой. Остальные отведены были управляющему. Уже одна наружность дома говорила, что в нем жилось весело. И действительно было так.

Только люди, долго терпевшие нужду и много выстрадавшие, могут оценить прелесть своего скромного, уединенного уголка, богатого красотами природы, спокойствием и независимостию.

Гриша много страдал, потратив лучшие годы в недобровольном бездействии и самой нелепой зависимости. Иван Софроныч имел в долгой жизни своей уж слишком много деятельности и потерпел много горя, часть которого досталась и Насте...

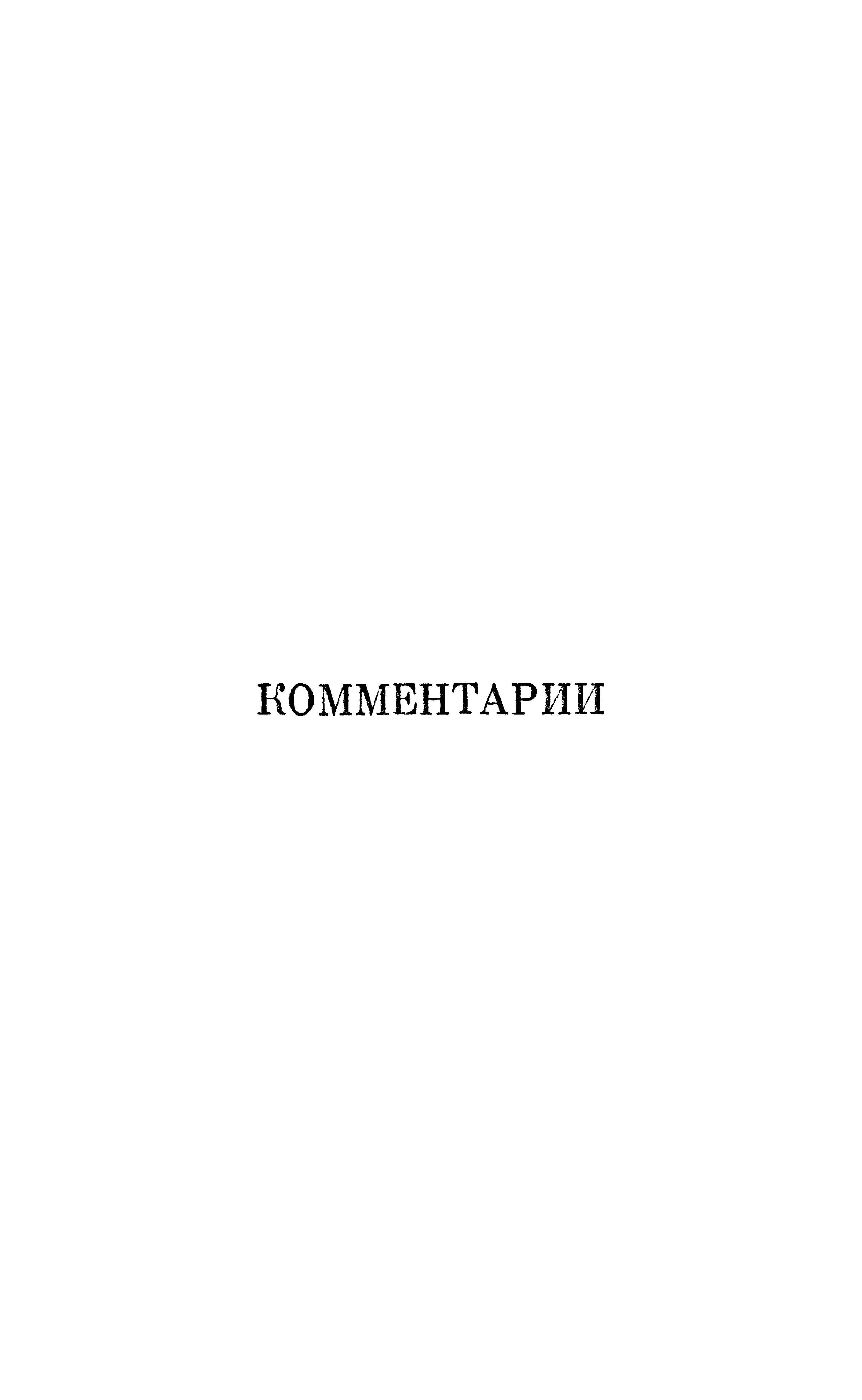
Понятно, что, очутившись наконец в независимом и обеспеченном положении, они дали друг другу слово никогда не расставаться, не гоняться за многим, довольствуясь тем, что есть, и жить постоянно в деревне. После различных своих приключений к городу, каков бы он ни был, они вообще не чувствовали большого расположения.

Решившись жить постоянно в деревне, они позаботились окружить свою жизнь всевозможными удобствами. И распоряжения их могут служить образцом уменья разнообразить сельскую жизнь, умно пользуясь всем, что представляет природа, климатические перемены и местные условия. Начиная с устройства и меблировки комнат до экипажей, в которых они делали свои прогулки,— всё было удивительно приспособлено к действительным потребностям; у них были не великолепные, но кроткие и красивые верховые лошади, лучшие принадлежности охоты, рыбной ловли; они прекрасно знали, что в какую пору года должно ловить, стрелять или собирать, и пользовались своим знанием, а не валялись в апатии целые дни по ди-

ванам, как делают некоторые господа, имеющие привычку переносить в деревню городские требования и удивляющиеся, что им в ней скучно. Но наши друзья, можно сказать положительно, и не думали скучать в деревне. И если кто попадал к ним и принимал участие в их развлечениях, тот невольно сознавался, что невозможно проводить время приятнее. К таким, между прочим, принадлежал Генрих Кнаббе, который иногда навещал их с своей женой. Женой Генриха была Саша — та самая, которой он когда-то помог поднять корзинку дров. Кстати должно сказать, что отец Саши, обиженный своими соучастниками, открыл мошенников, похитивших у Генриха деньги, и некоторая часть их была возвращена ему.

Генрих был главным приказчиком у Штукенберга и не без волнения подумывал о том счастливом времени, когда в Петербурге появится новое торговое заведение с вывеской: «Табачная и сигарная фабрика Генриха Кнаббе».

Да сбудется его скромное желание!



КОММЕНТАРИИ

Печатается по тексту первой публикации, с исправлением явных опечаток: с. 298, строка 18: «почтенные приживалки» вместо «почетные приживалки»; с. 323, строка 39: «с <кредиторами>» вместо «с должниками»; с. 427, строка 38: «огорчить ее» вместо «очернить ее».

Впервые опубликовано: С, 1851, № 1 (ценз. разр.— 31 дек. 1850 г.), с. 5—114; № 2 (ценз. разр.— 13 февр. 1851 г.), с. 141—247; № 3 (ценз. разр.— 28 февр. 1851 г.), с. 81—120; № 4 (ценз. разр.— 2 апр. 1851 г.), с. 143—202; № 5 (ценз. разр.— 30 апр. 1851 г.), с. 33—88; № 6 (ценз. разр.— 3 июня 1851 г.), с. 137—182; № 7 (ценз. разр.— 30 июня 1851 г.), с. 121—216; № 8 (ценз. разр.— 8 авг. 1851 г.), с. 217—322; № 9 (ценз. разр.— 31 авг. 1851 г.), с. 93—200; № 10 (ценз. разр.— 4 окт. 1851 г.), с. 201—248, с подзаголовком: «Роман» и подписями: «Н. Н. Станицкий и Н. А. Некрасов» (перепечатано отдельным изданием: *Станицкий Н.* и *Некрасов Н.* Мертвое озеро. Роман, т. I, ч. 1—5; т. II, ч. 6—10; т. III, ч. 11—15 (ценз. разр.— 6 нояб. 1851 г.). СПб., 1852).

В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. VIII.

Автограф не найден.

1

Замысел «Мертвого озера» может быть датирован лишь приблизительно — по объявлению в ноябрьской книжке «Современника» за 1848 г., в котором сообщалось о том, что, наряду с другими произведениями, в следующем году в журнале будет напечатан роман Н. Некрасова и Н. Станицкого «Озеро смерти» (см.: С, 1848, № 11, с. 7 особой пагинации; ПСС, т. XII, с. 128—129).

Месяцем ранее, в октябре 1848 г., в «Современнике» началась публикация романа «Три страны света», принадлежавшего тем же авторам. Объявляя о новом большом романе не менее, чем за полгода до его возможного появления в печати, авторы рассчитывали на повышенный читательский интерес к произведениям этого жанра.

В названном выше объявлении «Современника» было сказано, что «Озеро смерти» уже поступило в редакцию. Не исключается, что в последние месяцы 1848 г. было написано начало романа. «Боже мой, как легко стало,— вспоминает Панаева,— когда мы закончили „Три страны света“. Но Некрасов тотчас же уговорил меня писать новый роман „Мертвое озеро“» (Панаева, с. 176). Некрасов, по-видимому, предполагал печатать «Озеро смерти» с осени следующего года (январская—майская книжки журнала за 1849 г. были предназначены для «Трех стран света») и при этом хотел представить в цензуру законченный текст романа, как это было и с «Тремя странами света» (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 310). Для того чтобы завершить работу к лету, нужно было начать ее не позднее, чем в конце 1848 г.

В 1849 г., однако, работа едва ли была возобновлена. Издание «Современника» наталкивалось на все возраставшие трудности, отражавшиеся и на судьбе романа: «...журналы по некоторым причинам,— писал Некрасов Тургеневу 27 марта того же года, намекая на запреты цензуры,— стали скучны и пошлы до крайности». Может быть, по этой причине Некрасов стал меньше работать. Его образ жизни переменился. «Все люди дивятся перемене его»,— писала А. Я. Панаева М. Л. Огаревой 15 марта 1849 г., сообщая о том, что Некрасов редко бывает дома (Черняк, с. 368). Некрасов не видел обнадеживающих перспектив в издании «Современника» и предполагал приобрести «Литературную газету» или «Иллюстрацию» (см. письмо его к Н. М. Сатину от 8 апреля 1849 г.).

Угнетающе подействовал на Некрасова арест М. В. Петрашевского и членов его кружка в конце апреля 1849 г. Среди арестованных и близких к ним лиц многие были причастны к литературе. «Уныние и тревога царили в редакции,— вспоминает Панаева.— Как издатель „Современника“, так и его сотрудники опустили голову. Прежних оживленных споров и разговоров более не слышалось. Гости не собирались на обеды и ужины» (Панаева, с. 376).

В начале лета 1849 г. Некрасов уехал из Петербурга. Еще в апреле он знал, что ему предстоит поездка в Москву (см.: ПСС, т. X, с. 130). Началось «огаревское дело», в котором Некрасов — совместно с Панаевой — выступал на стороне М. Л. Огаревой, предъявившей иск своему мужу. В июле Некрасов находился в Москве, где вел переговоры с Т. Н. Грановским,[1] доверенным лицом Н. П. Огарева, и в том же месяце, как сообщает Панаева, «уехал в деревню к себе» (Черняк, с. 379), т. е. в одно из имений отца; в Петербург он возвратился не ранее, чем в конце лета.

Осень 1849 г. оказалась еще менее благоприятной для писания «Озера смерти». Запущенные дела по журналу потребовали от Некрасова срочной и напряженной работы, преимущественно редакторской, но иногда и авторской: рассказ «Психологическая задача» и рецензия на «Холостяка» Тургенева для ноябрьской книжки за 1849 г. и статья «Русские второстепенные поэты» для январской книжки за 1850 г.

В октябре редакция «Современника» стала жертвой придирки со стороны негласного Комитета 2 апреля (так называемого Бутурлинского), осуществлявшего надзор над цензурой. Председатель Комитета Н. Н. Анненков усмотрел в октябрьской книжке журнала колкий намек на деятельность Комитета. Намек был замечен в рецензии, где по поводу книги С. Н. Смарагдова «Руководство к средней истории для женских учебных заведений» (СПб., 1849) говорилось о распространившейся в настоящее время в России эпидемии «книгоненавидения» (С, 1849, № 10, отд. III, с. 87). Император утвердил заключение Комитета и приказал объявить издателю и редактору «Современника» предупреждение, что и было исполнено 1 ноября шефом жандармов графом А. Ф. Орловым.[2] Перед этим Некрасову и И. И. Панаеву за помещение этой же

---

[1] См.: Звенья, VI. М.—Л., 1936, с. 363.

[2] См.: *Лемке Мих.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908, с. 199—201. В анонимной записке, приложенной к делу, выражалось несогласие с замечанием Н. Н. Аннепко-

рецензии был объявлен выговор от товарища министра народного просвещения. Тогда же министр народного просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов получил из Комитета 2 апреля рекомендацию объявить выговор тем же лицам за публикацию в февральской книжке «Современника» за 1849 г. рецензии на книгу Е. С. Македонского «Очерк всеобщей истории для начинающих...» (СПб., 1848), содержавшей «похвалы таким идеям, которые, напротив, в понятиях чистой нравственности должны бы вызвать одно строгое порицание».[1]

Крайне суровый приговор петрашевцам, объявленный в конце декабря 1849 г., хотя и был смягчен императором, усугубил тяжелое впечатление, произведенное на руководителей «Современника» вызовом в III Отделение. «В квартире очень испуганного Некрасова» (Анненков, с. 520) особенно тщательно отбирались и обрабатывались материалы для январской книжки журнала.

О занятиях и самочувствии Некрасова в конце 1849—начале 1850 г. можно судить по его письму к Тургеневу от 9 января 1850 г.: «...1) Лихорадка <...> трясет меня каждый вечер вот уже с лишком месяц; 2) глазная боль, от которой только недавно избавился несколько; 3) невероятное, поистине обременительное и для крепкого человека, количество работы — честью Вас уверяю, что я, чтоб составить 1-ю книжку, прочел до 800 писаных листов разных статей, прочел 60-т корректурных листов (из них пошло в дело только 35-ть), два раза переделывал один роман (не мой), раз в рукописи и другой раз в наборе, переделывал еще несколько статей в корректурах, наконец, написал полсотни писем, был каждый день, кроме лихорадки, болен еще злостью, разлитием желчи

ва: указывалось, что рецензент «Современника» не погрешил против истины, говоря об упадке литературы, ибо, действительно, «уже лет 10-ть, как не появлялось ни отличных произведений, ни новых литературных талантов; кроме как на *Жуковского,* не на кого теперь указать из русских писателей. Подававшие надежду в начале своего поприща *Кукольник, Бенедиктов, Гоголь,* чем долее трудились, тем более теряли свои права на литературную знаменитость <...>. Даже от *Булгарина,* который ищет, нет ли чего преступного в каждой строке других журналов, не слышно замечаний на статью „Современника"» (там же, с. 200—201). Записка, по-видимому, не противоречила мнению шефа жандармов. В поэме «Недавнее время» (1871) Некрасов, рассказывая о вызове в III Отделение, так передал заключительные слова Орлова: «Только знайте: еще попадетесь, Я не в силах вас буду спасти» (наст. изд, т. III, с. 75, 340). Близкое к приведенному высказывание Орлова приводит в своих мемуарах Панаева: «Будьте осторожны, господа! Тогда я уже ничего не буду в состоянии сделать для вас...» (Панаева, с. 178). Мягкий тон выговора, однако, не означал того, что Некрасову нечего было опасаться. «Господин шеф жандармов,— писал 31 октября 1849 г. управляющий III Отделением граф Л. В. Дубельт,— имеет неблагоприятные сведения насчет образа мыслей редактора „Современника" господина Некрасова. Должно наблюдать за ним» (*Лемке Мих.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., с. 201).

[1] *Лемке Мих.* Очерки по истории русской цензуры. СПб., 1904, с. 247—248; *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» в 40—50-е годы. Л., 1934, с. 257—258; ГПБ, ф. 831, ед. хр. 3, л. 15 об.—18.

и проч. Кроме физических недугов, и состояние моего духа гнусно, к чему есть много причин <...>. Редко и со двора выходил...». Среди корректур январского номера едва ли было «Озеро смерти».

К середине января Некрасову стало легче. Его жизнь вошла в прежнюю колею (см. письмо Панаевой к М. Л. Огаревой от 24 февраля 1850 г.— Черняк, с. 489). Но к весне редакторская и авторская нагрузка Некрасова постепенно начала возрастать и вскоре вновь стала максимальной. К апрельской книжке Некрасов пишет рассказ «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и К⁰». С мая все тяготы по ведению «Современника» ложатся целиком на него, в связи с отъездом в деревню до сентября редактора журнала И. И. Панаева.

Планы и обстоятельства жизни Панаевой в 1849—1850 гг. также не оставляли достаточно времени для работы над «Озером смерти». В конце 1848 г., вместе с объявлением о предстоящей публикации в следующем году «Озера смерти», был анонсирован и роман Н. Н. Станицкого «Актриса». Трудно предположить, что Панаева могла работать одновременно над двумя большими произведениями. Первое полугодие 1849 г. преимущественно было посвящено, по-видимому, «Актрисе». Рассказ Панаевой «Жена часового мастера», опубликованный в «Современнике» в феврале 1849 г., скорее всего был написан в конце прошедшего года. К лету 1849 г. Панаева собиралась уехать в новгородскую деревню, в глухие места, где двоюродные братья ее мужа В. А. и И. А. Панаевы участвовали в постройке железной дороги (см.: Черняк, с. 368, 375). Поездка, однако, не состоялась: в июле Панаева тяжело заболела (там же, с. 379, 382, 383, 385, 392). Роман «Актриса» в печати не появился. Его заменили повесть «Пасека» (С, 1849, № 11), с обещанием продолжения, и рассказ «Необдуманный шаг» (С, 1850, № 1).

Для Панаевой участие в «Современнике», где за каждую печатную страницу платили до двух рублей серебром (см.: ПСС, т. X, с. 131), было существенным источником заработка. Но в наступившем 1850 г. ей пришлось на долгое время прекратить литературную деятельность: «...к несчастью,— писала она М. Л. Огаревой 24 февраля,— при моих малых средств я должна была оставить работу...» (Черняк, с. 490). Несостоявшееся материнство потребовало длительного отдыха и лечения. В мае 1850 г. Панаева уехала за границу и возвратилась лишь в сентябре.

Тем не менее в начале 1850 г. «Современник» вновь известил о предстоящей публикации «Озера смерти». В январской книжке, прошедшей через цензуру 31 декабря 1849 г., должны были появиться, но по недостатку места были перенесены на февраль (см.: С, 1850, № 1, обложка, с. 3) «Современные заметки», в которых под рубрикой «Литературные новости» сообщалось о том, что «авторы „Трех стран света“ написали уже несколько частей нового своего романа „Озеро смерти“» (С, 1850, № 2, отд. VI, с. 103). Однако уже 9 января, в объявлении об издании «Современника» на 1850 г., было пояснено, что печатание обещанного романа откладывается с тем, чтобы дать место новому произведению Евгении Тур (экземпляр объявления см.: ГБЛ, ф. 233, карт. 75, д. 24). В марте это извещение было повторено (МВ, 1850, 16 марта, № 32; сообщено Б. В. Мельгуновым).

Лишь к исходу 1850 г. авторы решаются сообщить, что «роман Н. Н. Станицкого и Н. А. Некрасова» (заглавие романа в объ-

явлении не названо) будет печататься в следующем году «с первой же книжки» (С, 1850, № 12, отд. VI, с. 267; ПСС, т. XII, с. 160).

Роман, появившийся в январской книжке под измененным заглавием «Мертвое озеро», печатался в 1851 г. без перерывов — по октябрьскую книжку включительно.

В конце января 1851 г. в письме к М. Л. Огаревой Панаева сообщала: «...больше сижу в своей комнате и работаю <...>. Некрасов работает, как обыкновенно. Ив. Ив. <Панаев> выезжает в большой свет. К князьям Юсуповым да графам» (Черняк, с. 509). На Некрасова, как и ранее, ложилась главная тяжесть работы по ведению «Современника».

В первом полугодии 1851 г., начиная с январской книжки, запоздавшей с выходом в свет из-за болезни Некрасова (см.: ПСС, т. X,. с. 164—165), сроки выхода очередных номеров журнала выдерживались с трудом (своевременно вышли лишь мартовская и майская книжки). Это сказалось и на ходе работы над «Мертвым озером».

В январской—февральской книжках журнала, куда вошли части первая—четвертая романа, текст помещался большими фрагментами, приблизительно по шесть с половиной печатных листов в каждой книжке. К началу печатания романа авторы, по-видимому, располагали каким-то готовым объемом текста. В дальнейшем «задел» был исчерпан, и нужно было при любых обстоятельствах ежемесячно создавать новый текст. В мартовскую—июньскую книжки журнала (части пятая—восьмая романа) текст поступал в меньшем объеме — в среднем по три печатных листа в каждой книжке.

Короткие промежутки времени для писания — между смежными журнальными книжками — были, однако, преодолимым препятствием, по крайней мере для одного из соавторов — Некрасова, владевшего навыками скорописания. Так, предлагая Григоровичу написать небольшую повесть для «Современника», Некрасов убеждал его, что работа займет не более, чем неделю (см.: ПСС, т. X, с. 169).

Стремительный график издания вынуждал печатать текст в первозданном виде, без повторного обращения к написанному. Торопливая небрежность в работе, принимавшей характер импровизации и исключавшей черновики, привела, например, к тому, что в главе XXVI части пятой, публиковавшейся в мартовской книжке, искусственно завершилась сюжетная линия учителя музыки Эдуарда Карлыча. В главе выведен слепой музыкант, нахлебник в актерской семье, оказывающийся неожиданно Эдуардом Карлычем. Выясняется, что Петруша, приемыш, переданный при загадочных обстоятельствах его ученице Настасье Андреевне (главы II и III части первой), был его сыном. Когда и на ком женился Эдуард Карлыч, в которого некогда была влюблена его ученица, разлученная с ним насильственно; почему он должен был расстаться с трехлетним Петрушей, сделавшимся любимцем Настасьи Андреевны; когда он ослеп и почему обнищал, не сообщается ни в главе XXVI, ни в последующем тексте романа.

В апреле 1851 г. цензура потребовала от авторов разъяснить заглавие романа (см.: Некр. сб., II, с. 447—449; подробнее об этом см. ниже, с. 255—256). Фрагменты из авторского «Объяснения заглавия романа „Мертвое озеро“» текстуально близки отрывкам главы XLII части восьмой, помещенной в июньской книжке и про-

шедшей цензуру в мае, и эпилога, прошедшего цензуру в сентябре и опубликованного в следующем месяце, но полного тождества между ними не наблюдается. Помещик Булатов («Объяснение заглавия...») именуется в романе Куратов (глава XLII). В эпилоге имение Любы достается Грише от Тавровского, а не от Натальи Кирилловны. Эти и ряд других перемен указывают на то, что текст «Объяснения заглавия...» не был цитатой из ранее подготовленных фрагментов романа, а, напротив, был вставлен в создававшийся текст и подвергся правке в процессе писания в мае.

Подготовив июньскую книжку, Некрасов позволил себе короткий отдых. Позже, объясняя в письме к Д. В. Григоровичу от 17 июля 1851 г. причину своего двухмесячного молчания, он писал: «...или был очень занят, или предавался бездействию (на даче первое время)...». Панаева, находившаяся на той же даче, в это время энергично трудилась, по-своему объясняя необходимость усердного писания в письме к Огаревой от 6 июня: «...работаю очень много,[1] потому что расходы на чистом воздухе увеличиваются, как и аппетит всех домашних» (Черняк, с. 516).

В июльской—сентябрьской книжках, где были помещены части девятая—четырнадцатая романа, текст снова печатался большими фрагментами, по шесть—семь печатных листов в каждой книжке.

В июне, когда подготавливался к печати большой фрагмент для июльской книжки, включавший части девятую и десятую, недостаток времени для писания снова привел к сюжетным зияниям. О Кате, отданной в театральную школу (главы XIII и XVIII части третьей), в главе XLIV неожиданно сообщалось, что она, прослужив некоторое время на сцене, умерла, оставив матери-прачке двух детей, прижитых вне брака. Неожиданным образом оборвалась и другая сюжетная линия: влюбленный в Аню Петруша, один из главных героев двух первых частей романа, в дальнейшем полностью выпал из повествования — до эпилога, где этот герой выступает в изменившемся до неузнаваемости виде и играет чисто служебную роль в завершении фабулы.

Некрасов мог бы печатать роман небольшими фрагментами. В этом случае публикация протянулась бы до конца года. И если с июльской книжки объем ежемесячных фрагментов удвоился, а параллельно печатались и другие беллетристические произведения, составлявшие определенный резерв, то это, по-видимому, указывало на стремление закончить роман печатанием к осени, к началу подписки на следующий год.

Одновременно с появлением в печати последней части романа и эпилога весь ранее вышедший текст был повторно направлен к цензору. Сопроводительная записка Некрасова, датированная 19 октября 1851 г., заключала в себе просьбу «возвратить поскорее» присланный текст с резолюцией о разрешении опубликовать его отдельным изданием (см.: ПСС, т. XII, с. 42). Однако печатавшийся в журнале под наблюдением А. Л. Крылова роман про-

---

[1] Это сообщение может относиться как к «Мертвому озеру», так и к другому роману. В объявлении об издании «Современника», датированном 3 августа 1851 г., среди произведений, уже имеющихся в редакции, назван «новый роман г. Станицкого» (возможно, «Мелочи жизни») (С, 1851, № 11, с. 4 особой пагинации; ПСС, т. XII, с. 162).

лежал у цензора более двух недель, до 6 ноября, а поступил в продажу, судя по объявлениям в газетах, лишь в начале следующего года (см.: СП, 1852, 9 янв., № 7).

Отдельное издание романа печаталось по журнальным матрицам, без исправления опечаток и механических дефектов набора.

Спрос на роман, поступивший в продажу вслед за вторым отдельным изданием «Трех стран света», был невелик. Последние объявления о продаже книги относятся к 1862 г. (см.: СП, 1862, 8 сент., № 242) (сообщено М. Г. Логиновой).

2

Цензурное вмешательство в текст романа не зарегистрировано.

Публикация «Мертвого озера» пришлась на двадцать пятую годовщину царствования императора Николая. По воспоминаниям П. В. Анненкова, в это время по отношению к печати «правительство <...> было умеренно; первый страх потрясения прошел и возобновлять опять истории осуждений en masse <повсеместно> не было ни у кого охоты, особенно не было этой охоты — надо отдать ему справедливость — у графа Орлова» (Анненков, с. 530).

Некоторое временное смягчение мер по надзору за прессой проявилось, в частности, в том, что председатель Комитета 2 апреля статс-секретарь М. А. Корф, сменивший на этом посту Н. Н. Анненкова, отклонил донесение о неблагонадежности Некрасова и Станицкого, авторов романа «Три страны света» (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 317). Резолюция Корфа относится к началу 1851 г., т. е. ко времени появления в печати первых частей «Мертвого озера».

Вопреки цензурным порядкам от Некрасова и Панаевой не потребовали проспекта публикуемого романа, как это было с «Тремя странами света» в 1848 г. (см.: ПСС, т. XII, с. 40—41). Цензор Крылов, очевидно, удовлетворился устными разъяснениями.

Дорожа благосклонностью цензора, наблюдавшего за «Современником» с мая 1848 г., Некрасов стремился расположить его в свою пользу, действуя на его личные слабости. Крылов был гостем на редакционных обедах по случаю выхода очередных номеров журнала. Один из таких обедов был дан в январе 1851 г., когда вышла в свет январская книжка, где были опубликованы и первые части «Мертвого озера»: «...будет почтеннейший Александр Лукич, коего мы так привыкли уважать»,— сообщал Некрасов В. П. Гаевскому 20 января, иронически намекая на истинную причину предупредительности к Крылову.

Авторам «Мертвого озера» лишь однажды, в апреле 1851 г., пришлось давать объяснения в С.-Петербургском цензурном комитете в связи с тем, что цензор Крылов не располагал проспектом романа. Причиной вмешательства Комитета явилось то обстоятельство, что роман после выхода его первых шести частей не отвечал своему заглавию (см. выше, с. 253). Ничто не указывает на то, что неизвестное продолжение романа, в сочетании с его заглавием, было источником политических опасений. С чьей инициативой было связано вмешательство Комитета, остается невыясненным. Но можно предположить, что в этом эпизоде отразился массовый интерес, возбужденный заглавием романа. По свидетельству Ап. Григорьева, относящемуся, как и «Объяснение загла-

вия...», к апрелю 1851 г., «многие из читателей романа с нетерпением ожидают появления его главного героя, т. е. самого Мертвого озера, и беспрестанно спрашивают, будет ли оно наконец» (М, 1851, № 7, с. 419).

Представленное в цензуру «Объяснение заглавия...» было формальным и не могло быть иным. Авторы описали мрачное озеро, у берегов которого погибали и люди, и скот, и предуведомили цензуру о том, что в эпилоге окрестности озера вследствие энергичной хозяйственной деятельности благонамеренных героев романа предстанут в преображенном виде.

Отсутствие замечаний о «Мертвом озере» в документах цензурного ведомства само по себе еще не означает, что текст романа остался нетронутым. Едва ли Крылов, употреблявший «весь ум на ослабление выражений писателя, называя это „кровопусканием от удара“» (Анненков, с. 522), обошелся без замечаний. Некрасов, по-видимому, «ослаблял» выражения, а может быть, делал купюры и вставки по пометам Крылова на корректурах, не доводя дела до Цензурного комитета.

3

«Верите ли,— писал Некрасов Тургеневу 15 сентября 1851 г.,— что на XI книжку у нас нет ни строки: ничего — ибо даже и „Мертвое озеро“ иссякло». В течение десяти месяцев «Мертвое озеро» обеспечивало журнал литературным материалом, отвечавшим требованиям цензуры. Вызванный к жизни критической ситуацией в издании «Современника», а соответственно и в жизненных обстоятельствах авторов, для которых издание журнала было средством существования, роман представлял собой в творческом отношении вынужденную дань моменту.

Начиная с 1848 г., после ужесточения надзора над прессой, отдел беллетристики в «Современнике» по сравнению с другими отделами испытывал наибольшие затруднения. В конце 1851 г. руководители журнала писали: «Читатели заметили, что в течение <...> пяти лет журнал не был постоянно одинаков, изменяясь иногда к лучшему, иногда, по отделу словесности, к худшему,— и, вероятно, также заметили, что причины подобных перемен находились всегда в связи с самою литературою: известно, что интерес наших лучших журналов, в которых принимают участие наши таланты, зависит столько же от усилий редакции, сколько (если еще не более) от состояния литературы и степени производительности (количественной и качественной) ее деятелей в данное время» (С, 1851, № 12, с. 2 особой пагинации; ПСС, т. XII, с. 161).

Романы Некрасова и Панаевой, публиковавшиеся на страницах журнала с 1848 по 1851 г. и представлявшие собой результат непосредственных «усилий редакции», дают представление о «состоянии литературы и степени производительности (количественной и качественной) ее деятелей» в эпоху безвременья.

Несмотря на то что роман был создан во многом по внешней необходимости, его проблематика не имела принципиально приспособительного характера и в главном не расходилась с программой журнала.

«Мертвое озеро» — социальный роман, написанный под заметным влиянием идей утопического социализма.

«Биографические истории», образующие корпус романа,[1] обнаженно тенденциозны. В них осуждается общественное неравенство и проповедуется трудовая мораль.

Тема общественного неравенства соединяет между собой сюжетные линии главных героев — актрисы Любской, графа Тавровского, «дикарки» Любы, отставного прапорщика, родом из крепостных, Ивана Софроныча Понизовкина, а также героев второго плана — тетки Тавровского Натальи Кирилловны, ее племянника Гриши, ее же воспитанницы Зины, фабриканта Августа Штукенберга и его приказчика Генриха Кнаббе.

Герои романа подразделяются на знатных и безродных, богатых и бедных, праздных и тружеников. Картинами жизни и исходом событий читатели приводятся к заключению, что привилегии знатности и богатства действуют разлагающе на их обладателей и приносят несчастья окружающим.

В проблематике «Мертвого озера» выделяется «женский вопрос» (см.: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 157—158), освещаемый в тесной связи с темой общественного неравенства. История Любской насыщена эпизодами, рисующими тяжелые испытания, с которыми сталкивается одинокая девушка, не защищенная от посягательств на ее красоту и честь. Нравственному падению Любской предшествует ее вынужденное знакомство с профессиями актрисы и гувернантки, требующими образования и таланта и вместе с тем обрекающими на зависимость от нанимателей и меценатов.

Круг проблем, освещаемых в «Мертвом озере», включает в себя и социально-экономические вопросы.

В эпизодах из жизни Кирсанова, в прошлом храброго офицера, а затем помещика-домоседа, затрагивается актуальный вопрос о мелкопоместном дворянском хозяйстве. Хлопотливая деятельность Кирсанова сводится к бесполезным дешевым покупкам и ненужным постройкам и перестройкам. Патриархальное крепостное хозяйство, исконно русский помещичий быт, неотделимый от крестьянского быта, изображаются с несомненной иронией, хотя и с сочувствием к персонажу, человеку добросердечному.

С описанием жизни Кирсанова соотносится история Августа Штукенберга, петербургского фабриканта. Антипод Кирсанова, преуспевающий капиталист, Штукенберг достиг благосостояния расчетливой деятельностью. Его фабрика устроена образцово: в цехах светло, в жилых помещениях чисто, рабочие сыты, здоровы и грамотны. Но этот «фаланстер»,[2] где все подчиняется производственным интересам, угнетающе действует на рабочих, крепостных крестьян на оброке. Размеренное устройство фабричного быта, поддерживаемое с помощью «унтера», напоминает военное поселение.

Противопоставленные по социальному признаку, герои романа в то же время наделены общей способностью к лучшим движениям души. Мысль о прирожденной доброте человека и заложенных в нем талантах формирует личностные характеристики почти всех персонажей — в особенности Тавровского, развращенность которого одерживает трудную победу над благородством.

---

[1] См.: *Пыпин А. Н.* Некрасов. СПб., 1905, с. 210.

[2] См.: *Каминский В. И.* Из наблюдений над прозой Некрасова (о романе «Мертвое озеро»).— В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература второй половины XIX—начала XX веков. Ярославль, 1982, с. 30.

Принципиально значим в романе образ Ивана Софроныча Понизовкина — героя, в котором нашел выражение авторский взгляд на народный характер, взятый в его основополагающих свойствах. В Иване Софроныче соединились храбрый солдат и умелый хозяин, преданный друг и заботливый семьянин. Он тверд в упованиях на высшее благо, добр к ближним, скромен в потребностях, безупречно честен и бескорыстен в делах. В обрисовке этого персонажа прозвучал «славянофильский» мотив, сформулированный руководителями «Современника» в программе журнала в 1848 г. (см.: ПСС, т. XII, с. 121) и развитый в том же году в «Трех странах света», в характеристике Антипа Хребтова (подробнее см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 318—319).

Авторский идеал, другой его гранью, воплотился в образе Любы. Дочь цыганки, выросшая у берегов Мертвого озера, на лоне природы, в окружении себе подобных, Люба не испытала растлевающего воздействия сословного общества и осталась наивной «дикаркой», сохранившей прирожденную чистоту морального чувства. Этим «сценарием», проступающим и в развитии действия, и в прямом авторском комментарии, обусловлена и трагическая развязка: не выдержав вероломства Тавровского, Люба бросается в Мертвое озеро.

Еще один нравственно-философский вопрос, ставший предметом авторского внимания,— вопрос о личном счастье. «Мертвое озеро», как и «Три страны света», можно назвать романом о бессемейных. Почти все герои романа теряют родителей и живут вне семьи: Аня и Петя, взятые в дом Федора Андреича, Тавровский и Гриша, воспитывавшиеся у тетки, Люба, внебрачная дочь помещика, дочь Ивана Софроныча Настя, отданная на воспитание Наталье Кирилловне, сироты Генрих Кнаббе и Саша Отрыгина, живущие в семье Августа Штукенберга. Одиноко заканчивает свой век Тавровский. Поздно и по расчету выходит замуж Любская и, подобно Наталье Кирилловне, а также и Зине, не имеет детей. Картины сиротства и распада семьи приобретают в романе обобщающий смысл и воспринимаются как симптом глубокого общественного недуга, делающего невозможным личное счастье.

В эпилоге романа изображается идиллический семейный союз, представляемый как прообраз гармонии общественных отношений. Иван Софроныч с дочерью Настей, вышедшей замуж за Гришу, переселяется из чуждой ему столицы в усадьбу на берегу Мертвого озера и преобразует его окрестности, доселе отпугивавшие местных жителей, ко благу собственного семейства и к пользе своих соседей-крестьян. Деятельный союз просвещенного дворянина с вольным тружеником деревни символизирует соотнесенный с русской действительностью идеал утопического социализма — слияние сословий в совместном труде по освоению богатств природы.

4

Действие в «Мертвом озере» происходит во второй половине 1820—конце 1840-х гг.[1] Но авторы не руководствовались стремлением изобразить недавнее прошлое с соблюдением исторической точности. Роман соотносится непосредственно с современностью,

[1] Начало действия определяется по рассказу о прошлом Кирсанова. Кирсанов был ранен во время кампании 1806—1807 гг. и умер спустя двадцать с небольшим лет, т. е. в конце 1820-х гг.

и даже то, что написано по воспоминаниям, выступает в нем как явление современности.

Автобиографическое начало в романе выражено сравнительно слабо. По сравнению с «Тремя странами света» в «Мертвом озере» мало авторских отступлений. Лирический неперсонифицированный герой, скрыто определяющий подбор персонажей и придающий единство повествованию, почти не заметен в романе.

Текст романа вобрал и сохранил в узнаваемом виде некоторые существенные приметы быта и нравов своего времени, дающие материал для сравнения вымышленного рассказа с жизненными реалиями.

«Мертвое озеро» — один из первых в России театральных романов. Несмотря на то что театр назван в романе провинциальным, авторы прежде всего имеют в виду столичную сцену — Александринский театр.

Роман изобилует намеками на актеров и на порядки столичной сцены. Мать Панаевой А. М. Брянская, вероятно, узнала себя в образе Орлеанской. Большое семейство, претензии на молодость и красоту, деспотическое обращение с родственниками, роли важных особ, которые исполняют жена и муж Орлеанские — премьеры труппы (глава XV части третьей) — все это факты ее биографии (см.: Панаева, с. 26; ср. также автобиографическую повесть Панаевой «Семейство Тальниковых» (1848)). Созвучие фамилий (Орлеанская — Брянская) усиливает намек, хотя Орлеанский — невымышленная фамилия: под этой фамилией выступал актер и руководитель (в 1837—1840 гг.) ярославской труппы.[1]

или в самом начале 1830-х гг. (главы XXX и XXXI части шестой). После этого проживавший с ним Иван Софроныч переселяется в Петербург вместе с тринадцатилетней дочерью Настей. Из дома Натальи Кирилловны Настя уходит в возрасте восемнадцати лет (глава XXXV части седьмой), т. е. приблизительно в середине 1830-х гг. Через год или два приезжает из-за границы Тавровский (глава XXXVI той же части). Еще через год он отправляется в деревню, где встречает Любу (главы XXXVII части седьмой и XXXVIII части восьмой), а через два года Люба, оставленная Тавровским, кончает с собой (глава LXVIII части пятнадцатой). События эпилога охватывают период приблизительно в десять лет. Действие, таким образом, завершается в конце 1840-х гг.

[1] См.: *Майков Ф.* Ярославский театр.— Пантеон русского и всех европейских театров, 1840, № 7, с. 197—198; *Коренной ярославец.* Письмо в редакцию.— Репертуар русского театра на 1841 год, кн. II, отд. «Хроника современных театров», с. 85. Автор последней статьи утверждает, приводя неотразимые доказательства, что статья, подписанная: «Ф. Майков», основывается на полустершихся впечатлениях сезона 1836/37 гг. и что подпись под нею — псевдоним позднейшего происхождения. Не исключается, что псевдоним «Ф. Майков» принадлежал Некрасову, ставшему в 1840 г. постоянным сотрудником «Пантеона русского и всех европейских театров». На это указывает не только анахронизм в характеристике ярославской труппы, налагающийся на дату отъезда Некрасова из Ярославля (июль 1838 г.), но и наличие фамилии Орлеанский как в антропонимике «Мертвого озера», так и в рассматриваемой статье.

В театральной среде, близкой к александринской сцене, по-видимому, догадывались, что в образе сочинителя пьес, предназначавшихся для бенефисов, выведен покойный К. А. Бахтурин (умер в 1841 г.) (глава XIV части третьей). На это намекали и наружность героя («небольшого роста господин с опухшим лицом»; ср.: «небольшого роста, с одутловатым лицом» — Панаева, с. 61), и трескучий патриотизм его драмы, и такая биографическая подробность, как добровольный домашний арест: сочинителя запирали в комнате, лишали сапог, давали перо, бумагу и водку, кормили и не выпускали из дома до тех пор, пока не была закончена пьеса (ср. там же).

Черты некоторых актеров александринской труппы могут быть отмечены в характере Мечиславского. Канвой для сюжетной линии Мечиславского, вероятно, послужила история актера, дебютировавшего на столичной сцене под псевдонимом «Мстиславский» или «Ростиславский» (см.: там же, с. 29—30; ПСС, т. VIII, с. 758): сын купца, поступивший на сцену и оставленный без содержания отцом, он пользовался на первых порах успехом, особенно у купчиков-театралов, которые спаивали его, и вскоре умер. Рассказ, составленный по этой канве, соотносится также с некоторыми особенностями личности и биографии А. Е. Мартынова. Мечиславского принуждают играть больным (глава XXII части четвертой). Именно так поступали, по словам Панаевой, с Мартыновым (см.: Панаева, с. 49). Мечиславский был неспособен обхаживать театралов (глава XV части третьей). Это черта того же Мартынова (см.: Панаева, с. 48). Сходство распространяется и на наружность: доброе выражение глаз, светлые волосы (глава XIV той же части). Еще один штрих в характеристике Мечиславского — он не считал для себя возможной выгодную женитьбу на богатой актрисе (та же глава). Среди актеров александринской сцены было распространено убеждение, будто А. М. Максимов и В. В. Самойлов были женаты на бывших любовницах императора Николая, Н. С. Аполлонской и С. И. Драшне (см.: Панаева, с. 39—40).[1]

При описании бутафорской — тесной комнатки, переполненной мебелью,— мимоходом замечено, что она одновременно служила и арестантской (глава XV части третьей). Об этом же пишет Панаева, вспоминая о порядках в Александринском театре (см.: Панаева, с. 60).

Молодые актрисы в романе говорят на особом жаргоне: «Да, счастливые!», «Да, несчастная!», «Ай, девицы... ай, урод!» (глава XV части третьей), «Да, страсти!» (глава XXII части четвертой). На этом жаргоне изъяснялись, как вспоминает Панаева, в петербургском Театральном училище, воспитанницы которого поступали на подмостки Александринской сцены (ср.: «Да, страсти, девицы!», «Да, девицы, счастливая!», «Да, девицы, несчастная!», «Да, девицы, черт противный!» — Панаева, с. 57).

Соперничество между Любской и Ноготковой также принадлежит к эпизодам, в которых запечатлелись лица и нравы александринской труппы. Ноготкова требует снять пьесы, в которых ее соперница вызывает аплодисменты (главы XIV части третьей и XX части четвертой). Если верить воспоминаниям Панаевой, имен-

---

[1] Это убеждение не было, однако, всеобщим. См., например, замечание А. И. Шуберт (урожденной Куликовой) о приведенных воспоминаниях Панаевой: *Шуберт А. И.* Моя жизнь. Л., 1929, с. 58.

но так поступил В. А. Каратыгин по отношению к Мстиславскому (см.: Панаева, с. 30). По наущению Ноготковой, бутафор подставляет Любской испорченную скамейку (глава XIV части третьей). Нечто подобное произошло — или считалось, что произошло,— между А. М. Каратыгиной и Брянской (см.: Панаева, с. 26). Любской не выдавали новых костюмов (главы XIV и XVI той же части). Так же поступали с В. В. Самойловой (см.: Панаева, с. 44). Расставшись со сценой, Любская часто бывала в театре, где привлекала внимание публики величавостью взглядов и поз, усвоенных ею в ролях ее обычного амплуа. Она обеспечена, но очень скупа в домашних расходах. Это штрихи биографии Каратыгиной, оставившей сцену в 1844 г. (молва приписывала супругам Каратыгиным скупость; см., например, карикатуру Н. А. Степанова на тему: «Гамлет, покупающий дрова», которая должна была появиться в «Иллюстрированном альманахе», обещанном подписчикам «Современника» в 1848 г.).

Соединение вымысла и реальности в театральных главах романа исключало полное сходство и создавало типическую картину, но отдельные невымышленные подробности вызывали эффект узнавания в узком кругу посвященных лиц и были рассчитаны на этот эффект.

Ряд эпизодов из жизни Тавровского, в числе которых были и театральные, также отчасти заимствован из действительности. По свидетельству Ап. Григорьева (см. ниже, с. 278), в этом герое можно узнать нескольких лиц, известных по анекдотам.

Не все анекдотические истории, включенные в рассказ о Тавровском, поддаются комментарию. К их числу относится эпизод, в котором Тавровский, путешествуя по Италии, попадает в провинциальный театр и допевает арию за актера, потерявшего голос (глава XXXVII части седьмой). Аналогичный действительный случай не выявлен, но сходные факты — увлечение итальянской оперой, обучение пению за границей, популярность певцов-дилетантов в 1830—1840-е гг.— делают его вполне вероятным (ср. ниже, с. 289).

Другой эпизод, основанный на предании, отчетливо соотносится с определенными лицами. Тавровский узнает себя в роли, исполненной популярным комиком, и в знак уважения к его таланту дарит ему дорогие запонки (та же глава). Нечто подобное произошло, по воспоминаниям Н. И. Куликова, в Москве в начале 1830-х гг. с графом Н. А. Самойловым, красавцем, франтом и игроком. По желанию императора Николая, раздраженного щегольской наружностью графа, одетого по последней парижской моде, любимец московской публики В. И. Живокини изобразил Самойлова в комедии-водевиле Э. Скриба «Первая любовь», добавив к тексту реплику от себя — о картах. Граф пригласил к себе Живокини и подарил ему запонки — под тем предлогом, что их не хватает для полноты сходства.[1]

---

[1] См.: *Куликов Н. И.* Театральные воспоминания.— Искусство, 1883, № 22, с. 253—254. Воспоминания Куликова подтверждаются свидетельством самого Живокини (см.: Театральные афиши и антракт, 1864, 12 марта; перепечатано: Б-ка театра и искусства, 1914, кн. 2, с. 23). Николай мог видеть водевиль в Москве 2 октября 1830 г. (см.: История русского театра, т. 3, с. 292). Случай с Н. А. Самойловым не единственный в закулисных распоряжениях Николая,

Многое перешло в историю Тавровского из рассказов о П. В. Нащокине. Его личность, похождения и наблюдения отразились в литературе — в произведениях Пушкина,[1] Гоголя,[2] а также в водевиле Н. И. Куликова «Цыганка» (сезон 1849/50 гг.).[3] Кумир аристократической молодежи 1820-х гг., игрок, донжуан, Нащокин был в то же время отзывчив, умен, талантлив и широко образован.[4] Эти черты свойственны и Тавровскому.

Павел Тавровский напоминает Павла Нащокина еще и тем, что предметы его увлечений были те же: актриса, цыганка. Известен роман Нащокина с актрисой А. Е. Асенковой (матерью знаменитой актрисы).[5] Другое его увлечение — дочь цыганской певицы Стеши, Оля (Ольга Андреевна), на которой он чуть не женился.[6] Сходство есть и в частной детали: Тавровский держал у себя эфиопа, Нащокин — карлу-«головастика».[7]

Эпизоды, изображающие приезд комедиантов в имение Тавровского (глава XLV части девятой), в некоторых деталях перекликаются с воспоминаниями Н. И. Куликова и его сестры П. И. Орловой о гастролях на даче Ф. Ф. Кокошкина в Бедрине

Известны его предложения Мартынову и П. Г. Григорьеву имитировать разных лиц (см.: Вольф, ч. I, с. 121; *Алексеев А. А.* Воспоминания актера. М., 1894, с. 41). Подобный обычай был вообще распространен среди артистов столичных театров. Так, в комических сценах Гоголя «Игроки» (сезон 1843/44 гг.) В. В. Самойлов воспроизвел речь и манеры одного петербургского игрока (см.: Вольф, ч. I, с. 104; История русского театра, т. 3, с. 260; т. 4, с. 333); он же в водевиле П. И. Григорьева «Складчина на ложу в итальянские оперы» (тот же сезон) загримировался под известного меломана (см.: Вольф, ч. I, с. 105; История русского театра, т. 3, с. 312; т. 4, с. 391). В водевиле П. А. Каратыгина «Ложа первого яруса на последний дебют Тальони» (сезон 1837/38 гг.) актеры того же театра Милославский (сценический псевдоним Н. К. Фридебурга), Н. П. Беккер и В. В. Годунов представили Поливанова, А. Л. Элькана и еще одного театрала; автор пьесы получил от императора ценный подарок (см.: Вольф, ч. I, с. 68—69; История русского театра, т. 3, с. 269; т. 4, с. 344). В. В. Пруссаков в водевиле Вельяшева и Рунича «Театралы» (сезон 1848/49 гг.) изобразил графа С. П. Потемкина (см.: Вольф, ч. I, с. 132; История русского театра, т. 4, с. 401).

[1] См.: *Анненков П. В.* Литературные проекты А. С. Пушкина.— ВЕ, 1881, кн. 7, с. 41.

[2] См.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч., т. 7. [М.—Л.], 1951, с. 431; т. 12. [М.—Л.], 1952, с. 72—78.

[3] См.: *Куликов Н. И.* Пушкин и П. В. Нащокин.— РС, 1880, с. 993; История русского театра, т. 4, с. 441.

[4] См.: *Гершензон М.* Друг Пушкина Нащокин.— В кн.: *Гершензон М.* Образы прошлого. М., 1912, с. 51—70; *Раевский Николай.* Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин.— В кн.: *Раевский Николай.* Избранное в 2-х т., т. 2. Алма-Ата, 1984, с. 30, 34, 35.

[5] См.: *Т-н В.* <*Толбин В. В.*>. Московские оригиналы былых времен (заметки старожила). Павел Воинович.— Искра, 1866, № 47, с. 625.

[6] См.: *Куликов Н. И.* Пушкин и П. В. Нащокин, с. 991.

[7] См. там же, с. 990.

в 1820-х гг.[1] В романе на представление, происходящее на берегу озера, сходится вся деревня. Всех угощают. После встречи с Куратовым Остроухов патетически цитирует трагедию В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (1804). Ср. в воспоминаниях Н. И. Куликова: спектакль — трагедия из античной жизни — в усадьбе на берегу озера, затем крестьянские хороводы и угощение зрителей и участников. Есть еще один сходный момент: табор возле усадьбы («Мертвое озеро»), хор цыган, приглашенных на праздник (см. воспоминания П. И. Орловой и Н. И. Куликова). Примечательно, что в представлении выступают артисты цирка, в том числе и наездницы. Эта подробность восходит к реалиям петербургской культурной жизни: в 1849 г. в столице открылся театр-цирк для конных и драматических представлений и по Петербургу прокатилась волна всеобщего увлечения цирком, в особенности искусством наездниц.

Комментарием к главам романа, изображающим тетку Тавровского, Наталью Кирилловну, могут служить воспоминания и автобиографические рассказы «Прошедшее и настоящее» (1856), «Ночь на рождество» (1858), «Наяву и во сне» (1859) И. И. Панаева, где описывается старинный дом, наполненный приживалками, среди которых особа с мутными глазами; здесь же властная и капризная барыня, восседающая в столовой с палкой, украшенной дорогим набалдашником; обожаемый внук и третируемый племянник; старшая горничная, перед которой заискивает прислуга.[2] Эти лица и обстановка — картины детства И. И. Панаева — перешли на страницы романа, хотя и в несколько измененном виде (глава XXXIII части седьмой).

В деревенских эпизодах романа прослеживаются некоторые приметы, относящиеся к ярославскому краю, к местам некрасовской молодости.

Дом Федора Андреича — темно-серый, неуклюжий, запущенный, с небольшой речкой и лесом поблизости (глава I части первой) — похож на дом Некрасовых в Грешневе, возле речки Самарки.[3]

В рассказе о прошлом Кирсанова отразились семейные предания Некрасовых. Кирсанов — участник двух заграничных походов против наполеоновской Франции; он был среди осажденных в Дан-

---

[1] См.: *Куликов Н. И.* Театральные воспоминания.— Искусство, 1883, № 5, с. 54, 55—56; *Орлова П. И.* В старой театральной школе.— Зап. гос. ин-та театрального искусства, 1940, с. 222—223.

[2] См.: *Панаев И. И.* Первое полн. собр. соч., т. 5. СПб., 1889, с. 17—18, 20, 362—372, 514; см. также о приживалках в доме матери И. И. Панаева: Панаева, с. 84; *Панаев В. А.* Воспоминания.— РС, 1893, сент., с. 475, 478.

[3] См.: *Первухин Н.* По живым следам. Родовое гнездо Некрасовых.— Красная нива, 1928, № 1, с. 8; *Чистяков В. Ф.* Старожилы некрасовщины о Некрасовых.— В кн.: Ярославский край, сб. II. Ярославль, 1930, с. 198; *Еремин Г.* Архивные документы о роде Некрасовых.— Сев. рабочий, 1939, 24 авг., № 193. В 1842 г. господский дом в Грешневе был перестроен (см.: *Дмитриев С. С.* Объявления Некрасовых в ярославской газете.— В кн.: Ярославский край, сб. I. Ярославль, 1928, с. 61).

циге, участвовал в Аустерлицкой битве, был ранен в бедро (главы XXX—XXXI части шестой). В этих моментах рассказ о Кирсанове совпадает с историей жизни дяди Некрасова — Александра Сергеевича.[1]

Имение Кирсанова расположено на почтовом тракте. При нем устроено экипажное заведение и нечто вроде постоялого двора (главы XXIX—XXXI той же части). Это приметы сельца Грешнева, принадлежавшего отцу Некрасова Алексею Сергеевичу и его брату Сергею Сергеевичу.[2]

Помощник Кирсанова по управлению имением Иван Софроныч Понизовкин был его сослуживцем во время войны, подобно Кондратию Андрееву, сопровождавшему братьев Некрасовых в военных походах, а затем жившему при отце Некрасова в Грешневе.

Фамилии Кирсанов и Понизовкин — грешневские: первая идентична фамилии крепостных, принадлежавших С. С. Некрасову,[3] вторая созвучна названию Понизовники,— в этом урочище часто охотился А. С. Некрасов, возможно и с сыновьями.[4] Имение Софоновка, которым (служа уже у Тавровского) управлял Иван Софроныч, носит название (слегка измененное) деревни, принадлежавшей А. С. Некрасову (Сафоново Владимирской губернии).

Заглавие романа вряд ли имеет в виду определенную местность. В «Объяснении заглавия...» указано, что Мертвое озеро расположено в «отдаленной губернии» (Некр. сб., II, с. 447). Единственной относительно отдаленной губернией, знакомой авторам по личным впечатлениям, к этому времени была Казанская, где авторы побывали в 1846 г. Однако в этой губернии не известно озер, подобных описываемому в романе.[5]

В Ярославской губернии, в окрестностях Грешнева, находилось озеро, с которым связывалось предание о провалившемся

---

[1] См. о нем: Евгеньев-Максимов, т. I, с. 13—14; *Николаев Е. П.* История 50-го Белостокского пехотного полка. СПб., 1907, с. 54, 57, 72, 77 (прилож.).

[2] См., например: *Дмитриев С. С.* Объявления Некрасовых в ярославской газете, с 61; *Полотебнов А. Г.* Грешнево и Некрасов.— В кн.: Ярославский край, сб. I, с. 68; *Попов А.* Н. А. Некрасов и Ярославская область.— В кн.: Альманах. Литературно-художественный и краеведческий сборник Ярославской области. М.—Ярославль, 1938, с. 64.

[3] См.: С.-Петербургские сенатские объявления <...> по судебным делам, 1855, 31 янв., № 9.

[4] См.: *Евгеньев В.* Н. А. Некрасов. М., 1914, с. 27, а также: наст. изд., т. III, с. 458.

[5] Сохранилась статуэтка работы Е. А. Лансере, изображающая элегантную всадницу, у ног которой плещутся волны. Существует предание, что тема скульптуры — Панаева на берегу Мертвого озера (см.: *Челышев Б.* Интересная находка.— Волга, 1972, № 1, с. 188—189). Однако физиономического сходства с Панаевой не наблюдается, а дата скульптуры (1870-е гг.) указывает на то, что если автора и вдохновлял образ Панаевой, то он создавался по воображению. Тем более нет оснований считать, что элемент пейзажа в скульптуре относится к некоему Мертвому озеру.

селении и церкви.[1] Но и оно не похоже на описываемое в романе. Что касается названия «Мертвое озеро»,[2] то оно, видимо, является калькой с финского. Известны озера Куолемаярви (Kuolemajärvi) в бывшей Выборгской губернии (ныне в районе одноименной станции по Ленинград-Финляндскому отделению Октябрьской железной дороги) и Куолаярви (Kuolajärvi) в Олонецкой (ныне Карельская АССР).[3] В переводе на русский язык оба названия означают «Озеро смерти».[4] Описаний этих озер, которыми могли бы воспользоваться авторы комментируемого романа, не обнаружено. Но о них и о связанных с ними преданиях авторам могло быть известно от жившего в свое время в Финляндии издателя «Финского вестника» Ф. К. Дершау и от уроженца Олонецкой губернии, преподавателя финского языка в петербургской духовной семинарии Д. И. Успенского, знакомых Некрасова. Финляндия привлекала внимание авторов и ранее: герой романа «Три страны света» Каютин родился в Выборге (глава VIII части второй), другой герой того же романа Кирпичов был вильманстрандским купцом (глава V части первой). Едва ли случайно и в «Мертвом озере» упоминается о том, что Тавровский путешествовал по Финляндии (глава LIX части двенадцатой).

5

«Мертвое озеро», как и «Три страны света»,— большой по объему роман, что само по себе является характерным жанровым признаком в ряду разновидностей романической прозы. Традиционный большой роман — в журнальном варианте роман с продолжением — многоплановое повествование, предполагающее обилие персонажей, разнообразие места действия и захватывающую интригу с непременным любовным сюжетом.

Новый роман Некрасова и Панаевой соединял в себе атрибуты произведения, обращенного к современной действительности, и шаблоны романического повествования.

---

[1] См.: *Полотебнов А. Г.* Грешнево и Некрасов, с. 76.

[2] В литературе о «Мертвом озере» указывалось на то, что заглавие романа, вероятно, символизирует «социальное зло» (Евгеньев-Максимов, т. II, с. 167) и что цензура в этом заглавии, возможно вызвавшем «ассоциацию с названием поэмы Гоголя» (*Каминский В. И.* Из наблюдений над прозой Некрасова..., с. 37), усмотрела «аллегорический намек на царскую Россию» (Некр. сб., II, с. 447). Это предположение нуждается в доказательствах.

[3] См.: *Stuckenberg J. Ch.* Hydrographie des Russischen Reiches, Bd I. Sankt-Peterburg, 1844, S. 640—641. Некрасов использовал статью И. Ф. Штукенберга о Боровицких порогах в романе «Три страны света» (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 358—359). А. И. Штукенберг, сын предыдущего, печатал стихи в «Литературной газете» в начале 1840-х гг. Неоднократно встречавшаяся Некрасову, эта фамилия перешла на страницы «Мертвого озера».

[4] Это название вновь напомнило о себе в сравнительно недавнее время. Среди жителей деревни Семиозерье, находящейся возле Куолемаярви и заселенной после войны, бытует предание о том, что до их поселения в озере погибло много народу.

Реалистические картины и зарисовки, психологические мотивировки поступков, более частые в эпизодах, начинающих сюжетные линии, перемежаются с иллюстративными образами.

«Мертвое озеро» продолжает традицию, отчетливо выраженную в «Трех странах света» и восходящую к образцам так называемой «легкой беллетристики» — школы, сложившейся в 1830-е гг. во французской литературе. Произведения писателей этой школы, в особенности романы Э. Сю, имели огромный успех в России, главным образом в середине 1840-х гг.

В «Мертвом озере» могут быть отмечены реминисценции из романа Сю «Вечный жид» (рус. пер.— 1844—1845).[1] Ап. Григорьевым было указано на сходство между героем этого романа Дагобером и Иваном Софронычем (см. ниже, с. 278). Оба героя — в прошлом солдаты, участники наполеоновских войн, оба готовы отдать свою жизнь за друзей-командиров, оба являются воплощением прямодушия и доброты.[2] Эпилог «Мертвого озера», изображающий счастливую жизнь тружеников, уединившихся в пустынном краю, близок по теме и настроению эпилогу романа Сю. Полемическим откликом на роман французского беллетриста можно считать эпизод, в котором представлена образцовая фабрика, напоминающая усовершенствованную казарму и в то же время похожая на «фаланстер» Гарди. По наблюдению Ап. Григорьева (см. ниже, с. 278), Федор Андреич, влюбленный в Аню, нарисован по образу и подобию Полидори, героя романа Сю «Парижские тайны» (рус. пер.— 1844). В «Мертвом озере» несомненно отразилось знакомство с романом Сю «Мисс Мери, или Гувернантка», публиковавшемся во французской газете «Siècle» с ноября 1850 г. по март 1851 г. Обедневшая дворянка вынуждена поступить в гувернантки; в семье, куда она прибывает после трудного путешествия, в нее влюбляются хозяин дома и его гость, молодой человек, побуждающий ее к побегу. Вся эта ситуация повторяется в части четырнадцатой «Мертвого озера».

В романе Некрасова и Панаевой наблюдаются переклички и с произведением другого французского беллетриста — П. Феваля. Не бравший ранее в руки карт, Иван Софроныч выигрывает огромную сумму, не нуждаясь в деньгах, но последующие попытки, когда деньги были необходимы, кончаются проигрышем. В подобной ситуации оказался молодой шарманщик Реньо, герой романа «Сын дьявола» (рус. пер. под заглавием «Сын тайны» — 1846). В этом романе развивается и мотив тайны рождения, один из ведущих в «Мертвом озере». Впрочем, здесь трудно с точностью указать бесспорный конкретный источник, ибо этот мотив, встречающийся и в «Вечном жиде», был одним из самых распространенных в европейской литературе. Стимулирующее влияние литературных образцов вообще проявляется в «Мертвом озере» лишь в форме общих сюжетных соответствий.

В «Мертвом озере» по-своему обозначилась характерная для французской романтической литературы тема «естественного человека». Люба, выросшая в глуши, вне светского общества, оказалась нравственно выше этого общества и не покорилась его дик-

---

[1] Здесь и далее для переводов приведены даты журнальных публикаций.

[2] Ср. упоминание о Дагобере в «Тонком человеке, его приключениях и наблюдениях» (1853—1855) (наст. изд., т. VIII, с. 368).

тату, подобно героине романа Жорж Санд «Индиана» (рус. пер.— 1833).[1]

Сохраняя общую близость к французской беллетрической школе, роман Некрасова и Панаевой одновременно обнаруживает усилившуюся после завершения «Трех стран света» тенденцию к восприятию английской традиции — в первую очередь достижений сатирического романа, вдохновляющим образцом которого была для Некрасова и Панаевой «Ярмарка тщеславия» У.-М. Теккерея (рус. пер.— 1850) (наблюдение Т. С. Царьковой).

В то же время предшественник Теккерея — Диккенс оставался для авторов «Мертвого озера» столь же высоким авторитетом, каким он был для них в период их работы над «Тремя странами света». Изображая труппу странствующих актеров, авторы «Мертвого озера» используют опыт Диккенса («Жизнь и приключения Николаса Никльби»; рус. пер.— 1840). Вместе с тем это достаточно отдаленная параллель. Провинциальные актеры у Диккенса комичны в своем служении Мельпомене, в то время как у Некрасова и Панаевой они далеко не всегда смешны.

«Мертвое озеро» создавалось в период «шекспиромании»,[2] и не случайно в романе неоднократно упоминаются персонажи шекспировских пьес. Ап. Григорьев отметил и сюжетную близость к эпизоду одной из них, указав, что Иван Софроныч возле умершего Кирсанова «совершенно превратился в короля Лира над трупом Корделии» (М, 1851, № 9 и 10, с. 197). Подобно Лиру, Иван Софроныч не верит тому, что Кирсанов скончался, а когда убеждается в истине, предается неистовому отчаянию.

Из отечественных писателей, чье влияние бесспорно сказалось в романе, можно назвать лишь Гоголя. Но и в этом случае речь может идти лишь об одном отрывке, относящемся к усадебной теме,— описании деревеньки Овинищи, выполненном в открыто гоголевской манере.[3]

Остальные случаи общности с произведениями отечественной словесности не содержат в себе отчетливых указаний на влияние какого-либо писателя, но позволяют сделать вывод о том, что в «Мертвом озере» разрабатывались сюжеты, имевшие широкое хождение в литературе.

В ряду многочисленных произведений, посвященных театру, «Мертвому озеру» предшествовали рассказ В. А. Соллогуба «Воспитанница» (1846), повесть Д. В. Григоровича «Капельмейстер Сусликов» (1848),[4] водевиль Д. Т. Ленского «Лев Гурыч Синичкин» (1840) (на сходство Калинского и Ноготковой с героями водевиля обратил внимание Ап. Григорьев — см. ниже, с. 277).

---

[1] По воспоминаниям И. И. Панаева, Некрасов в середине 1840-х гг. очень увлекался Жорж Санд (см.: Панаев, с. 248). Такое же увлечение пережила и Панаева (см.: Панаева, с. 89).

[2] См.: Шекспир и русская культура. М.— Л., 1965, с. 285, 317, 363.

[3] См.: Зимина, с. 195, а также: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 164.

[4] Среди неосуществленных замыслов Григоровича были сюжеты, развитые позднее Некрасовым и Панаевой в «Трех странах света» и в «Мертвом озере», например «Прачка», «Простодушный ремесленник», «Художник», «Столичные приживальщики», «Актер-бенефициант» (см.: <*Григорович Д. В.*>. Дагерротип. Картины, эскизы, силуэты современных нравов.— ЦГАЛИ, ф. 138, оп. 2, ед.

Неблагодарный труд гувернантки был темой рассказов и повестей А. В. Дружинина («Петергофский фонтан» — 1850), Т. Ч. (А. Я. Марченко) («Гувернантка» — 1847), Н. Борисова (В. В. Толбина) («Любинька» — 1849), анонимного беллетриста («Нелли» — С, 1850, № 1).

Роман А. Ф. Вельтмана «Саломея» (1846—1848), близкий к традициям «плутовского» романа,— ближайший по времени прецедент соответствующего сюжета в «Мертвом озере».[1]

6

Вопрос о доле авторского участия Некрасова и Панаевой в «Мертвом озере» не может быть решен с достаточной точностью: рукописи романа не найдены; в сохранившейся переписке «Мертвое озеро» — в период его писания — ни прямо, ни косвенно не упоминается.

Известно устное высказывание Панаевой о работе над «Мертвым озером» в записи А. М. Скабичевского. Оно сводится к утверждению, будто Некрасову в этом романе «принадлежит<...> лишь один сюжет, в составлении которого он принимал участие вместе с г-жой Панаевой, и много что две-три главы. А затем Некрасов захворал, слег в постель и решительно отказался продолжать роман. Таким образом, „Мертвое озеро“ почти всецело принадлежит перу г-жи Панаевой».[2]

Одновременно Панаева сообщила Скабичевскому — или, по крайней мере, он так ее понял,— что в работе и над «Тремя странами света», и над «Мертвым озером» авторы «составляли общими совещаниями сюжеты романов, а потом распределяли, какую кому из них писать главу...».[3] Это свидетельство противоречит тому, что писала сама же Панаева, говоря о своем почти единоличном участии в написании «Мертвого озера». Скабичевский, по-видимому, заметил это противоречие и во второй редакции своего очерка о Некрасове отнес приведенные выше слова об «общих совещаниях» авторов лишь к «Трем странам света».[4]

Высказывание Панаевой, почти полностью исключающее авторский вклад Некрасова, нуждается в критическом осмыслении. Прежде всего важно выяснить, могло ли одно лицо написать роман. В связи с этим следует выделить группы глав, принадлежащих скорее всего одному исполнителю, поскольку группы эти

хр. 2, л. 1—1об.). Некоторые из подобных зарисовок были опубликованы Григоровичем в «Литературной газете», в отделе «Дагерротип» (см.: ЛГ, 1845, 18 янв., № 3; 8 февр., № 6; 1 марта, № 8), где в это время сотрудничал и Некрасов. О предполагавшемся соавторстве Григоровича в написании «Трех стран света» см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 327—328, 347—349, 352.

[1] См.: *Долгих У. М.* А. Я. Панаева — соавтор Н. А. Некрасова (роман «Три страны света»).— В кн.: Пути развития русской прозы XIX в. Л., 1976, с. 47.

[2] Скабичевский, с. 395; см. также: *Скабичевский А.* Соч., т. 2. СПб., 1890, с. 361.

[3] Скабичевский, с. 394.

[4] См.: *Скабичевский А.* Соч., т. 2, с. 360.

образуют художественное целое по единству темы, сюжета и литературной манеры.

Исполнительски монолитные группы глав входят в сложную сюжетную композицию: текст романа разделен на три тома, пятнадцать частей и шестьдесят восемь глав с эпилогом.

Том первый (части первая—пятая) начинается с группы глав, объединенных усадебной темой. В тщательно выписанных портретах героев — Ани и Пети, Федора Андреича и Настасьи Андреевны — авторское внимание сосредоточивается преимущественно на какой-то одной неизменной особенности характера, предопределяющей поступки героев в обыденной для них обстановке. Однако при изображении исключительных обстоятельств характеристики тех же героев неузнаваемо изменяются. С особенной наглядностью это наблюдается в главе IV части первой, выпадающей из усадебной темы и содержащей рассказ о том, как Аня познакомилась с Федором Андреичем на похоронах своей бабушки. Внешность и поведение героини представлены здесь совершенно условно, в крайних физических проявлениях чувств. «Очерковый» реализм и мелодраматические эффекты не исключают друг друга и внутри отдельных глав, выступая как компоненты единой манеры повествования.

Следующая группа глав первого тома (части третья—пятая) обнимается театральной темой и продолжает историю Ани, поступившей под фамилией Любская в провинциальный театр (главы XIV, XV и XVII части третьей; часть четвертая, кроме главы XVIII; часть пятая). Героем тех же частей романа выступает и верный друг Любской актер Остроухов (главы XIV, XV и XVII части третьей; часть четвертая, за исключением главы XXIV; главы XXVII и XXVIII части пятой). Художественное родство этой группы глав с рассмотренной выше достаточно очевидно. Сюжетная линия Ани — Любской проходит через весь первый том, связывая его части в единое целое общей манерой изображения, в которой трезвая наблюдательность устойчиво сочетается с аффектацией. Глава XXIV части четвертой — в отступление от театральной темы — рассказывает о том, как Аня, покинув дом Федора Андреича, жила с дедушкой в Петербурге и добывала трудами свой хлеб. Образ Ани утрачивает здесь живые черты и превращается — как и в главе IV части первой — в символ невинности и страдания.

В томе втором (части шестая—десятая) выделяются три группы глав, отличающихся единством темы, сюжета и художественной манеры.

В части шестой, возобновляющей усадебную тему, главными действующими лицами являются помещик Кирсанов и его помощник Иван Софроныч, обитатели деревеньки Овинищи. Подобно героине первого тома Настасье Андреевне, Кирсанов относится к числу персонажей, не встречающихся в последующем повествовании. Ивану Софронычу, напротив, принадлежит важнейшая роль в дальнейших событиях. Впервые появившийся в томе втором, этот герой по характеру напоминает персонажа предшествующего тома Остроухова, с которым его роднит доброта, доходящая до экзальтации.

Группа глав, составляющих часть седьмую, вводит в роман светскую тему. В этой части, как и в предыдущей, описание преобладает над действием. В характеристике одинокой и деспотич-

ной Натальи Кирилловны, любящей лишь своего племянника Тавровского, используется сюжетный материал первых частей романа, где представлен аналогичный тип в образе Настасьи Андреевны. История Гриши, изгнанного из дома, напоминает историю Петруши.

Среди прочих действующих лиц части седьмой — Иван Софроныч, ставший управляющим имением Тавровского (главы XXXIV, XXXV, XXXVII). Через сюжетную линию Ивана Софроныча седьмая часть оказывается связанной с предыдущей как общей фабулой, так и трактовкой характера, выдержанного до малейших подробностей.

Еще одна слитная группа глав второго тома продолжает светскую тему, подключая к ней цыганский мотив. Тавровский, поселившийся возле Мертвого озера, встречается с Любой и возвращается в Петербург ее женихом (части восьмая—девятая). Люба — образ, полностью «идеологизированный», воплощающий идею «естественной» гармонической личности. Исполнительская манера здесь та же, что и в характеристике Ани в главе IV части первой и в главе XXIV части четвертой тома первого. В той же манере трактован и образ Тавровского, демонстрирующий аристократическую «привлекательность», в духе «оперного» любовника.

В части девятой появляется Остроухов, приехавший в усадьбу Тавровского с труппой странствующих актеров (главы XLIV—XLVI), в части десятой — Иван Софроныч, выигравший в пользу Тавровского огромную сумму денег (главы XLVIII—L). Круг глав с участием персонажей, введенных в действие в предыдущих главах и всюду верных самим себе, расширяется в этой части настолько, что позволяет предполагать единоличное авторское участие в обоих томах романа.

Завершающий том романа (части одиннадцатая—пятнадцатая) включает в себя целую часть, написанную в особом ключе,— повесть о гувернантке мадемуазель Анет (бывшей Любской), не устоявшей перед ухаживаниями Тавровского. Барышня с изысканными манерами и ее настойчивый соблазнитель мало похожи на одноименных героев, выведенных в прочих главах романа. Другие действующие лица части четырнадцатой — подверженный нервическим припадкам Марк Семеныч и его жена Надинь, рафинированная светская дама,— полностью обособлены от остальных персонажей.

Части одиннадцатая и двенадцатая тома третьего слагаются в композицию, подобную той, которая наблюдалась в томе втором: новые герои, появляющиеся в этих частях, встречаются с прежними, и это определяет последующее развитие действия. В части одиннадцатой, начинающей том третий, главная роль принадлежит Генриху Кнаббе, отправившемуся с хозяйскими деньгами в другую губернию и ограбленному попутчиком. События, описанные в части двенадцатой, завершают этот сюжет. Авторская принадлежность этих частей романа одному исполнителю самоочевидна, так же как и их художественная близость к главам с участием Ивана Софроныча в томе втором.

В частях тринадцатой и пятнадцатой действуют персонажи предшествующих томов: Любская, расстраивающая свадьбу Тавровского, Федор Андреич, попадающий в услужение к Любской, Остроухов, ее обличающий, Наталья Кирилловна, умирающая от удара, Тавровский, отомстивший Любе за ее бегство из его дома,

и, наконец, Люба, кончающая самоубийством в пучине Мертвого озера. Характеристики этих героев полностью соотносятся с прежними, в первом и во втором томах, и позволяют считать все три тома, за исключением части четырнадцатой, в целом принадлежащими одному исполнителю.

В эпилоге представлены Любская, вышедшая замуж за Петрушу, Тавровский, кончающий свои дни в деревне, Зина, также нашедшая себе мужа, Переваленко-Зацепу, Гриша, женившийся на Насте, и Иван Софроныч, благоустроивший берега Мертвого озера. Едва ли сомнительно, что автором эпилога было лицо, которому принадлежит рассказ об этих же персонажах в основном тексте романа.

Таким образом, представляется вероятным, что почти все части романа написаны одним автором. Этот вывод, казалось бы, согласуется с утверждением Панаевой о том, что она была почти единственным автором текста. Однако другие аргументы косвенного характера говорят более в пользу авторства Некрасова, нежели Панаевой.

В объявлении о предстоящей публикации «Озера смерти» (см. выше, с. 249) фамилия Некрасова значится первой. Следовательно, Некрасов изначально предполагался главным участником совместного начинания. Разумеется, и позднее Панаева не могла взять на себя разработку замысла в целом и основную работу по его осуществлению. Это было выше ее возможностей.

Некоторые части и главы романа безусловно могут быть атрибутированы Некрасову уже потому, что в них отразился его жизненный опыт, отчасти преломившийся в других его художественных произведениях и не совпадающий с наблюдениями Панаевой.

Картины дворянского поместного быта, представленные в части шестой романа, написаны человеком, знающим этот быт досконально, т. е. Некрасовым.[1] Это видно и из весьма многочисленных примет ярославского имения Некрасовых в описании деревеньки Овинищи, из отголосков семейных преданий в характеристиках персонажей, из аналогий с обликом отца и других родственников, из антропонимических перекличек (см. выше, с. 263—264). К биографическим соответствиям прибавляются литературные параллели: убитый громом пастух (глава XXIX части шестой) упомянут в «Деревенских новостях» (1860), знахарка, жившая в околотке (глава XXXII той же части),— в «Знахарке» (1860). Фамилия Понизовкин перешла к герою поэмы «Горе старого Наума» (1874).

Описание табачной фабрики, сцены охоты и развлечений на островах, история ограбления Генриха Кнаббе — содержание части одиннадцатой — сюжеты, доступные лишь Некрасову.

Некоторые главы в других частях также являются бесспорно некрасовскими по их содержанию.

Только Некрасов мог описать кофейную близ театра (глава XIV части третьей), куда были вхожи лишь мужчины. Только ему могло принадлежать описание холостяцкой актерской квартиры (глава XVIII части четвертой).

---

[1] Панаева, выросшая в столице, поверхностно знала помещичью жизнь — по непродолжительным наблюдениям в 1839 и 1846 гг., когда она побывала в Казанской губернии, где находилось имение ее мужа.

Ряд глав содержит подробное описание игры в банк (глава XXXVI части седьмой, глава XLIX части десятой) — их автором мог быть только Некрасов.

Некрасову — но не Панаевой — был хорошо известен, вплоть до самого «дна», мир городского захолустья, к которому он испытывал интерес с самого начала своей литературной деятельности.[1] Сцена бедных похорон (глава IV части первой), эпизоды труженической жизни Ани, проживающей в меблированных комнатах и торгующей куклами возле Гостиного двора (глава XXIV части четвертой), описание квартиры Щекоткиных (глава XXV части пятой), рассказ о благотворительной поездке Тавровского в Измайловский полк (глава LVII части двенадцатой), образ бедного переписчика пригласительных билетов, жителя Коломны (глава LVIII той же части),— весь этот жанрово-бытовой фон знаком по прежним произведениям Некрасова — «Повести о бедном Климе» (1841—1848), «Жизни и похождениям Тихона Тростникова» (1843—1848) и «Трем странам света». Некоторые из зарисовок, образующих этот фон, варьируют или полностью повторяют прежние. Аня, изготовляющая на продажу игрушки, добывает средства к существованию тем же трудом, что и герой «Жизни и похождений Тихона Тростникова» (см.: наст изд., т. VIII, с 123). Параша, героиня того же произведения,— прямая предшественница Ани в ее петербургском обличии. Визит Тавровского в бедный домик Измайловского полка — сюжетная подробность, подсказанная наблюдениями Некрасова над деятельностью Общества посещения бедных, куда он вступил в 1851 г. Случайно встретив в домике Гришу, Тавровский застает его за попыткой закрасить чернилами белые нитки на сапоге. Подобная сцена впервые появляется в рассказе Некрасова «Без вести пропавший пиита» (1840) (см.: наст. изд., т. VII, с. 45—46, 542) и повторяется в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 90, 729). О том же — как о биографическом факте — Некрасов однажды вспомнил позднее.[2] Фамилия названного выше героя — Грачев — вновь возникла в романе Некрасова «Тонкий человек, его приключения и наблюдения».

О Некрасове напоминают некоторые чисто мужские заметки, например о цыгане, который затягивается сигарой, как трубкой (глава XXXIX части восьмой), а также характерные для Некрасова житейские наблюдения, например о пресыщении удовольствиями молодости (вторая подглавка эпилога).

В ряде глав обнаруживается талант, намного превосходящий дарование Панаевой. Таковы сцены с участием камердинера Петра (глава XLVIII части десятой), приживалок (особенно рассказ приживалки с зобом о девушке из благородной семьи, влюбившейся в повара своей маменьки) (глава XLVII той же части), управляющего имениями Тавровского Переваленко-Зацепы (глава LVI части двенадцатой и третья подглавка эпилога). Фамилия Зацепа вошла в антропонимический фонд некрасовской лексики и вновь появилась в его поэме «Современники» (1875).

---

[1] См., например: *Глинка Ф. С.* К биографии Н. А. Некрасова.— ИВ, 1891, кн. 2, с. 585—586.

[2] См.: *Успенский Н.* Воспоминание о Н. А. Некрасове (письмо в редакцию).— Иллюстрированная газ., 1878, 5 февр., № 6.

Содержание ряда частей и глав в принципе допускает авторское участие Панаевой, но значительно более соответствует жизненному опыту и литературной деятельности Некрасова.

Части первая и вторая, посвященные усадебной теме, в некоторых подробностях соотносятся со сведениями о родственниках Панаевой. Аня, красавица и будущая актриса, напоминает сестру Панаевой Анну, дебютировавшую перед замужеством на сцене Александринского театра. История Петруши, поссорившегося с опекуном и затем воевавшего на Кавказе, близка к биографии брата Панаевой (ср. также соответствующий эпизод в повести «Семейство Тальниковых»). Однако значение этих сопоставлений сводится до минимума при обращении к сведениям о родственниках Некрасова. Сестру Некрасова, гувернантку (ср. с мадемуазель Анет), также звали Анной. Героиня романа похожа на нее и наружностью, и характером. Брат Некрасова Константин, не пользовавшийся расположением отца, по окончании кадетского корпуса вынужден был отправиться на Кавказ.[1] В имени и отчестве Федора Андреича соединились имена других некрасовских братьев. В стихотворении «Отрывок» (1844), напечатанном в год издания «Мертвого озера» и, по-видимому, представляющем собой фрагмент неосуществленной поэмы, намечен портрет Федора Андреича и предвосхищена история Петруши: «Имел наружность дикую И мне не потакал... Он часто, как страшилище, Пугал меня собой И порешил в училище Отправить с рук долой». В пояснениях Нового поэта отмечается автобиографическое содержание этого стихотворения (С, 1851, № 11, отд. VI, с. 85—86; наст. изд., т. I, с. 419—420, 686—687). Эпизодическое лицо «Жизни и похождений Тихона Тростникова», Иван Францевич, учитель живописи, боготворит свою ученицу Парашу. Этот типаж повторился в образе Эдуарда Карлыча, учившего музыке Настасью Андреевну. Любовь Настасьи Андреевны к музицированию имеет биографическую и литературную аналогию: героиня поэмы «Мать» (1877) — увлеченная пианистка. Примечательна и похожесть имен: мать Некрасова звали Еленой Андреевной. Любская с наслаждением наблюдает, как разрушается ненавистный ей дом, в котором прошли ее юные годы (часть пятая, глава LXV). Этот мотив затронут и в «Родине» (1846): «И набок валится пустой и мрачный дом» (наст. изд., т. I, с. 46). Образ отчего «ветхого дома», впервые появляющийся в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (там же, т. VIII, с. 64), в поэме «Затворница» (вариант поэмы «Мать», 1877) символизирует, как и в «Мертвом озере», одиночество и неволю: «Я помню, мы безвыходно сидели Сам-друг с тобой в разрушенном дому. (Угрюмый дом, похожий на тюрьму...)» (там же, т. IV, с. 514).

В главах XIV и XV части третьей романа, изображающих театральную жизнь, встречаются явные — иногда текстуальные — переклички с позднейшими воспоминаниями Панаевой. Но в этих же главах выше было отмечено наглядное авторское участие Некрасова (см. с. 259, 271). Из этого можно было бы заключить, что отдельные главы романа являлись предметом совместной работы. Трудно, однако, предположить столь дробное разделение труда. Кроме того, факт переклички названных глав с воспоминаниями Панаевой сам по себе еще не указывает на принадлеж-

---

[1] См.: *Евгеньев В.* Н. А. Некрасов, с. 42—43.

ность отмеченных мест именно этому автору, ибо то, о чем вспоминала Панаева, знал и Некрасов, находившийся в приятельских отношениях со многими актерами и актрисами александринской сцены и обращавшийся к театральной теме в своих прежних произведениях. Провинциальный домашний театр показан в рассказе «Опытная женщина» (1841). Одновременно Некрасов переводит водевиль «Вот что значит влюбиться в актрису!», пишет водевиль «Актер» и рассказ «В Сардинии», где также затронут театральный мотив. Особая тема в некрасовском творчестве — Александринский театр. Этой теме посвящены стихотворения «Офелия» (1840), «Памяти <Асенков>ой» (1854—1855), ряд эпизодов в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 179—186, 220—221), «Выдержка из записок старого театрала (материалы для физиологии Александринского театра)» (1845), «Очерки литературной жизни» (1845), множество театральных заметок и рецензий. В «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» выведен режиссер Николаша, прототипом которого был Н. И. Куликов (см.: наст. изд., т. VIII, с. 184, 745). Этот же прототип узнается и в режиссере — эпизодическом персонаже «Мертвого озера» (главы XV и XVII части третьей, главы XX и XXII части четвертой, глава XXVII части пятой). Некрасов познакомился с Куликовым в конце 1830—начале 1840-х гг.[1] и поддерживал с ним близкие отношения в продолжение нескольких лет.[2] Результатом их дружеского сближения были совместно изданные «Статейки в стихах. Без картинок» (СПб., 1843). Допустимо предположить, что Куликов делился с Некрасовым воспоминаниями о своей молодости и что Некрасов использовал в «Мертвом озере» рассказ Куликова о подмосковной гастрольной поездке в 1820-х гг. (см. об этом выше, с. 262—263). Рассказ Остроухова о том, как он сделался актером, входящий в «некрасовскую» главу XVIII части четвертой, возможно, написан со слов М. С. Щепкина, с которым Некрасов также был хорошо знаком (ср. рассказ «Психологическая задача», опубликованный в 1849 г. со ссылкой на устное сообщение Щепкина).[3] С театральными преданиями связаны и сцены «Как убить вечер?» (1866), где представлены мать и дочь — актрисы. В этих же сценах фигурирует персонаж, унаследовавший фамилию героя «Мертвого озера»,— Остроухов (см.: ПСС, т. VIII, с. 758). Анало-

[1] См.: *Алексеев А. А.* Воспоминания актера, с. 31—33, 35—38; *Шуберт А. И.* Моя жизнь, с. 86—87; *Писарев М. И.* Воспоминания о Некрасове.— Новости, 1902, 25 дек., № 355. См. также: наст. изд., т. VI, с. 672—673; ИВ, 1890, кн. 2, с. 338.

[2] Позднее Куликов не без горечи вспоминал о «слишком близком знакомстве с Н. А. Некрасовым» (*Куликов Н. И.* Театральные воспоминания.— Искусство, 1883, № 22, с. 255). В письме к матери от 28 мая 1850 г. Куликов сетовал на то, что Некрасов у него не был «вот уже несколько лет» (*Куликов Н. И.* Дневник режиссера.— Б-ка театра и искусства, 1913, кн. 3, с. 21).

[3] Щепкин любил вспоминать о своих странствованиях с труппой бродячих актеров. В 1845 или 1846 г. в Москве его слушательницей была Панаева: «За ужином Щепкина всегда просили рассказать что-нибудь из его молодости, когда он еще был провинциальным актером и служил у антрепренеров» (Панаева, с. 149). См. также: *Тур Евгения.* Профессор П. Н. Кудрявцев. Воспоминания. М., 1891, с. 36.

гичным образом в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (глава «Пир на весь мир») повторилась фамилия Ляпушкин (см. в романе главы XIV, XV и XVII части третьей, XIX и XX части четвертой, XXVII и XXVIII части пятой).

Светская тема, в частности описание быта и нравов барского особняка, принадлежащего старой аристократке (главы XXXIII—XXXVI части седьмой),— предмет, далекий от непосредственных наблюдений как Панаевой, так и Некрасова. Отчетливые переклички в этих главах с воспоминаниями И. И. Панаева (см. выше, с. 263), по-видимому, восходят к устным рассказам будущего мемуариста, слушателями которого с середины 1840-х гг. с одинаковой степенью вероятности могли быть и Панаева, и Некрасов. Однако авторство Некрасова представляется более вероятным. В его пользу говорит прецедент: устные рассказы Панаева отразились в «Трех странах света», в главах, несомненно принадлежащих Некрасову (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 348—349).

Анекдоты о Нащокине и Н. А. Самойлове, вошедшие в главу XXXIII части седьмой «Мертвого озера» (см. об этом выше, с. 261—262), могли быть известны и Панаевой, и Некрасову, но ввел их в роман скорее всего Некрасов, который был приятелем Куликова, близкого к источнику анекдотов — московской театральной среде (эти же анекдоты Некрасов мог слышать и от М. С. Щепкина).

Панаевой скорее всего принадлежит часть четырнадцатая романа, в которой изображаются обитатели подмосковной дачи[1] и которую предполагалось перепечатать под заглавием «M-lle Annette», с подзаголовком: «Повесть» и за подписью: «Н. Н. Станицкий» в томе шестом сборника «Для легкого чтения» (СПб., 1857) (см.: С, 1857, № 4, отд. IV, с. 60).[2] Повесть в печати не появилась, хотя причины для цензурного запрещения не было. Тем не менее извещение в «Современнике» можно рассматривать как указание на то, что часть четырнадцатая «Мертвого озера» была написана, по-видимому, Панаевой.[3]

Прямые и косвенные приметы авторского участия Некрасова обнаруживаются, таким образом, почти в каждой части романа.[4] Этому заключению, правда, противоречит то обстоятельство, что на титуле «Мертвого озера» фамилия «Н. Н. Станицкий» значилась первой. Но это было сделано, по всей вероятности, для популяризации нового имени, последовательно осуществлявшейся в

---

[1] Летом 1845 г. Панаевы и Некрасов жили возле подобной дачи в Соколове (см.: Панаев, с. 209; Анненков, с. 257). Здесь отдыхал в это лето и Щепкин (см.: наст. изд., т. VII, с. 602). Ранее в Соколове жил на даче Нащокин (см.: Михаил Семенович Щепкин. 1788—1863. СПб., 1914, с. 386).

[2] См. также: Чернышевский, т. IV, с. 581.

[3] Если это действительно так, то этот текст после соответствующих переделок мог перейти в «Мертвое озеро» либо из романа «Актриса», либо из части второй повести «Пасека» — произведений, обещанных автором, но, по-видимому, незавершенных (см. выше, с. 252).

[4] Важнейшие данные для атрибуции дают лексико-синтаксические сопоставления, но они составляют предмет специального исследования и не могут войти в состав данного комментария.

«Современнике» в 1849—1851 гг. и опережавшей возможности автора.

Наблюдения над историей журнального текста (см. выше, с. 249—255) согласуются с предположительным заключением о почти единоличном участии Некрасова в написании «Мертвого озера».

Когда в конце 1848 г. в «Современнике» было объявлено, что в следующем году, кроме продолжения «Трех стран света», появятся два романа Н. Н. Станицкого — «Актриса» и «Озеро смерти» (последний в соавторстве с Некрасовым) (см. выше, с. 249, 252), это означало, что «Актриса» должна была увидеть свет ранее, ибо «Озеро смерти» заняло бы все номера журнала после майской книжки, в которой завершилась публикация «Трех стран света». Последовательность работы, следовательно, могла быть только такая: пока Панаева пишет «Актрису», Некрасов работает над первыми частями «Озера смерти». Таким образом, подтверждается сделанное на основании других наблюдений предположение о том, что части первая и вторая, напечатанные в январской и февральской книжках журнала, принадлежат Некрасову. Далее же, когда авторам пришлось подготавливать текст к каждой новой журнальной книжке, справиться с этим мог только Некрасов. И не случайно в периоды особой загруженности Некрасова текущими журнальными делами объем публикуемых фрагментов резко сокращался. Панаева не могла подменить Некрасова.

7

У любителей занимательного чтения — для них в первую очередь было предназначено «Мертвое озеро» — роман имел несомненный успех.

С удовольствием прочитал роман пятнадцатилетний Н. А. Добролюбов. «Превосходная вещь»,— отозвался он в дневнике о первых частях романа (августовская запись 1851 г.). Сентябрьская запись о части шестой: «Эта часть „Мертвого озера“ особенно хороша».[1] Добролюбов не согласился со своей знакомой А. Ф. Щепотьевой, которая «хвалила „Полину Бутлер“, „Ветку фуксии“, „Семейную тайну“, бранила „Вечного жида“, „Парижские тайны“, „Мертвое озеро“, восхищалась „Тремя мушкетерами“» (Добролюбов, т. VIII, с. 425). «Прекрасный роман»,— таково общее впечатление Добролюбова (январская запись 1852 г.).[2] Примечательно, что с годами это впечатление не изгладилось. В одной из своих последних статей, во «Внутреннем обозрении» «Современника» (1861, № 8), Добролюбов указал на верное изображение провинциального театра в романе «Мертвое озеро», заметив, правда, что ранее оно казалось ему не вполне правдоподобным (см.: Добролюбов, т. VII, с. 96).

Из двух известных писательских откликов один, посвященный одновременно «Мертвому озеру» и «Старому дому» (роман В. Р. Зотова, печатавшийся одновременно в «Отечественных записках»), принадлежит Тургеневу. «Удивляюсь,— иронизировал Тургенев в письме к А. А. Краевскому от 27 июля 1851 г.,— когда

---

[1] *Добролюбов Н. А.* Дневники. 1851—1859. 2-е изд. М., 1932, с. 48.

[2] Там же.

прекратятся знаменитые два романа: „Мертвый дом“ и „Старое озеро?“».[1]

Другой отзыв принадлежит Толстому, ознакомившемуся с романом через несколько лет после его публикации. Отзыв Толстого, не предназначенный для печати, был негативным и односложным (дневниковая запись от 27 ноября 1857 г.).[2]

Печатные отклики на «Мертвое озеро» также очень немногочисленны. Подробно роман был рассмотрен лишь в «Москвитянине» — в девяти рецензиях (на каждую часть романа, кроме десятой) Ап. Григорьева.

В первой рецензии Ап. Григорьев предсказывает, что роман «протянется на целый год». К таким романам Ап. Григорьев относится настороженно — как к произведениям по большей части ремесленным,— но «из уважения к дарованию одного из соавторов» — Н. Станицкого — выражает готовность «преимущественно обращать внимание на хорошие его <«Мертвого озера»> стороны, если таковые будут» (М, 1851, № 5, с. 78, 79).[3]

В «живом» характере Ани, каким он предстает в первой и второй частях романа, Ап. Григорьев находит сходство с героиней романа Панаевой «Пасека». Отмечая в романе «и ум, и наблюдательность, и даже талант», он относит эти качества, по-видимому, лишь к Панаевой. Но все это, по мнению Ап. Григорьева, «потрачено задаром», ибо на первый план выступают «лица с ярлыками па лбу» — «два молодых, разумеется, невинных существа» (Аня и Петруша), «старик, разумеется, с сумрачным видом, с неистовыми страстями» (Федор Андреич), «идеальное лицо немца» (учитель музыки) (там же, с. 80, 77—78).

Ту же «смену самых обыденных пошлостей или приторного идеализма с очерками смелыми, живыми, новыми, с частностями, из которых многие, в полном смысле, прекрасны», Ап. Григорьев констатирует и в следующих частях. Так, отношения между прачкой и ее мужем «очерчены прекрасно»; «все сцены закулисного быта отличаются необыкновенною правдою»; Орлеанская «в особенности обрисована удачно»; рассказ Остроухова о том, как он сделался актером, «превосходен»; «Любская точно так же хорошо очерчена в романе»; картина провинциальной театральной жизни — несмотря на некоторые переклички с водевилем «Лев Гурыч Синичкин» (Ноготкова — Сурмилова, Калинский — граф, покровительствующий искусствам) (М, 1851, № 6, с. 284—288) — «яркое и нисколько не карикатурное изображение» (М, 1851, № 8, с. 414). Но все это сочетается с «ходульностью в характеристике Мечиславского», а смерть Мечиславского — «мелодрама и самая плохая, самая дикая<...> все становятся на ходули» (М, 1851, № 6, с. 288; № 7, с. 418).

Ко времени появления части шестой Ап. Григорьев приходит к выводу: «роман <...> пишется приемами», от книжки к книжке, и именно поэтому в нем нет «внутренней связи» и единой «психологической задачи»; «запас наблюдений авторов уже истощился<...> начинается уже рутинерский труд...». В подтвержде-

---

[1] Тургенев, Соч., т. II, с. 32.

[2] См.: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. и писем: в 90-та т., т. 47. М., 1937, с. 164.

[3] Ап. Григорьев познакомился с Панаевой в начале 1840-х гг., встречаясь с нею в доме В. С. Межевича.

ние этой мысли указывается на заимствование из французской литературы: Алексей Алексеич и Иван Софроныч созданы по образу и подобию Дагобера, героя романа Э. Сю «Вечный жид»,— та же «моральная основа характера», тот же «пошлый комизм, основанный на одних только ни из чего не выведенных странностях» (М, 1851, № 9, с. 194—195) (в одной из предыдущих рецензий Ап. Григорьев отметил еще одну заимствованную деталь — неистовая любовь Федора Андреича к Ане напоминает страстное влечение Полидори к Сесили в романе Сю «Парижские тайны» — М, 1851, № 5, с. 79).

Последние части романа еще более убеждают Ап. Григорьева в том, что «все приходящее случайно в голову авторам переходит тотчас же и в роман»; вводя «беспрестанно все новых лиц», авторы, замечает Ап. Григорьев, «забывают совершенно о главных героях романа». В то же время из новых героев некоторые — в первую очередь Зина и приживалки — «представлены превосходно» (М, 1851, № 13, с. 61—63). Умело обрисован Тавровский: «Нельзя не отдать справедливости искусству, хотя и чисто внешнему, с которым авторы романа совокупляют в избранном ими герое несколько анекдотических, известных всем черт» (М, 1851, № 15, с. 346—347). «Мастерски» выполнен очерк «деятельности» Винтушевича (М, 1851, № 17, с. 171). Марк Семеныч, «хотя и не совсем удался авторам, но задуман ими довольно хорошо»; что же касается жены Марка Семеныча, то «все внешние стороны ее характера удались им очень хорошо». В этих частях романа, как и в некоторых иных, «есть черты, подмеченные с чрезвычайною наблюдательностью, есть намеки на возможность драматизма в тронутых отношениях» (М, 1851, № 22, с. 360—363). А наряду с этим — «мелодраматическое чучело, в особе цыгана» (М, 1851, № 15, с. 348) и «умилительное» описание фабрики Штукенберга, «по тону своему и колориту» не отличающееся от описания хозяйства помещика Руссова в одном из старинных романов (М, 1851, № 17, с. 168).

Резкое осуждение вызывают у Ап. Григорьева главы эпилога, изображающие перерождение Любской, счастливую семейную жизнь Гриши и Насти, спокойную старость Ивана Софроныча, окончательное нравственное падение Тавровского. «Бессмыслен подобный конец,— пишет Ап. Григорьев о Любской,— а не безотраден, каким, может быть, представляли его себе авторы романа, и не горькая трагическая ирония слышна в последних заключительных строках<...> а пошлая издевка над своим собственным трудом, над недодуманными и недосозданными ими лицами<...> Торжество же добродетели Ивана Софроныча с дочерью и зятем и юного немца с его предметом столько же пошло, если еще не более<...> Конец же Тавровского так отвратителен, что предполагает участие морального цинизма в его изобретении» (там же, с. 367).

К рецензиям Ап. Григорьева непосредственно примыкает реплика Эраста Благонравова (псевдоним Б. Н. Алмазова), помещенная в том же журнале. Алмазов замечает, что еще недавно «два наших самых лучших, самых петербургских журнала» — «Современник» и «Отечественные записки» — не только не помещали романов, подобных «Мертвому озеру» и «Старому дому», но и «очень невыгодно отзывались о такого рода произведениях». Теперь же «помянутые журналы смекнули, что писать только для

избранной публики невыгодно, что если они будут писать только для нее, то у них будет мало подписчиков. И вот они принялись за создание разных романов на манер Дюма. Да ведь оно и легче, и дешевле: такого роду произведения может делать, в свободное время, сама редакция» (М, 1851, № 19 и 20, с. 267).

«Отечественные записки», оказавшиеся в той же ситуации, что и «Современник», воздержались от жестких оценок, подобных той, какую они дали в свое время «Трем странам света» (см.: ОЗ, 1850, № 1, с. 20—22; подробнее см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 338—339). Несколько строк, посвященных «Мертвому озеру», оправдывали появление романа литературным безвременьем и отмечали, в общей форме, «хорошие частности и некоторые хорошие свойства выражения» (ОЗ, 1852, № 1, с. 14).

Отдельное издание романа, появившееся в начале года, вызвало лишь один отклик — статью в «Библиотеке для чтения», подписанную криптонимом «И. П.». В отличие от других отрицательных отзывов, проникнутых тревогой за судьбы литературы, статья И. П. написана в издевательском тоне и направлена не столько против «Мертвого озера», сколько против «натуральной школы» в целом. Из всего романа И. П. выделяет лишь несколько глав, заслуживающих внимания: «...разрежьте, пожалуй, и прочтите тридцать четвертую главу и начало тридцать пятой<...> потом тридцать девятую и сороковую, в которой Тавровский встречается с Любой на берегу озера; прочтите еще заглавие — единственную остроту в этом романе, и довольно — остальные шестьдесят шесть глав с эпилогом не употребляйте на чтение: все они сплошь покрыты *натуральной* плесенью» (БдЧ, 1852, № 4, с. 45).

Незначительность содержания, длинноты, пропуски, карикатурные образы, отсутствие слога и неряшливость языка — все это И. П. относит на счет обоих авторов — «равномощных поэтов», но «один из сочинителей», по мнению И. П., «в особенном разладе со вкусом и русским языком» (там же, с. 44). Речь идет, по-видимому, о Некрасове как о более известном (по сравнению со Станицким) представителе «натуральной школы».

Статья И. П. возмутила даже тех, кто неодобрительно отзывался о «Трех странах света» и «Мертвом озере». «Кто у вас разбирает „Мертвое озеро"? — писал А. В. Дружинин редактору журнала А. В. Старчевскому.— Этот господин пишет легко, но я с горестью увидел в нем булгаринские замашки. Что за выражения и зачем нападать на „натуральную школу"! Это уже старо».[1]

В том же духе выдержана и анонимная заметка в «Москвитянине»: «...странно, что г. И. П. взялся преследовать в „Мертвом озере" *натуральность,* странно, что ему не нравятся в нем именно те самые немногие оазисы, где авторы сколько-нибудь верно изображают действительность<...> Кроме подобной странности приема, ничем для нас не объяснимой, статья г. И. П. отличается удивительной оригинальностью тона...» (М, 1852, № 9, с. 38—39).

С. 6.* *В углу против окон — массивный флигель...*— Флигель — прямострунный рояль с крыловидной формой корпуса.

---

[1] См.: *Старчевский А. В.* Александр Васильевич Дружинин.— Наблюдатель, 1885, № 4, с. 125.

* Здесь и ниже указаны страницы первой книги т. X наст. изд. При отсылках ко второй книге тома страницы обозначены курсивом.

С. 6. ...*из темного ситцевого капота*...— Капот — верхнее женское платье широкого покроя, вроде халата.

С. 6. *У окна, затянутого серпянкой*...— Серпянка — род грубой марли.

С. 6. *Коса ее, очень густая, низко спускалась на затылок*...— Слово «коса», помимо своего основного значения, сохранившегося в наши дни, означало и пряди незаплетенных волос (см.: Даль, т. II, с. 172). См. также с. 70, *159*.

С. 6. ...*вились от природы маленькие пукли*.— Пукля (букля) — локон.

С. 7. ...*в вольтеровских полинялых креслах*.— Так называемое вольтеровское кресло — массивное, с очень высокой спинкой.

С. 7. ...*имел вид недоросля*.— Недоросль — подросток или юноша, не достигший 21 года, т. е. совершеннолетия, и не поступивший еще на государственную службу.

С. 12. ...*нанковые сиреневые узенькие панталоны*...— Нанка — разновидность хлопчатобумажной ткани из грубой пряжи (чаще желтого цвета).

С. 13. ...*в редкие свободные часы дозволялось Настасье Андреевне садиться за избитые пятиоктавные клавикорды*.— Клавикорды — ударный струнный (не более чем пятиоктавный) клавишный инструмент, имевший вид столика; предшественник современного фортепиано; сохранялся в русском домашнем быту до середины XIX в.

С. 19. *То был факсимиль Бетховена*.— Индивидуальное написание, в отличие от орфографической нормы — факсимиле (франц. fac-similé).

С. 30. *Похороны были пышные* ∾ *Много тут было и притворно и искренно грустных лиц*...— Ср. аналогичную сцену в поэме Некрасова «Несчастные» (1856) (см.: наст. изд., т. IV, с. 32).

С. 33. ...*была одета в черный коленкоровый салоп*...— Коленкор — плотная хлопчатобумажная ткань. Салоп — верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной, с прорезями для рук или с широкими рукавами.

С. 34. ...*упрашивала Федора Андреича покушать кутьи*...— Кутья — поминальное блюдо (обычно рис с изюмом или медом).

С. 39. ...*с огромной пенковой трубкой*...— Трубка из легкого огнестойкого минерального вещества, так называемой пенки.

С. 46. *Одет он был в синеватого цвета венгерку*...— Венгерка — верхняя одежда военных чинов, в том числе отставных, напоминающая форму венгерских гусар.

С. 58. *Он пел русскую песню: Не одна-то во поле дороженька*...— Протяжная любовная народная песня, часто включавшаяся в песенники 1830—1840-х гг.

С. 58. ...*старичок сделал ренонс*.— Т. е. ошибся мастью.

С. 83. ...*на ломберных столах*...— т. е. на карточных столах, покрытых зеленым сукном, на котором мелом записывались взятки.

С. 104. ...*старинный рыдван стоял у крыльца*.— Рыдван — громоздкая карета для дальних поездок.

С. 106. *В одной из отдаленных улиц города NNN*...— Необычное трехбуквенное обозначение названия города вместо общепринятого NN, употребляемого для обозначения местности, которую нежелательно называть (от лат. nomen nexio: имени не знаю), приобретает иронически-утрированный характер, поскольку под изображаемым здесь театром подразумевается столичный (см. выше, с. 259).

С. 107. *...пожилой человек в ситцевом архалуке...*— Архалук — стеганый кафтан без рукавов.

С. 111. *Ведь Семен Семеныч не раз говаривал мне...*— В журнальной публикации и в отдельном издании романа этот персонаж именуется здесь, в отличие от последующих страниц, Петром Семенычем.

С. 113. *...уж скоро заблаговестят...*— Благовест — колокольный звон, призывающий на молитву в церковь, в данном случае — на утреннее богослужение. Благовест к заутрене в осеннее время года производился в Петербурге около пяти часов пополуночи.

С. 114. *Кофейная близ театра.*— В 1830—1840-е гг. возле Александринского театра помещался трактир «Феникс» (площадь Александринского театра, № 61; ныне площадь Островского, № 2) (см.: Цылов, л. 43), завсегдатаями которого были артисты и театралы. В конце 1830—начале 1840-х гг. Некрасов был постоянным посетителем «Феникса» (см.: *Алексеев А. А.* Воспоминания актера, с. 31—32). Трактир упомянут в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 186, 745); ср. также главу вторую «Княгини Лиговской» (1836—1837) Лермонтова. Весьма вероятно, что Некрасову была знакома и артистическая кофейная Печкина близ Малого театра в Москве. Знакомый Некрасова, актер и водевилист Д. Т. Ленский исполнял здесь импровизированные куплеты (см.: СП, 1841, 29 авг., № 192). Ср. также воспоминания Н. И. Куликова об артистической кофейной Бажанова в Москве, где постоянно бывал М. С. Щепкин (*Куликов Н. И.* Театральные воспоминания.— Искусство, 1883, № 15, с. 170).

С. 115. *...перед бенефисом...*— Бенефис — спектакль, сбор от которого полностью или частично поступает в пользу одного из актеров.

С. 115. *...дарил крестнику на зубок ломбардные билеты в несколько тысяч!* — Имеется в виду билет Сохранной казны при Воспитательном доме. Ломбардный билет — квитанция, выданная Ссудной казной (ломбардом) при том же учреждении.

С. 118. *...внимание всех было устремлено на вновь прибывшую молодую актрису Любскую...*— Любская (Любский) — распространенная сценическая фамилия, встречающаяся, например, в комедии М. Н. Загоскина «Благородный театр» (сезон 1829/30 гг.), в водевиле Ф. А. Кони «В тихом омуте черти водятся» (сезон 1834/35 гг.) и в комедии К. Д. Ефимовича (Яфимовича) и Н. Крестовского (псевдоним Н. И. Куликова) «Нашествие иноплеменных» (сезон 1846/47 гг.) (см.: История русского театра, т. 3, с. 225, 227; т. 4, с. 294, 297, 357). Среди актрис Александринского театра была и Любская (см.: Вольф, ч. I, с. 163).

С. 122. *...тащат юнкера...*— Юнкер — нижний военный чин из дворян.

С. 124. *Отдай Гирея мне — он мой! ∾ Но знай: кинжалом я владею: Я близ Кавказа рождена!!!* — Слегка измененный текст из поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1824) (ср.: *Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 4. М., 1937, с. 166—167). Цитата имела театральный источник. В 1825 г. поэма была инсценирована А. А. Шаховским под заглавием «Керим-Гирей». В Петербурге в сезон 1837/38 гг. роль Марии исполняла сестра Панаевой Анна Брянская (см.: Вольф, ч. I, с. 64). Некрасов мог видеть инсценировку в сезоны 1840/41 и 1842/43 гг. (см.: История русского театра, т. 2, с. 482; т. 3, с. 264; т. 4, с. 337). В 1841 г. инсценировка была на-

печатана (см.: *Шаховской А. А.* Керим-Гирей. Романтическая трилогия в пяти действиях...— Пантеон русского и всех европейских театров, 1841, № 11 и 12). Некрасов в это время сотрудничал в «Пантеоне...». В рассказе «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и К°» (1850) пародийно обыгрываются начальные строки поэмы (см.: наст. изд., т. VII, с. 388, 607).

С. 127. *...начала делать батманы...*— Батманы — группа движений классического танца, часть ежедневных упражнений артистов балета.

С. 128. *...какие маленькие — в четвертак!»* — Четвертак — серебряная монета достоинством в 25 копеек (диаметр 21 мм).

С. 131. *...смазаны черным фиксатуаром...*— Фиксатуар — помада для приглаживания волос.

С. 133. *...доказал свое благородство в истории с нашей милой пери.*— Пери — дух в образе пленительно красивой женщины (иранская мифология); здесь: обиходный романтический образ, синоним очаровательницы.

С. 136. *...ввалился чрезвычайно высокий мужчина в фризовой шинели...*— Фриз — толстая ворсистая шерстяная ткань.

С. 137. *...наша по утрам не ездит теперь в ваших корзинках?* — Корзинки — обиходное название карет, в которых привозили в Александринский театр воспитанниц Театрального училища.

С. 138. *...с надписью, хотя взятой с известного памятника, но всё-таки оскорбительной для нее ∾ Завистниц имела, Соперниц не знала.*— Переделанная надпись с памятника на могиле актера А. С. Яковлева: «Завистников имел, соперников не знал» (см.: Петербургский некрополь, т. 4. СПб., 1913, с. 684), которая помещена также под его посмертным гравированным портретом с указанием: «Б. Ф-в» (см.: Пантеон славных российских мужей, 1818, февр., № 3; *Яковлев* <*А. С.*>. Соч. СПб., 1827, а также: *Ровинский Д. А.* Подробный словарь русских гравированных портретов, т. 3. СПб., 1888, стб. 2191). Автором эпитафии считался Б. М. Федоров (см.: *Арапов П.* Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 259; *Каратыгин П. А.* Записки. Л., 1970, с. 65, 297). Однако Р. М. Зотов упоминает ее в числе собственных сочинений (см.: *Зотов Р. М.* Записки.— ИВ, 1896, № 7, с. 48). О яркой личности знаменитого трагика напомнили в 1840-е гг. статья Р. М. Зотова «Биография актера Яковлева» (см.: Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров, 1842, кн. 5) и пьеса Н. Крестовского (Н. И. Куликова) «Актер Яковлев. Театральная хроника», сцены из которой ставились в Петербурге в 1848 и 1850 гг. (см.: История русского театра, т. 4, с. 287). Ряд персонажей и эпизодов из этой хроники предшествует таковым же в «Мертвом озере»: выездной спектакль на даче, князь-волокита, старик, защищающий честь своей дочери от домогательств князя. См. также упоминание о Яковлеве в «Петербургских углах» (1845) (наст. изд., т. VII, с. 345).

С. 142. *— Вы, как Робинзон, окружены зверьми...*— Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» авторам «Мертвого озера» был, по-видимому, знаком прежде всего по переделкам И.-Г. Кампе: Новый Робинзон. 2-е изд. М., 1819; Робинзон Крузе. Роман для детей. СПб., 1842 (2-е изд. СПб., 1846) (пер. с нем. В. С. Межевича). В переводе с английского подлинника имя главного героя получило несколько иную транскрипцию (см.: Жизнь и приключения Робинсона Крузо. СПб., 1843 (пер. с англ. П. А. Корсакова) и краткое пере-

ложение этого перевода — Робинсон. Рассказ для детей. Изд. книгопродавца Василия Полякова. СПб., 1845). О Робинзоне, окруженном зверьми, упоминает в своей переписке Панаева (см. ее письмо к М. Л. Огаревой от 21 января 1851 г.— Черняк, с. 509).

С. 144. *...сунула в руку камердинеру красную бумажку.*— Т. е. десятирублевую ассигнацию.

С. 145. *Денщик с нафабренными усами...*— Фабра — косметический состав для чернения бороды и усов и придания им определенной формы.

С. 148. *...массивный турецкий диван, обтянутый тиком...*— Диван без спинки, с подушками. Тик — полосатая холщовая ткань.

С. 149. *...тут висел французский кафтан с блестками...*— Театральная терминология под французским кафтаном обычно подразумевала костюм по моде XVIII в.: почти наглухо застегнутый, без ворота, с обшлагами до локтя, двумя большими карманами на полах и шитьем по бортам.

С. 152—153. *...предложил содержателю театра дать некоторые сцены из «Отелло». ∾ У меня роли Десдемоны и Отелло так перепутались в голове, что я едва мог находиться, что мне говорить.*— Рассказ Остроухова относится к тому времени, когда трагедия Шекспира исполнялась по тексту, где главная героиня называлась не Дездемоной, а Эдельмоной (см.: *Дюсис Ж.-Ф.* Отелло, или Венецианский мавр. Подражание Шекспиру. СПб., 1808).

С. 170. *...он раздваивал светильню...*— Светильня — здесь: фитиль от свечи.

С. 171. *Фигуранты* — артисты балета, исполняющие групповые танцы.

С. 176. *...на дворе стояли ломовые роспуски...*— Роспуски — городская телега для перевозки тяжелой клади.

С. 178. *...все в креповых платьях...*— *Креп* — прозрачная шероховатая шелковая или бумажная ткань.

С. 181. *...мушку на левый бок.*— Мушка (шпанская муха) — нарывный пластырь.

С. 183. *«О чем шумите вы...»* — Первая строка из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831). Стихотворение приобрело особую актуальность после революционных событий 1848—1849 гг. в Европе.

С. 186. *...чуть меня не отправило в царство Плутоново.*— Плутон — в античной мифологии бог подземного мира.

С. 190. *...занялся отпарыванием галуна от камзола.*— Камзол — однобортный безрукавный костюм, принадлежность мужского туалета, которую носили под верхней одеждой. В театральном обиходе употреблялся камзол по моде XVIII в. с полами почти до колен. В комментируемом тексте камзол, по-видимому, отождествляется с кафтаном. Ср. часть пятая, глава XXVIII, с. 236: *галуны, отпоротые от французского кафтана...*

С. 191. *Вербовщица.*— Здесь: продавщица кукол или игрушек в вербную неделю (см. ниже).

С. 191. *Это была вербная неделя.*— Вербная неделя — последняя неделя великого поста перед Пасхой.

С. 194. *...проходя мимо Гостиного двора, я попал в страшную сумятицу.∾ каждый желал занять повыгоднее место для верб.*— Торговля ветками вербы, искусственными цветами, куклами и игрушками происходила перед Гостиным двором на Невском проспекте в течение последних трех дней вербной недели (см.: СП,

1840, 6 апр., № 78; Пушкарев, Описание Санкт-Петербурга, ч. 3, с. 24; *Греч А. Н.* Весь Петербург в кармане. СПб., 1846, с. 137).

С. 197. *...с первой пушкой дверь скрыпнула...*— В Петербурге в день Пасхи благовест к заутрене (см. примеч к с. 113) начинался обычно по выстрелу из сигнальной пушки, находившейся в Петропавловской крепости. Время выстрела назначалось (если в столице присутствовал император) каждый раз по особому предписанию из духовной консистории (не позднее, чем в два часа пополуночи) (см.: *Богданов А. И.* Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга. СПб., 1779, с. 447). Второй — ежедневный — выстрел сигнальной пушки производился в полдень.

С. 207. *...раздались звуки скрыпки, наигрывающей казачка.*— Казачок — быстрый украинский танец, вошедший в моду в 1820-е гг. и исполнявшийся обычно вдвоем.

С. 209. *...пошел на печь, Велисарий!* — Слепой музыкант иронически сравнивается с героем драмы Э. Шенка «Велизарий» (переделка с нем. в стихах П. Г. Ободовского), первое представление которой на русской сцене состоялось в сезон 1839/40 гг. (см.: История русского театра, т. 3, с. 228; т. 4, с. 298). Легендарный византийский полководец, которому посвящена драма, окончил жизнь слепцом и нищим. Некрасову принадлежит рецензия на эту пьесу и на ее постановку в Александринском театре (см.: Театральный альбом, 1843, тетр. 3; ПСС, т. IX, с. 523—531). В этой рецензии отмечался и успех оперы Г. Доницетти «Велизарий» в петербургском Большом театре (сезон 1839/40 гг.— см.: Вольф, ч. II, с. 64).

С. 213. *...запела дребезжащим дискантом: Во лузях, лузях...*— Народная песня, известная в публикациях с конца XVIII в. и не утратившая своей популярности во времена Некрасова. См. изображение поющего эту песню подгулявшего мужичка в изданном Некрасовым альманахе «Первое апреля» (СПб., 1846).

С. 219. *...играл на скрыпке англез...*— Англез (контрданс) — быстрый танец английского происхождения, родственный кадрили.

С. 221—222. *...на ногах — плисовые высокие сапоги.*— Т. е. из бумажного бархата; обычно носились в старости.

С. 237. *Чтец начал читать псалтырь.*— Псалтырь — книга религиозных песнопений, псалмов, в состав которой в русских печатных изданиях включались и молитвы. Здесь: молитвенник.

С. 242. *Славная деревенька Овинищи!* — Овинищи — распространенное название деревень Ярославской и Владимирской губерний, где находились поместья Некрасовых (см.: Ярославская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб., 1865 (по указателю); Владимирская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб., 1863 (по указателю)).

С. 242. *...безобразных колодцев с очепами* ∾ *и не видано...*— Очеп — колодезный журавль.

С. 244. *...сказал однажды, заехав к ним, заседатель.*— Заседатель — выборная дворянская должность в уездном суде.

С. 244. *Рококо* — стиль в европейской архитектуре и декоративном искусстве XVII—XVIII вв., отличавшийся изысканной сложностью форм.

С. 246. — *Желаю здравствовать вашему высокоблагородию!* — Для военных чинов — титул, соответствующий штаб-офицерским чинам от майора до полковника. Судя по тому, что Кирсанов недолго служил в чине поручика (часть двенадцатая, глава LIX), он вышел в отставку в чине майора, т. е., подобно отцу Некрасова, был отставным майором.

С. 246—247. *То был календарь 1796 года. ∾ прочел, какая зима стояла в 1795 году.* — Имеется в виду «Месяцеслов на лето от рождества Христова 1796». В «Месяцесловах» регулярно публиковались «Выписки учиненным при Санктпетербургской Академии наук наблюдениям о погодах и воздушных приключениях». Сведения о погоде в 1795 г. были опубликованы в «Месяцеслове» за 1797 г. (с. 64—66). По описи, составленной после смерти деда Некрасова, Сергея Алексеевича, в барском доме в 1810-е гг. числилось пять «старых годов календарей» (ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 222). Эти календари, по-видимому, сохранились в домашней библиотеке Некрасовых в Грешневе.

С. 247. *...и греческую грамматику.∾ дети пойдут; пригодится!* — С 1830-х гг. греческий язык преподавался во всех гимназиях. Некрасову предстояло его изучать. Наиболее распространенным учебником греческого языка с конца XVIII в. до 1840-х гг. была «Краткая грамматика древнего греческого языка» (автор Б. В. Филонов), выдержавшая четырнадцать изданий. См. также, возможно, знакомые Некрасову-гимназисту «Начальные правила греческой грамматики» (М., 1834; 2-е изд. М., 1836) Г. Шада.

С. 249. — *На целковый не на целковый, а гривенников на десять будет...* — Целковый — серебряный рубль.

С. 250. — *Ну, насчет пушки проштыкнулся!* — Слово из военного лексикона, означающее «промахнулся», «ошибся»; Некрасову хорошо был знаком этот лексикон с раннего детства, по семейному окружению.

С. 254. *...да и Иван Софроныч тоже не виноват...* — В журнальной публикации и в отдельном издании романа этот герой именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Иваном Сидорычем.

С. 264. *...нужно еще ∾ басону...* — т. е. тесьмы.

С. 266. *...упоминается Аустерлицкая битва...* — Сражение между армией Наполеона I и частями союзных войск под общим командованием Кутузова, состоявшееся в Моравии 20 ноября 1805 г.

С. 266. *...отправился в Динабург...* — Город Динабург (позднее Двинск) находился в Витебской губернии (ныне г. Даугавпилс Латвийской ССР).

С. 266. *Статья о приезжающих и отъезжающих с особенным интересом первая прочитывалась...* — Сведения об офицерах и классных чиновниках, приезжающих в Петербург и отъезжающих, печатались в «Русском инвалиде», «С.-Петербургских ведомостях» и «Северной пчеле».

С. 267. *В числе экипажей ∾ были старинные фельдъегерские дрожки...* — Фельдъегерь — военный правительственный курьер.

С. 271. *...подсед сделался...* — Подсед — трещина в копыте.

С. 271. *Пенник* — крепкая малоочищенная водка.

С. 273. *...выдержит ли дрога...* — Дрога — продольный брус в экипаже, соединяющий переднюю ось с задней.

С. 274. *...я давно не видал моего вицмундира...* — Вицмундир —

обычная (не парадная) форма одежды военных и гражданских чинов. Ср. часть двенадцатая, глава LVIII, с. *78: ...в парадном своем вицмундире...*

С. 275. — *Верю во единого бога-отца...* — Первый пункт символа веры — сущности учения православной церкви.

С. 275. — *А помнишь Данциг? ∾ Ваше высокоблагородие там взяли знамя...* — Имеется в виду эпизод войны 1806—1807 гг. между Россией, выступавшей в союзе с Пруссией, и Францией. В марте 1807 г. в Данциг, осажденный французами, прибыли морем на помощь пруссакам русские войска. В мае после неудачной попытки прорвать блокаду прусско-русский гарнизон капитулировал (упоминание о взятом знамени, таким образом, является художественной вольностью). Дядя Некрасова, Александр Сергеевич, участвовал в этом сражении в составе будущего Белостокского пехотного полка, в чине унтер-офицера (портупей-прапорщика). В позднейших походах, до гибели в сражении под Бунцлау в 1813 г., его сопровождал крепостной Некрасовых Кондратий Андреев. Материалом для комментируемого отрывка, по-видимому, послужили рассказы Кондратия, который в 1830-е гг. был дядькой при малолетних Некрасовых (см. выше, с. 264). Ср.: наст. изд., т. VI, с. 197 («Да брат с ногой, оторванной Под Данцигом...») и 685, где в комментарии к пьесе «Забракованные» (1859) говорится о сражении под Данцигом 17 декабря 1813 г.

С. 276. *...а форменное завещание, как следует, в Приказе.* — Завещания обычно представлялись в уездный суд или в губернскую Гражданскую палату. Приказ общественного призрения — учреждение, ведавшее устройством сирот, престарелых и т. п.

С. 285. *...я сошелся с волостным головой...* — Волостной голова — управляющий волостью, т. е. округом из нескольких сел и деревень, — низшей административной единицей, входившей в уезд.

С. 285. *...шляпа поярковая...* — т. е. сотканная или свалянная из поярка (шерсти молодой овцы — ярки).

С. 286. *...крикнут: затылок!..* — Негодному рекруту подбривали затылок.

С. 286. *Доктор как закричит: «Лоб!»* — Годному рекруту подбривали лоб.

С. 289. *...не слыхано, чтоб люди переодевались медведями, даже о святках.* — Святки — время от Рождества до Крещения, между церковными праздниками, отмечавшимися 24 декабря и 6 января. В святочных играх участвовали ряженые.

С. 295. *...драдедамовый...* — т. е. полусуконный.

С. 297. *В одной из больших петербургских улиц, отдаленной от центра города ∾ дом, как крепость окруженный каменной стеной.* — В романе изображен типичный дом с садом в стиле позднего барокко. Прообразом усадьбы явились произведения дворцово-паркового искусства середины XVIII в. в Царском Селе (ныне Пушкин), Петергофе (ныне Петродворец) и Ораниенбауме (ныне Ломоносов). Львы у входа в богатые особняки изготовлялись не из алебастра, а из более прочного материала.

С. 298. *Зеркала в простенках ∾ были штучные...* — т. е. сборные, составленные из отдельных частей.

С. 299. *...камлотовый передник...* — Камлот — грубая шерстяная ткань.

С. 300. *...под густой фальбарой чепчика...* — Фальбара — оборка. В конце 1840—начале 1850-х гг. орфография этого слова не

была единообразной (ср. часть двенадцатая, глава LVII, с. 62: *...в белом чепце с фалбалой...).*

С. 300. *...под огромным зеленым зонтиком...*— Необычное употребление слова «зонтик» — в значении: козырек.

С. 314. *...угождай Зиновье Михайловне.*— В журнальной публикации и в отдельном издании романа эта героиня именуется здесь, в отличие от последующих страниц, Зиновьей Львовной.

С. 322. *...вследствие смерти Федосьи Васильевны...*— В журнальной публикации и в отдельном издании романа эта героиня именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Федосьей Ивановной.

С. 326. *...ее можно было сравнить разве с улыбкой Мефистофеля, когда он смотрел на плачущую Гретхен.*— См. сцену «Тюрьма» из драматической поэмы Гете «Фауст». В сцене, однако, отсутствует авторская ремарка о физиономии беса. Сравнение с язвительно улыбающимся Мефистофелем либо является произвольным, либо подсказано каким-нибудь иллюстрированным зарубежным изданием поэмы.

С. 333. *...отыскала через приживалок старую, безобразную грузинку...*— Косвенное указание на то, что в описании дома Натальи Кирилловны претворились наблюдения над родственным окружением И. И. Панаева: среди знакомых М. Л. Панаевой, матери И. И. Панаева, родом армянки, были выходцы с Кавказа.

С. 334. *...разноцветные шкалики.*— Шкалик — плошка с салом, употреблявшаяся при иллюминациях.

С. 336. *...исключая самого понтера.*— Понтер — игрок, ставящий куш на карту в игре в банк.

С. 336. *— Новая талия!* — Талия в игре в банк — законченный период игры, в течение которого прометывается вся колода.

С. 336. *...не сорвите банка!* — Банк — ставка в карточной игре того же названия. Сорвать банк — выиграть всю ставку.

С. 343. *...первые сюжеты труппы...*— т. е. ведущие актеры, премьеры труппы.

С. 346. *...побежал в Коломну...*— Коломна — часть Петербурга между Фонтанкой, Невой, Мойкой и Крюковым каналом.

С. 377. *— В Ухтомском лесу?* — Источник топонима не установлен.

С. 383. *...мужик заходил в болото и проваливался в окошко.*— Окошко — здесь: топкое место, скрытое тонким слоем растительности.

С. 391. *...усердно гонялся с Любой по лесу за коньками...*— Конек — кузнечик. Кроме этих названий в романе употребляются и другие, отнесенные к этому же насекомому: стрекоза, сверчок. Ср.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 301, 357.

С. 392—393. *...к холоду бабочка превращается в куколку? ∞ у меня она есть, с картинками.*— В книге с картинками, на которую ссылается героиня, поправляя своего собеседника, утверждавшего, что к зиме бабочки умирают, не могло рассказываться о превращении бабочки в куколку (ср., например: Естественная история для детей. Царство животных. СПб., 1842, с. 26).

С. 399. *Спензер* — короткий облегающий жакет.

С. 399. *...искал эквилибру...*— т. е. равновесия.

С. 399. *Модита* — проклятый (итал. modita).

С. 402. *— Полно, Кирилловна...*— В журнальной публикации

и в отдельном издании романа эта героиня именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Устиновной.

С. 406. *Антраша* — элемент классического танца; вертикальный прыжок с двух ног.

С. 408. *Волтижеры* — цирковые гимнасты-наездники.

С. 409. *«Сам и пашет, сам орет и оброк с крестьян берет»...* — Источник цитаты не установлен. Орать — пахать, но не плугом, а сохой. Ср.: «В городе не орут, не пашут, а сытей нашего едят» (Даль, т. II, с. 689).

С. 411. *...маленькая левретка лежала на ковре.* — Левретка — комнатная собачка.

С. 415. *— Какой же я буду дож?* — Дож — выборный пожизненный глава государства в Венецианской (VIII—XVIII вв.) и Генуэзской (XIV—XVIII вв.) республиках. Это редкий сценический персонаж в русском театральном репертуаре, известный преимущественно по трагедии Шекспира «Отелло». Однако из последующего изложения видно, что заезжие комедианты разыгрывают в усадьбе другую трагедию,— точнее, мелодраму с благополучным концом. Немотивированное упоминание о костюме дожа, возможно, связано с забавным памятным эпизодом некрасовской биографии, относящимся к началу 1840-х гг. Некрасов, заложив свое платье, взял напрокат для участия в маскараде костюм венецианского дожа и вынужден был в нем оставаться до тех пор, пока не добыл денег на выкуп своего платья (см.: *Белоголовый Н. А.* Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов.— В кн.: *Белоголовый Н. А.* Воспоминания и другие статьи. М., 1897, с. 207—208).

С. 418. *...пел басом: Мы живем среди полей... ∾ Жизнь для нас копейка!* — Нарочито комическая контаминация строк из различных произведений. Первая строка — из «Цыганской песни», впервые прозвучавшей в опере «Пан Твардовский» (д. II, явл. 1) (муз. А. Н. Верстовского, либретто М. Н. Загоскина; первое представление в Петербурге в сезон 1828/29 гг.— см.: Вольф, ч. II, с. 13) и вскоре широко распространившейся в альманахах и песенниках (см., например: Драматический альманах для любителей и любительниц театра, изданный на 1828 год Ардальоном Ивановым. СПб., 1828, с. 133—134). Прием шуточной контаминации текстов наблюдался и в романе «Три страны света» в строках «Будем пить и веселиться, Станем жизнию играть» (часть первая, глава VII). Первый стих — слегка измененная цитата из оперы «Цампа, или Мраморная невеста» (д. I, явл. 13) (муз. Л.-Ж.-Ф. Герольда, рус. вариант либретто Д. Т. Ленского) (см.: Оперы и водевили. Пер. с франц. Д. Ленского. Т. 3. М., 1836, с. 43).

С. 421. *...стихи из «Эдипа»: О дочь несчастная преступного отца!* — Цитата по памяти из трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (СПб., 1804). Ср.: «Постой, дочь нежная преступного отца!» (д. II, явл. 1). Трагедия, пользовавшаяся большим успехом в первой четверти XIX в., возобновлялась в Александринском театре несколько раз и в позднейшее время, например в 1840 и 1846 гг. (см.: История русского театра, т. 2, с. 540; т. 3, с. 336; т. 4, с. 417), в бытность Некрасова в Петербурге. Цитата вошла в роман, по-видимому, не по воспоминаниям о спектакле, а из устного обихода, сообщившего крылатому выражению характерный для 1840-х гг. мелодраматический оттенок. Былой успех трагедии отозвался в различных слоях русского общества, приобщавшихся к театральной жизни. По воспоминаниям М. Д. Бутурлина, его кре-

местной буфетчик Иван Бешенцов, позднее ставший управляющим его костромским имением, любил декламировать стихи из трагедии, подражая трагику А. С. Яковлеву (см.: *Бутурлин М. Д.* Записки.— РА, 1897, № 3, с. 400; № 4, с. 619). О знакомстве Некрасова с Бутурлиным и его управляющим сведений не имеется. Однако важно иметь в виду, что Бутурлин был заметной фигурой в Петербурге 1840-х гг. Обладатель прекрасного голоса, он долго жил и учился в Италии. Может быть, не случайно, Тавровский, герой «Мертвого озера», наделен таким же талантом и подобной особенностью биографии. Трагик, изображенный в «Трех странах света», именуется Бешенцовым,— возможно, не только по аналогии с фамилией ярославского оперного и драматического актера (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 350). Некрасов во время поездок на родину нередко охотился в Костромской губернии, где находилось имение Бутурлина.

С. 434. *Она теперь со всем семейством уехала в Яковку...*— Известны деревни под названием Яковково в Ярославской губернии (см.: Ярославская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. (по указателю)).

С. 443. *...позвонил у двери великолепной квартиры в С** улице.*— По-видимому, подразумевается Сергиевская улица, с которой связаны отразившиеся в романе устные воспоминания И. И. Панаева (см. выше, с. 263, 287). Панаев воспитывался в семье С. П. Берникова, проживавшей до конца 1810—1820-х гг. по Сергиевской улице, № 533 (ныне улица Чайковского, № 23) (см.: <*Реймерс Г.*>. Санктпетербургская адресная книга на 1809 год, с. 16, 371; *Аллер Самуил.* Указатель жилищ и зданий в С.-Петербурге, или Адресная книга на 1823 г. СПб., 1822, с. 101; ЛГИА, ф. 841, оп. 1, ед. хр. 42, л. 33). Дом, описываемый в романе, в отличие от указанного выше, имеет вид роскошного старинного особняка (см. примеч. к с. 297).

С. 443. *...человек лет тридцати в утреннем костюме ∾ трижды поцеловал господина в халате и феске.*— Прототипом франта-камердинера можно считать слугу Панаевых по прозвищу «Барон» (см.: Панаева, с. 168, 365; *Панаев В. А.* Воспоминания, с. 482).

С. 447. *...политики никакой нет...*— Слово «политика» употреблено здесь в значении: вежливое, учтивое обращение.

С. 448. *— И приказный из города сватался...*— Приказный — архаическое название канцелярского служителя.

С. 450. *— Что в вашей? ∾ А вынеси-ка, говорит, «Опытного предостерегателя» в прихожую...*— Традиционный намек на газету «Северная пчела», издатель которой, Ф. В. Булгарин, оказывал личные услуги владельцам ряда известных магазинов и ресторанов. См. об этом же в «Очерках литературной жизни» (1845) (наст. изд., т. VII, с. 372, 600) и в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (т. VIII, с. 177, 743), а также: *Греч Н. И.* Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859).— РС, 1871, № 11, с. 506.

С. 451. *...как схватит его сплин... оно, понимаете, по-французски так называется, а по-нашему выходит — вроде черной немочи...*— Сплин (spleen) — слово английского происхождения. Черная немочь — народное название легочной болезни.

С. 451. *...спросит бутылку клеко...*— Искаженная огласовка названия марки шампанского Клико (полное название — Вдова Клико Понсарден), ввозившейся в Россию из Франции и до середины 1830-х гг. считавшейся среди этой категории вин самой лучшей.

С. 460. — *Темная!* — Т. е. карта изнанкой вверх. Игра в темную — наиболее азартный вид карточной игры.

С. 462. *...была убита по второму абцугу...* — Абцуг — в игре в банк метание карт вправо и влево.

С. 466. *...водил ее в Кунсткамеру...* — Кунсткамера — зоологический, зоотомический и анатомический музей при Академии наук (ныне ее коллекции вошли в состав Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого и Зоологического музея АН СССР).

С. 466. *Биржа* — петербургская фондовая биржа, учреждение, осуществлявшее покупку и продажу ценных бумаг и оформление товарных оптовых сделок; находилась на стрелке Васильевского острова, в одном из красивейших мест Петербурга (ныне в здании бывшей Биржи помещается Центральный военно-морской музей). За Биржей был расположен сквер, в котором в теплое время года выставлялись клетки с заморскими певчими птицами (см.: Пушкарев, Описание Санкт-Петербурга, ч. 3, с. 62).

С. 468. *...поставил карту ва-банк.* — Т. е. на ставку, равную всему банку.

С. 471. *...жил в нумерах где-то возле Ямской.* — На Ямской улице (ныне улица Достоевского) находилось несколько постоялых дворов для приезжих разного звания (см.: *Нистрем К. М.* Книга адресов С.-Петербурга. СПб., 1837, с. 1428). С этой улицей у Некрасова были связаны воспоминания о первых годах проживания в Петербурге. В 1842 г. он снимал квартиру на углу Ямской и Разъезжей улиц. Автобиографический герой «Жизни и похождений Тихона Тростникова» по приезде в Петербург поселяется на Ямской (см.: наст. изд., т. VIII, с. 69).

С. 472. *Фаэтон* — легкая коляска с откидным верхом.

С. 472. *Жокей* — здесь: грум, т. е. слуга, сопровождающий экипаж.

С. 6.* *...помещалось несколько магазинов...* — Магазин — здесь: склад.

С. 6. *...табак крошился и набивался в картузы...* — Картуз — здесь: бумажный мешок.

С. 8. *...бралась ложа в немецком театре...* — Немецкая труппа давала спектакли попеременно в зданиях Александринского театра (ныне Государственный Академический театр драмы им. А. С. Пушкина) на одноименной площади (ныне площадь Островского) и Михайловского театра (ныне Государственный Академический Малый театр оперы и балета) на Михайловской площади (ныне площадь Искусств). Обычный состав публики на спектаклях немецкой труппы — чиновники среднего класса, купцы и ремесленники; многие приходили с детьми (см.: <*Греч Н. И.*> Карманная книжка для любителей театра. СПб., 1853, с. 66—67).

С. 9. *...семейный вечер в клубе...* — В Петербурге 1840-х гг. было два немецких клуба: Бюргер-клуб Большого гражданского общества (бывший Шустер-клуб; Адмиралтейский проспект, № 11 (ныне № 8)) и Малого мещанского собрания (зимнее помещение — Невский проспект, № 14 (ныне № 15), летнее — набережная реки Мойки, № 95 (ныне № 102)) (см.: Пушкарев, Описание Санкт-Петербурга, ч. 3, с. 147, 149; Панаева, с. 42).

С. 10. *...дом в городе ВВ...* — Русские литеры в отличие от общепринятых латинских NN (см. примеч. к с. 106) как бы ука-

* Здесь и ниже указаны страницы второй книги т. X наст. изд.

зывают на определенный город. Единственным соответствующим этим литерам является название города Вышний Волочок Тверской губернии. Некрасов был знаком с описанием этого города, принадлежавшим И. Ф. Штукенбергу (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 326, 357—359). Кроме сходства в начальных буквах названия, изображенный в романе город ничем не напоминает Вышний Волочок. В этом городе не было сезонной ярмарки. Ниже (с. *39*: *— Открываю новое отделение фирмы в городе ВВ...*) он отнесен к Нижегородской губернии, где возле губернского города действительно устраивалась ежегодная ярмарка. Некрасов, возможно, посетил эту ярмарку в 1846 г. во время своего путешествия в Казанскую губернию (см. выше, с. 264).

С. 13. ...*Во время прогулок с бульвара Гарелин часто проходил на Английскую набережную, останавливался против здания Академии художеств...* — Английская набережная (ныне набережная Красного флота) находилась напротив Набережной Большой Невы, где помещалась Академия художеств (ныне Университетская набережная, № 17).

С. 14. ...*можно было получить предполагаемые вещи разве только в толкучем рынке.* — Толкучий рынок, на котором сбывались без свидетельства о торговле подержанные вещи, располагался рядом со Щукиным двором (см. примеч. к с. *216*), позади лавок Апраксина двора (Садовая улица, № 23 (ныне № 28)) (см.: Пушкарев, Описание Санкт-Петербурга, ч. 3, с. 17—18).

С. 14. ...*«Показать Магелойму»...* — Сведений о портном Магелойме не обнаружено.

С. 14. ...*картины американской природы, вычитанные им из романов Купера.* — Авторы «Мертвого озера» испытали заметное влияние Ф. Купера. Панаева зачитывалась, или вернее, заслушивалась его романами, которые вслух читал ей муж (см.: *Панаев В. А* Воспоминания, с. 480). Знакомство с произведениями Купера явилось одним из стимулов к написанию романа «Три страны света», где в параллель к американским индейцам изображаются камчадалы и где один из главных персонажей, Антип Хребтов, своим благородством и знанием природы напоминает главного героя куперовских романов — Патфайндера. Роман Купера «Следопыт» в первом переводе на русский язык (1840; переводчики — М. Н. Катков, И. И. Панаев, М. А. Языков) назван «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море». Вторая часть заголовка несколько перекликается с первоначальным вариантом заглавия романа — «Озеро смерти».

С. 14. ...*явилась лодка, похожая на гичку...* — Гичка — узкая легкая быстроходная лодка.

С. 16. ...*принесет просвиру...* — Просвира — белый круглый хлебец из крутого теста, употребляемый в обрядах православного богослужения.

С. 17. *Прочитав «Богородицу»...* — «Богородица» — здесь: название молитвы (тропаря к пресвятой богородице) о спасении от бедствия.

С. 18. ...*отправившись к св. Сергию, по обещанию...* — Имеется в виду Троице-Сергиевская лавра, монастырь в Загорске, под Москвой. Обещание здесь: религиозный обет.

С. 22. ...*пустое место занималось ∾ поминаньем в бархатном переплете.* — Поминанье — здесь: книжечка со списком имен усопших для поминовения в церкви.

С. 23. *Мы собрались на Расплёс (так называется место, где начинается взморье).*— Ныне эта местность соответствует Гутуеву острову.

С. 24. *...подъезжали к Круглому острову...*— О Круглом острове (ныне часть Гутуева острова) см.: Петербург и вода. Заметки петербургского зеваки.— Репертуар и Пантеон, 1845, кн. 4, с. 288; кн. 8, с. 524, 526.

С. 24. *Остров с одной стороны огибала Бабья речка...*— Ныне эта речка не существует.

С. 26. *— А ружье-то славное! ∾ Лепажевское!* — Жан Лепаж (1779—1822) — знаменитый парижский оружейный мастер.

С. 29. *...(он торговал красным товаром)...*— т. е. тканями.

С. 62. *— В Измайловский полк ∾ В Девятую роту <...> дом Ерофеева...*— Ныне 9-я Красноармейская улица. Домовладелец Ерофеев, по-видимому, вымышленное лицо. Дом Ерофеева упоминается и в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 166).

С. 69. *...в своем черном бурнусе...*— Бурнус — безрукавный плащ с капюшоном, обычно изготовлявшийся из белой овечьей шерсти. В России вошел в моду с начала 1840-х гг. (см.: СП, 1840, 24 апр., № 94, а также: *Муллер Н.* Андриенн, берта и епанечка.— Наука и жизнь, 1975, № 4, с. 154—155). Мода 1851 г. предписывала носить бурнусы «исключительно <...> черного цвета» (С, 1851, № 11, отд. VI, с. 92). Отдел мод в «Современнике» обычно вели супруги Панаевы. При этом, однако, не исключалось эпизодическое участие Некрасова (см.: Боград Совр., с. 71, 483, 515). Примечательно, что в цитированном обозрении, как и в части первой «Мертвого озера» (С, 1851, № 1), колеблется орфография слова «пелеринка» (вариант: «перелинка»).

С. 70. *Крез* — царь Лидии, живший в V в. до н. э. и, по преданию, обладавший несметными богатствами; здесь это имя употреблено как нарицательное.

С. 92. *...откинул драпри...*— Драпри — занавеси со складками.

С. 94. *В Коломну, слышь, переехал, в Паточную улицу...*— Паточная улица (см. также ниже — Паточный переулок) — вымышленное название.

С. 104. *Приживалка ∾ очень походила на одну из ведьм Шекспира в «Макбете».*— В трагедии Шекспира «Макбет» ремарки с описанием наружности ведьм отсутствуют. Ко времени написания «Мертвого озера» «Макбет» с иллюстрациями в России не издавался. Сравнение приживалки с «одной из ведьм» подсказано скорее всего воображением автора комментируемой главы. Трагедия была известна Некрасову, по-видимому, в переводе А. И. Кронеберга (см.: Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846). См. также примеч. к с. *211*.

С. 105. *— Кроме-с Григория Михайлыча.*— В журнальной публикации и в отдельном издании романа этот герой именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Григорием Семенычем.

С. 121. *«Сколько очистилось?* — Специфически театральное выражение; вопрос, означающий: сколько получено чистого денежного сбора?

С. 126. *...какой-нибудь дивертисемент из него?* — Дивертисмент — сценическое представление, состоящее из отдельных музыкальных или драматических номеров, в дополнение к спектак-

лю; обычная особенность театрального репертуара в описываемое время.

С. 136. — *Коман ву порте ву?* (франц. «Comment vous portez-vous?» — «Как поживаете?».

С. 137. — *Экскюзе пур деранже!* (искаж. франц. «Excusez pour déranger!») — «Извините за беспокойство!».

С. 152. ...*как бы из тафты*.— Тафта — гладкая тонкая шелковая ткань.

С. 162. ...*сидел впереди в четвероместном шарабане*...— Шарабан — открытый экипаж с поперечными скамьями.

С. 167. ...*дуэт из «Монтеки и Капулети»*.— Имеется в виду дуэт Ромео и Джульетты из оперы В. Беллини «Капулетти и Монтекки» (д. I, явл. 6), написанной на сюжет трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Поставленная в Петербурге в сезон 1836/37 гг., опера пользовалась большим успехом до середины 1840-х гг. (см.: Вольф, ч. I, с. 57 и др.). В петербургской театральной среде обиходным было название «Капулеты». Судя по инверсии в названии оперы («Монтеки и Капулети»), комментируемый эпизод писался по отдаленным театральным воспоминаниям.

С. 167. ...*как будто видел перед собою Юлию*...— В дуэте, исполнявшемся Тавровским и мадемуазель Анет, Ромео обращается к Джульетте: «Бесценная, положись на мою верность, бежим для счастия!» (Капулетти и Монтекки, мелодрама в 4-х действиях. Муз. Беллини. СПб., 1844, с. 14—15). Русская огласовка имени героини — Юлия — восходит, видимо, к первоначальному переводу либретто оперы Д. Штейбельта «Ромео и Юлия», принадлежавшему А. Волкову.

С. 168. ...*запели «Вниз по матушке по Волге...»* — Известная по песенникам с 1770-х гг., эта песня в 1840-е гг. пользовалась большой популярностью в различных слоях русского общества. Среди известных ее исполнителей был знакомый Некрасова и Панаевой, Г. М. Толстой (см.: Анненков. с. 291; *Тургенев А. И.* Хроника русского. Дневник (1825—1826). Л., 1964, с. 527; ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 300, л. 28 об.; см. также: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 356).

С. 168. ...*запела романс Офелии*.— Имеется в виду романс Офелии из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. IV, явл. 2), переведенной Н. А. Полевым (см.: Гамлет, принц датский. Драматическое представление. Соч. Виллиама Шекспира. Пер. с англ. Николая Полевого. М., 1837, с. 157—158). Перевод романса, положенного на музыку А. Е. Варламовым, принадлежит Кс. А. Полевому (см.: *Иванов Г. К.* Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 г.), вып. 1. М., 1966, с. 272). В Петербурге, в Александринском театре, в сезон 1839/40 гг., роль Офелии исполняла В. Н. Асенкова. Некрасов посвятил ей стихотворение «Офелия» (1840). Позднее роль Офелии перешла к В. В. Самойловой, обратившей на себя внимание прочувствованным исполнением романса (см.: Вольф, ч. I, с. 97). Некрасов был лично знаком с обеими исполнительницами этой роли.

С. 168. ...*запела романс Десдемоны из второго акта*.— По-видимому, имеется в виду романс Дездемоны из третьего акта (явл. 15) оперы Д. Россини «Отелло» (1817; сезон 1828/29 гг.), одной из самых популярных в репертуаре итальянской оперы в Петербурге (см.: Вольф, ч. II, с. 13; подстрочный перевод романса см. в русском варианте либретто: Отелло. Большая опера в трех действиях. Муз. Россини. Пер. с итал. СПб., 1843, с. 27). Романс

Дездемоны известен также по пьесе Шекспира «Отелло, или Венецианский мавр» (д. IV, сц. 3), переведенной И. И. Панаевым (отд. изд.: *П-в Ив.* Отелло, или Венецианский мавр. Драма в пяти действиях Шекспира... СПб., 1836, с. 171—172; автор музыки не установлен). Трагедия в этом переводе шла в Александринском театре, начиная с сезона 1836/37 гг. Последние ее постановки относятся к сезону 1848/49 гг. (отдельные сцены) (см.: История русского театра, т. 3, с. 244; т. 4, с. 314). В сезон 1836/37 гг. в роли Дездемоны выступала сестра Панаевой Анна Брянская (см.: Вольф, ч. I, с. 51; Панаева, с. 63).

С. 178. *...уже нет тех волшебников, которые жен рыбаков превращали в графинь!* — Литературный источник не установлен.

С. 179. *Приближался день рождения Марка Семеныча.* ∾ *учили детей разным поздравительным стихам к этому дню.*— Детские поздравления в стихах по случаю дней рождения и праздничных дней были обычны в культурных семьях вплоть до конца XIX в. Воспитатели разучивали с детьми стихотворения, большая часть которых заимствовалась из сборников, издававшихся специально для этой цели (см., например: *Федоров Б. М.* Приветствия детской любви, или Собрание стихов, говоренных детями для поздравления родителей и родных. СПб., 1834; Новые детские поздравления в стихах, с праздниками. Подарок детям и родителям. СПб., 1838; 2-е изд. СПб., 1844; *Г-н В.* Детские поздравления на русском, французском и немецком языках (стихотворения). СПб., 1847). В автобиографической заметке Некрасов приводит свое первое стихотворение, написанное в семилетнем возрасте и обращенное к матери в день ее именин (см.: ПСС, т. XII, с. 20); возможно, это были «ходячие поздравительные стихи той эпохи» (*Некрасов Н. А.* Полн. собр. стихотворений. 9-е изд. Л., 1935, с. 561). Вариант этого поздравления (от имени вымышленного лица, четырнадцатилетнего мальчика) приводится в некрасовских «Записках Пружинина» (1845) (см.: ПСС, т. V, с. 531).

С. 183. *...ни кусочка блонд...*— Блонды — шелковое кружево тонкой работы, белого или кремового цвета.

С. 206. *...в застольной было решено...*— Застольная в барском доме — столовая комната для дворовых людей.

С. 211. *— А ты роль леди Макбет начинаешь осуществлять в жизни* ∾ *отвечал Остроухов, прибегая в своем возражении к театральным воспоминаниям.*— «Макбет» на русской сцене не ставился до 1861 г. Сравнение Любской с леди Макбет основано на отдаленной ассоциации с общим обликом шекспировской героини и не соотносится с сюжетом трагедии. Слова «только недостает кровью запятнать руки» имеют в виду сцену 1 действия V. См. также примеч. к с. *104*.

С. 216. *...не запрашивают и на Щукином дворе!!* — Щукин двор — петербургский рынок, находившийся на углу Садовой улицы, № 21 (ныне № 28) и Чернышева переулка, на месте одного из строений нынешнего универмага «Апраксин двор» (см. примеч. к с. *14*).

С. 238. *...указывая на сгорбленную старуху в котах и повойнике...*— Коты — женские башмаки; повойник — головной убор замужних крестьянок, платок, обвитый вокруг головы.

С. 244. *...проводил ночь на улице или в будке.*— Имеется в виду полицейская будка, караульное помещение.

УКАЗАТЕЛИ К ТОМАМ 1—10 НАСТОЯЩЕГО ИЗДАНИЯ

Указатель имен и названий включает все фамилии и имена, встречающиеся как в некрасовских текстах, так и в комментариях к ним. Вслед за фамилией автора следует перечень упоминаемых его произведений. Анонимные произведения даются в общем алфавите. В указатель не включаются названия литературно-критических работ, изданных после смерти Некрасова, и названия произведений самого Некрасова.

Указатели мифологических имен и названий и географических и топографических названий содержат имена и названия, имеющиеся в текстах Некрасова. В последний из названных указателей включены только те названия, которым комментаторами издания найдены реальные соответствия в справочной литературе.

Указатель периодических изданий и указатель сборников и альманахов учитывают названия газет, журналов, сборников и альманахов, издававшихся до Некрасова, а также при его жизни, и упоминаемых в томах 1—10 настоящего издания (тексты и комментарии).

Вслед за номером тома указывается страница. Прямой шрифт обозначает страницу с текстом произведения Некрасова вне зависимости от разделов томов, во всех остальных случаях страницы выделены курсивом.

При работе над указателями учтены замеченные в издании опечатки.

Указатели составлены О. Б. Алексеевой и Т. С. Царьковой.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

УКАЗАТЕЛЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НЕКРАСОВА

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НЕКРАСОВА

УКАЗАТЕЛЬ АЛЬМАНАХОВ И СБОРНИКОВ

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕКРАСОВА[1]

[1] Знаком * отмечены отрывки, известные как отдельные публикации.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ[1]

Анненков — *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1983.
БдЧ — «Библиотека для чтения».
Боград Совр.— *Боград В. Э.* Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М.— Л., 1959.
ВЕ — «Вестник Европы».
Вольф — *Вольф А. И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года, ч. I—II. СПб., 1877.
ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
Даль — *Даль Владимир.* Толковый словарь живого великорусского языка, т. I—IV. М., 1978—1980.
Добролюбов — *Добролюбов Н. А.* Собр. соч. в 9-ти т. М.— Л., 1961—1964.
Евгеньев-Максимов — *Евгеньев-Максимов В. Е.* Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. I—III. М.— Л., 1947—1952.
Зимина — *Зимина А.* Некрасов-беллетрист.— В кн.: Творчество Некрасова. Сб. статей под ред. А. М. Еголина. М., 1939 (Тр. Моск. ин-та истории, философии и лит., т. 3).
ИВ — «Исторический вестник».
ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград).
История русского театра — История русского драматического театра. М., 1976 — (издание продолжается).
ЛГ — «Литературная газета».
ЛГИА — Ленинградский государственный исторический архив.
М — «Москвитянин»
МВ — «Московские ведомости».
Некр. сб.— Некрасовский сборник, I—III. М.— Л., 1951, 1956, 1960; IV—VIII. Л., 1967, 1973, 1978, 1980, 1983.
ОЗ — «Отечественные записки».
Панаев — *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950.
Панаева — *Панаева (Головачева) А. Я.* Воспоминания, М., 1972.

---

[1] См. дополняющие этот перечень списки сокращений: наст. изд., т. I, с. 462—464, 709—711

ПСС — *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем, т. I—XII. М., 1948—1953.

Пушкарев, Описание Санкт-Петербурга — *Пушкарев Иван.* Описание Санкт-Петербурга и других городов Санкт-Петербургской губернии. т. I—IV. СПб., 1839—1842.

РА — «Русский архив».

РС — «Русская старина».

С — «Современник».

Скабичевский — *Скабичевский А.* Николай Алексеевич Некрасов (его жизнь и поэзия).— Отеч. зап., 1878, № 6.

СП — «Северная пчела».

Тургенев, Соч.— *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Соч. в 15-ти т. М.— Л., 1960—1968.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

Цылов — *Цылов Н.* Атлас тринадцати частей С.-Петербурга. СПб., 1849.

Чернышевский — *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч., т. I—XVI. М., 1939—1953.

Черняк — *Черняк Я. З.* Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М.— Л., 1933.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ К ТОМАМ 1—10 НАСТОЯЩЕГО ИЗДАНИЯ

Том	*С.*	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
1	567	16 св.	«Юность Лермонтова»	«Юность Ломоносова»
»	589	8 св.	т. VII	т. XII
»	601	14 сн.	недописанной	неподписанной
»	604	13 сн.	(Заметки поэта)	(Заметки Нового поэта)
»	660	15 сн.	К Анне	К Алине
»	675	9 сн.	Цыпов	Цылов
»	»	»	на 1849 г.	на 1850 г.
2	362	24 св.	племенный	пламенный
»	426	12 св.	М. С. Петина	М. С. Петипа
3	449	22 св.	четырехстопного и трехстопного хорея	четырехстопного хорея
4	525	22 сн.	Казанский вестник	Волжский вестник
»	560	13 сн.	Е. Эдельман	Е. Эдельсон
»	583	17,23 св.	А. С. Суворин	А. Г. Степанова-Бородина
»	588	8 сн.	А. Л. Пятковскому	А. П. Пятковскому
»	590	16 св.	Якушин И. Д.	Якушкин И. Д.
»	615	12 св.	А. А. Платонова	А. П. Платонова
5	673	23 св.	Н. М. Михайловский	Н. К. Михайловский
6	687	16 св.	20 мая, № 54	15 мая, № 52
6	706	4 сн.	Дювернье	Дюверье
6	711	5 св.	1842	1843
7	534	1 сн.	Н. Немишевичу	Н. Немшевичу
»	585	21 св.	(1858)	(1848)
»	590	18 сн.	М. Гурьяповым	Ив. Гурьяновым
»	595	16 св.	В. Ф. Воейкова	А. Ф. Воейкова
»	599	6 св.	Гребенщиков	Гребешков
8	337	9 сн.	Г<ороховско>м	Г<ороховецко>м
»	713	16 сн.	М. А. Гамзатов	М. А. Гамазов
»	736	1 св.	1875 г.	1785 г.
»	744	15 сн.	«Ломоносов, или Жизнь в поэзии»	«Ломоносов, или Жизнь и поэзия»
9_1	342	6 сн.	в середипорожье	в Середипорожье
9_2	314	16 св.	«Лев в провинции»	«Львы в провинции»
»	351	5 св.	Я. М. Брянского	Я. Г. Брянского
»	344	14 св.	А. Я. Исакова	Я. А. Исакова

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРТВОЕ ОЗЕРО

ТОМ ТРЕТИЙ

Подготовка текста и комментарии
Б. Л. БЕССОНОВ

Редактор тома
В. И. КАМИНСКИЙ

Николай Алексеевич Некрасов

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

Том 10

Книга II

Мертвое озеро

Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) АН СССР

Редактор издательства *Т. А. Лапицкая*
Художник *Л. А. Яценко*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Г. А. Александрова, И. А. Корзинина,*
Э. Г. Рабинович

Сдано в набор 15.04.85. Подписано к печати 14.10.85. Формат 84×108 1/32. Бумага № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 21.84. Усл. кр.-отт. 21.84. Уч.-изд. л. 26.11. Тираж 300 000 (2-й завод 150 001—300 000). Тип. зак. № 5—348. Цена 3 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
Ленинградское отделение
199164, Ленинград В-164, Менделеевская лин., 1

Киевская книжная фабрика. 252054, Киев-54, Воровского, 24